

М. ЛАНСКОЙ

ГЛУХОЕ

ДЕЛО

ТРУДНЫЙ

ПОИСК



Марк Зосимович Ланской

Две повести

<http://www.litres.ru>

Советский писатель, Ленинградское отделение; Ленинград;
1969

Аннотация

Марк Ланской на протяжении многих лет исследует сложную проблему перевоспитания малолетних правонарушителей. Этой теме были посвящены его ранее напечатанные произведения: «Приключения без путешествий» и «Когда в сердце тревога». Новая повесть «Трудный поиск» связана с нити не только общностью некоторых героев, но и единством цели – стремлением найти практические пути к полному устранению причин преступности среди несовершеннолетних.

«Глухое дело» – повесть о неугасающей народной ненависти к фашистам и предателям. В ней переплетаются драматические события военных лет и сегодняшнего дня, сталкиваются разные характеры и возникают острые нравственные конфликты.

М. Ланской

Две повести

**Трудный поиск
Глухое дело**

Трудный поиск

1

За последний месяц тягостное чувство разлада стало привычным. С ним Анатолий уходил из дома, с ним же возвращался. Каждый вечер, переступив порог, он ловил себя на том, что старается как можно меньше шуметь, тихо, придерживая замок, закрывал за собой дверь, старательно, но без лишнего шарканья вытирал сапоги о половичок и совсем уж беззвучно пристраивал на вешалку свою шинель.

В каждой квартире складывается обособленный

микроклимат – устойчивый или капризный, с ясной погодой или длительным ненастьем. На этот раз, уже в передней, семейный барометр предвещал бурю.

Обычно приход Анатолия оставался незамеченным. Если в это время на кухне звякала посуда и шел громкий разговор, все делали вид, что не слышат его шагов. И потом, когда он проходил в ванную и произносил положенное: «Добрый вечер», – никто не считал нужным хотя бы притворно порадоваться его появлению. На этот раз из столовой, где принимали гостей и обедали только по праздникам, донесся сразу же оборвавшийся женский плач, а гулкий бас Афанасия Афанасьевича как будто придавили подушкой. Навстречу вышла Катя.

– Как ты поздно сегодня, – сказала она без упрёка, чуть нараспев, как говорила всегда, – пойдем я тебя покормлю.

Слова как слова. И в голосе непритворная теплота. Если бы не убегающие от прямого взгляда глаза, если бы не растерянность на открытом, всегда понятном лице – все было бы, как встарь.

Они сидели вдвоем в светлой, просторной кухне, оборудованной по картинке какого-то журнала. Катя смотрела, как он ест, и молчала. Анатолий ждал. Он знал, что, пока не проглотит последнего куска, Катя не расскажет, почему плачут в столовой. Так было при-

нято в ее семье – все неприятности после еды.

Катя будет о чем-то просить. Ей самой эта просьба неприятна. Но родители требуют. Она всегда была послушной дочерью.

– Что случилось? – спросил Анатолий, доставая папиросу из подаренного Катей портсигара.

– Иди в комнату, я сейчас приду.

Катя прибирала посуду. Пока не будет вымыта последняя тарелка, разговор не состоится. Это тоже мамина школа.

Сдерживая раздражение, Анатолий ушел к себе. Они с Катей занимали самую большую комнату в квартире. Ее обставляли и украшали для счастливой уютной жизни. Анатолий прилег на тахту.

Осторожный стук в дверь. Значит, Катя так и не решилась. На приступ идет мадам.

– Прости, Толя, не даю тебе отдохнуть. Но у нас такое несчастье.

Всегда надменное, прибранное лицо, как будто подготовленное к некоему конкурсу хорошо сохранившихся женщин, выражало глубокую скорбь. Под глазами пятна раздавленных слез. Пальцы, сжимавшие ворот нарядной кофточки, дрожали. Пришлось встать.

– Успокойтесь, Ксения Петровна. Присядьте.

– Гену арестовали.

Анатолий постоянно имел дело с арестованными мальчишками, встречался с их родственниками, видел, как по-разному можно переживать обрушившееся несчастье. У него уже выработался тот профессионализм, который помогает людям, вынужденным по долгу службы сталкиваться с чужими страданиями. Так же как врач не мог бы остаться врачом, если бы переживал муки каждого больного, так и Анатолий давно сбежал бы из своего изолятора, если бы не только понимал, но и разделял чувства несчастных родителей.

Он и сейчас не испытал того смятения, которое охватило родню его жены. Притворяться расстроенным он тоже не мог. Поэтому и голос его прозвучал без тех интонаций сопереживания, которых от него ждали.

– Когда? При каких обстоятельствах?

Деловитость, с какой Анатолий задавал вопросы, заставила Ксению Петровну страдальчески зажмуриться и кинуться к дверям.

– Тася! Зайди! Я не могу!

Младшая сестра Ксении Петровны всегда была симпатична Анатолию. Ему нравился ее легкий, трепливый характер. Она говорила, что «с утра одевается в хорошее настроение». Кроме настроения, на ней еще бывали самые модные одежды, портившие на-

строение другим женщинам.

Анатолий впервые увидел ее обезображенной горем. Ему показалось, что она собирается упасть перед ним на колени. Подхватив ее и усаживая в кресло, он сердито выговаривал:

– Как вам не стыдно! Расскажите, что случилось. Только не плачьте.

– Пришли, показали какую-то бумажку. Дворников привели. Все перевернули.

– Изъяли что-нибудь?

– Тряпки какие-то, пластинки...

– Заграничные?

Таисия Петровна кивнула.

– Скупал у иностранцев?

– Господи! Ну что он мог скупать? Мальчик же! Кто-то принес или подарил. Разве можно за это арестовывать ребенка?

– Ему, кажется, исполнилось семнадцать?

– И месяца не прошло. И разве в годах дело? Вы же его знаете, у него душа ребенка.

Таисия Петровна закрыла лицо мокрым платочком. Сестра поднесла ей рюмочку. Запахло аптекой.

Анатолий не раз видел Генку, еще в восьмом классе ростом перегнавшего мать. Широкоплечий, упитанный, он и одеждой и манерами старался походить на взрослых. Разговаривать с ним по душам как-то не

пришлось.

– Волноваться рано, – сказал Анатолий, понимая, что говорит глупость. – Если за ним ничего серьезного нет – выпустят.

– Как ты можешь так равнодушно рассуждать?! – воскликнула Ксения Петровна. – Разве его можно хотя бы на одну ночь оставить в этой милиции – с пьяницами, ворами?!

В комнату вошла Катя. Она села в затененном углу у туалетного столика. Анатолий молча развел руками.

– Ты должен позвонить, тебя там знают, объясни им, потребуй! – продолжала Ксения Петровна, уставившись в него широко раскрытыми, возмущенными глазами.

– Что я могу объяснить? – также спокойно спросил Анатолий.

– Скажи, что ты знаешь этого мальчика, что он ни в чем не виноват, что ты просишь его отпустить.

– Никому я звонить не буду, потому что это бесполезно. Если Геннадия задержали, значит, есть на то санкция прокурора, и отменить ее сегодня никто не в силах.

Вошел Афанасий Афанасьевич. Теперь все были в сборе. Ксения Петровна повернулась к мужу, обеими руками показывая на Анатолия.

– Полюбуйся на него, полюбуйся!

– Насколько я могу судить, Анатолий, – вступил Катин отец, откинув назад красивую голову лысеющего льва, – речь идет не об использовании твоего служебного положения ради совершения неправомерных поступков, я бы первый возразил против этого, а о простой житейской услуге, вполне допустимой со всех точек зрения.

В дни первого знакомства с Катинной семьей Анатолия забавляли тяжеловесные периоды, которыми Афанасий Афанасьевич изъяснялся во всех случаях жизни. Потом речи главы семьи стали нагонять на него тоску.

– Как вы себе представляете эту житейскую услугу?

– Я полагаю, что ты можешь потревожить телефонным звонком кого-нибудь из знакомых тебе и вполне компетентных людей, можешь выяснить, насколько тревожна создавшаяся ситуация, а я убежден, что в основе этого огорчительного инцидента лежит какое-то недоразумение, можешь также уведомить товарищей, что арестованный юноша тебе не безразличен. И – как знать! – быть может, уже один такой, никак тебя не компрометирующий звонок сыграет свою положительную роль и Катин кузен сегодня будет ночевать под крышей родного дома.

– Не хочешь звонить – поезжай! – приказала Ксения Петровна.

Хорошо знакомая атака с двух флангов. Куда громче слов звучали: затаенная враждебность, оскорбительное недоверие, желание доказать его, Анатолия, бездушие.

Только Катины глаза, нацеленные из дальнего угла, и смятое лицо Таисии Петровны действительно зывали о помощи. Им он и ответил потеплевшим голосом.

– Поверьте мне... Я сейчас ничего не могу сделать. Одиннадцатый час ночи... Никто ничего мне толком рассказать не сможет. Завтра я постараюсь связаться со следователем, который ведет это дело. Может быть, мне удастся что-нибудь узнать. Да и то... Ведь следствие только начато.

Ксения Петровна заткнула уши и, раскачиваясь, повторяла: «Ужас! Ужас!» Ее сестра слушала внимательно. Только для нее он добавил:

– Ручаюсь вам, ничего дурного с ним за это время не случится.

– Но кому это нужно, чтобы мой мальчик сидел в тюрьме?

– Таисия Петровна! У нас тюрем для несовершеннолетних нет. Временно их помещают в изоляторы. А изолировать их нужно, чтобы они не замели следов, не сговорились, одним словом, чтобы не помешали следствию выяснить правду. Найдет следователь воз-

возможным, он завтра же выпустит Геннадия на свободу.

– А... если это затянется? – чуть слышно спросила Таисия Петровна.

– Есть определенные сроки, предусмотренные законом. В тяжелых случаях изолируют до суда. Будем надеяться, что до этого не дойдет.

– Но завтра ты постарайся сделать все возможное? – примирительно спросила Катя.

– Он ничего не сделает! Ничего! – словно выстрелила Ксения Петровна. – Потому что он не хочет, не хочет, не хочет! – Всхлипывая, она выбежала из комнаты.

– Ах, как нехорошо, – поморщился Афанасий Афанасьевич. – Но ты должен понять ее, Анатолий, да и всех нас. Гена – наш любимец, гордость семьи, и нет ничего зазорного в родственных чувствах, даже когда они выражаются столь бурно. Мы вправе рассчитывать на твое содействие, дабы поскорее вызволить нашего мальчика из беды, в которую он попал в силу рокового стечения обстоятельств. Я очень далек от того, чтобы усомниться в объективности следственного аппарата, но знаешь... К тому же наши гуманные законы справедливо предусматривают и такую, к примеру, меру... – Афанасий Афанасьевич запнулся, на ходу выправляя неуклюжую фразу, – я хочу сказать – такую возможность, как взятие на поруки. Почему бы

нам не воспользоваться такой возможностью, тем более что...

– Сейчас об этом рано говорить, – оборвал его Анатолий. – Поймите же, что, пока не выяснится суть дела, мы можем только гадать на кофейной гуще.

Афанасий Афанасьевич обиженно поджал губы. Таисия Петровна совсем близко придвинула свое кресло к Анатолию и, заглядывая ему в глаза, умоляюще проговорила:

– Толя, дорогой. Я вам верю. Помогите нам. Узнайте завтра. Если его не выпустят, пусть мне разрешат свидание или передать что-нибудь вкусненькое.

Как ни возмущался Анатолий всякий раз, когда на защиту арестованного подростка вставала слепая материнская любовь, он не мог оставаться перед ней равнодушным. И сейчас это «вкусненькое» ущемило за сердце.

– Уверяю вас, Таисия Петровна, все, что можно, узнаю. Свидание вам разрешат и без моей просьбы, и в передаче не откажут.

– Спасибо, дорогой... Простите.

Таисия Петровна вышла. Афанасий Афанасьевич еще несколько времени ходил по комнате. Он всегда обдумывал очередную речь.

– Видишь ли, Анатолий, есть такое понятие, как интересы семьи, требующие иногда личных жертв, как

бы неприятны они ни были. В данном случае мы просим у тебя услуги, не связанной даже с тенью риска. Я понимаю, что ты опасаясь, как бы твое вмешательство в дело Гены не было расценено твоим начальством как злоупотребление своим служебным положением, что, в свою очередь, могло бы неблагоприятно отразиться на твоём продвижении...

Анатолий слушал с возрастающим изумлением. Он уже привык к тому, что длинные тирады Афанасия Афанасьевича прикрывают какую-нибудь глупость, но такого поворота не ожидал.

– Вы очень тонко разобрались в моей психологии, – сказал он серьезно. – Я страшно боюсь испортить свою блистательную карьеру.

– Я тебя не осуждаю, мой друг, потому что такое спасение вполне естественно и никак тебя не порочит. Не скрою от тебя, что и я лично заинтересован в том, чтобы конфликт с Геной был исчерпан в кратчайший срок. При моем общественном положении иметь арестованного племянника не менее неприятно. Мое имя широко известно в городе, ко мне прислушиваются тысячи радиослушателей, и если начнут муссировать слухи, что родственник Воронцова сидит в тюрьме, кое-кто может использовать это обстоятельство для подрыва моего авторитета. А это неизбежно скажется как на моральном, так и на материальном со-

стоянии нашей семьи в целом. Вот еще почему нужно принять все меры для освобождения Геннадия и прекращения этого дела.

– Кого же мне нужно спасти – Гену или ваш авторитет?

– Одно с другим связано, неужели ты этого не понимаешь?

– Понимаю. Понимаю, что вас не столько огорчил арест племянника, сколько угроза потерять кормушку.

Анатолий не раз корил себя за грубость в разговорах с Катиными родителями. Иногда он сдерживался и, жалея Катю, замолкал. Но сейчас он не мог и не хотел выбирать слов. Раздражение, копившееся издавна, требовало выхода.

Афанасий Афанасьевич остановился и часто-часто заморгал, как будто проверяя, не ослышался ли он. Убедив себя, что услышанные им слова действительно были сказаны, он скорбно покачал головой.

– Твоя грубость меня не удивляет и не задевает. Она прежде всего оскорбляет тебя самого. Меня поразила демагогическая суть твоей реплики, твоя неспособность к душевному контакту с людьми, потрясенными свалившимся на них семейным горем. Я говорил с тобой, как с близким человеком, которому можно доверить все нюансы душевного состояния, а ты извлек из моих слов самый пошлый смысл и ко-

существенным образом искажил мои мысли.

– Ничуть не искажил, просто перевел на понятный русский язык.

Выходя из комнаты, Афанасий Афанасьевич обернулся:

– Ксения Петровна права: ты злой, нехороший человек и несчастье с Геней ничего, кроме радости, у тебя не вызвало. Как это ни горько, но я должен тебе это сказать. Покойной ночи, Катюша.

Повторяя слова своей жены, Афанасий Афанасьевич был уверен, что у его зятя есть основания для злорадства. До этого вечера Ксения Петровна при каждом удобном случае старалась выказать свое презрение ко всему, что было связано с его службой в изоляторе. Она уверяла, что дети порядочных родителей никогда в тюрьму не попадают и что на преступление способны только сынки алкоголиков и психопатов. Она еще допускала, что ученые могут интересоваться преступностью как явлением – писать книги, выступать с лекциями. Но самому, по доброй воле каждый день общаться с этими ужасными арестантами, – для этого нужно быть не только очень примитивным, но и жестоким человеком.

И вдруг их воспитанный, ненаглядный Гена оказался под арестом. И вся надежда на бездушного «тюремщика»... Было от чего потерять голову.

2

– Мне сегодня предложили очень хороший вариант. однокомнатную квартиру. Живет одинокая старушка, родственница моего сослуживца. Скучно ей и страшновато, согласна обменяться.

Потом, когда Катя в слезах выбежала из комнаты и впервые не вернулась, чтобы объясниться, Анатолий сообразил, что об этом сейчас не следовало говорить. Когда они остались наедине, наверно, нужно было посочувствовать, ужаснуться тому, что произошло с Генной, выразить уверенность, что все обойдется, извиниться за резкость в разговоре с ее отцом. А ему показалось, что правильнее переменить тему разговора, напомнить о том, что неизбежно.

Анатолий лежал с открытыми глазами, обреченно смотрел в потолок, искал и не находил никакого выхода.

Подходящий вариант обмена действительно подвёлся. Это был десятый или двадцатый вариант. Каждый из них помогал оттягивать окончательное решение. Вначале Анатолий ходил с Катей. Они осматривали чужие квартиры, заглядывали в кухни, притворялись, будто лишь случайные обстоятельства меша-

ли им сделать то единственное, что еще могло спасти их семью. Потом Кате надоели эти смотрины. Анатолий один шагал по лестницам, уже ни на что не надеясь.

Какую непоправимую ошибку сделал он, когда после смерти матери согласился съехаться с Катиными родителями! Он кончал институт. Катя его любила. Будущее рисовалось независимым от жилой площади и прочих пустяков. Он передал свою комнату в распоряжение Ксении Петровны, и она путем сложного, тройного обмена получила благоустроенную отдельную квартиру, о которой мечтала много лет.

Школьные годы Анатолия были омрачены постоянным страхом перед отцом-алкоголиком. Дома всегда было тоскливо и голодно. Чтобы не видеть настрадавшихся материнских глаз, он уходил на улицу. Сверстники любили его и часто приводили к себе. И когда он попадал в обычную обстановку домашнего уюта, когда видел трезвых отцов и спокойных, ласковых матерей, когда его усаживали за чистый, обильный стол, ему казалось, что нет большего счастья, чем жить в тепле семейного благополучия.

И позднее, в институте, когда частенько приходилось считать дни, оставшиеся до стипендии, в мечты о будущем само собой вплеталось ожидание красиво налаженной жизни с женой Катей.

У Воронцовых его окружили непривычные удобства, никогда не испытанная забота о его здоровье, опрятности, отдыхе. Он чувствовал себя в долгу перед Катиными родителями. Но как скоро развеялся этот туман благоденствия, застилавший глаза на первых порах. С какой тоской стал он вспоминать свою холостяцкую комнату.

Катин отец всегда был трезвым. Кроме сухого вина в торжественных случаях, он ничего не пил. Имя доцента Воронцова часто слышалось по радио и встречалось в газетах под рубрикой: «Наш лекторий». Он читал где-то курс педагогики, а сверх того выступал с публичными лекциями на темы воспитания. Он обладал памятью электронно-счетной машины и самодовольством очень ограниченного человека. Выдержками из разных книг он оперировал, как деталями детского «конструктора», из которых можно собрать множество вещей, очень похожих на настоящие. Писал он так же, как говорил, – безошибочно, равнодушно, а по выражению студентов – «тягомотно». Руководители радио и телевидения ценили его за постоянную готовность к выступлению, за полный подбор цитат и вполне академический внешний вид. К счастью для него, никто не мог подсчитать, сколько рук одновременно выключали приемники, как только доцент Воронцов произносил первые фразы.

Дома Афанасий Афанасьевич был вполне безобидным существом, и Анатолий легко притерпелся бы к нему, если бы не Ксения Петровна. Она долго противилась их браку. После того как Анатолий еще в отрочестве чуть было не стал уголовным преступником, Кате категорически было запрещено с ним встречаться. Они виделись тайком, и в этом была своя прелесть. Удивительно, сколько стойкости и тонкого лукавства нашлось тогда у Кати, чтобы сломить сопротивление матери. Когда Анатолий благополучно поступил в институт и стал переходить с курса на курс, Ксения Петровна сдалась. Это была их победа, очень скоро обернувшаяся поражением.

Ксения Петровна хотела счастья своим близким. Она была уверена, что никто лучше ее не знает, что такое счастье и как его добиваться. Она гордилась тем, что из ленивого, бесхитростного паренька, каким был в молодости Афанасий Афанасьевич, она сделала обеспеченного и преуспевающего деятеля науки. Это она заставила его сидеть за книгами. Она внушила ему, что в жизни нужно пробиваться сквозь толпу более робких и неудачливых, не имеющих таких жен, как Ксения Петровна. Она советовала, подталкивала, направляла. Она завязывала полезные знакомства, приглашала домой только нужных людей и переставала приглашать, когда нужда в них пропадала.

Теперь, когда у себя за столом они слушали по радио записанную на пленку лекцию доцента Воронцова, Ксения Петровна горделиво поглядывала на него, как на произведение ее редкого мастерства.

Перед посторонними Афанасия Афанасьевича выдавали за человека, неприспособленного к жизни, витающего в сфере чистой науки и потому далекого от меркантильных интересов. Но вскоре Анатолий убедился, что, при всей неприспособленности, отец семейства отлично разбирается, какие лекции и от какой организации читать выгоднее и в каких издательствах прибыльнее издавать те же лекции, превращенные в брошюры.

Но признанным штурманом семьи оставалась Ксения Петровна. В ее практической мудрости никто не сомневался, и никто никогда ей не перечил. Так же целеустремленно сколачивала она счастье своей дочери. Еще в далеком Катином детстве было решено, что она станет знаменитой пианисткой. Два года подряд после окончания школы она готовилась с отличным педагогом к поступлению в консерваторию. В помощь Катиному таланту было мобилизовано много влиятельных лиц. Но оба раза Катя проваливалась.

Когда после экзаменов Ксения Петровна попыталась объяснить с ректором, сидевший тут же именитый профессор противным утомленным голосом

сказал: «Зря вы, мамаша, мучаете девушку. Способности к музыке у нее минимальные. Делать ей в консерватории нечего».

Сначала от Кати скрыли этот приговор. Ксения Петровна поносила экзаменаторов и всю консерваторскую администрацию, называла их невеждами и бюрократами, намекала на козни личных врагов. Но в конце концов заставила себя сказать Кате, что с мечтой о музыкальной карьере придется распрощаться.

Для Кати это было катастрофой. Единственная прямая дорога в будущее оборвалась у домашнего порога. Других путей она не видела. Не могла же она равняться на своих сереньких приятельниц, которые чему-то учились, где-то работали. Ведь ей всегда внушали, что она особенная, исключительная, счастливая от рождения. Катя верила в непогрешимость своей матери к тоже считала себя жертвой несправедливости. Но от этого легче не становилось.

В те трудные дни ей помогла любовь Анатолия. Нет, он не переживал вместе с ней, не притворялся соболезнующим. Он просто не видел ничего трагичного в том, что произошло. Грубовато посмеиваясь над ее отчаянием, он предлагал на выбор десятков отличных, с его точки зрения, планов на будущее. Катя, грустно улыбаясь, прощала ему и нечуткость и примитивность его планов. Она была рада, что он любит ее по-

прежнему, и сама привязалась к нему еще крепче.

Ксения Петровна ухватилась за Анатолия как за спасательный круг. Она чувствовала вину за душевные страдания дочери и поняла, что только Анатолий может вывести Катю из состояния беспросветного уныния. Тогда же у нее созрел новый, далеко рассчитанный замысел. Она решила повторить проверенную операцию – помочь зятю внедриться в науку и тем обеспечить счастье дочери.

Наука представлялась Ксении Петровне областью неограниченных возможностей для любого напористого человека. Пример ее мужа и некоторых его коллег убедил ее, что можно успешно защищать диссертации, выступать со статьями и книгами, пережевывать чужие мысли и ничего не открывая нового. Она подозревала, что есть еще какая-то наука одержимых людей, наука, неотделимая от поисков, сомнений, драматических переживаний. Но поскольку слово «наука» было одно для всех, а степени и звания тоже звучали одинаково, кто бы их ни носил, Ксения Петровна считала разумным, что и материальные блага, щедро удобрявшие научные нивы, перепадали каждому, кто проник на заветную территорию.

Анатолий, по ее мнению, вполне годился для спокойной и доходной научной деятельности. А жена обеспеченного мужа может хорошо прожить и без

высшего образования. Потому так круто сменила она гнев на милость, позволила вырвать у себя согласие на свадьбу и решительно обменяла квартиру, чтобы прочно привязать Анатолия к семейной колеснице.

Близился день получения диплома, и Ксения Петровна подробно изложила, как можно пристроить Анатолия к одному перспективному учреждению. У нее уже были продуманы все ходы и выходы. Афанасий Афанасьевич слушал, одобрительно покачивая головой. Катя смотрела на Анатолия, стараясь уловить на его лице восхищение умом ее матери. А Анатолий вдруг рассмеялся искренне и громко, как будто услышал очень забавный анекдот. Это был его последний смех в этом доме. Когда стало ясно, что он намерен строить жизнь, не считаясь с указаниями Ксении Петровны, все остальное было предрешено.

Он долго не понимал этого. Он был уверен, что Катины родители примирятся с его независимостью, привыкнут к мысли, что Катя не только их дочка, но и его жена. Он все еще старался быть вежливым и терпимым, а странности этой семьи объяснял старческими причудами, до которых ему нет никакого дела. Когда он, прослужив недолго в детской воспитательной колонии, перешел в следственный изолятор, свободного времени у него осталось совсем немного, и ему некогда было замечать, что дом стал чужим и враж-

дебным.

Если бы не Катя, он бы и жил, как живут люди в коммунальных квартирах, не обращая внимания на дурной характер соседей. Но Катя была рядом. Ее он считал своей, неотделимой. И он не мог не видеть, как продолжают ее калечить любящие родители. Больше всего его тревожило Катино безразличие к своему будущему. Проходил год за годом, а она все так же ничему не училась, ничем не интересовалась. Вечерами, когда они оставались одни, Анатолий стыдил ее, убеждал приобрести какую-нибудь специальность, доказывал, что она отупеет, опустится. Катя с ним соглашалась. Но уже на другой день все менялось. Пока он был на службе, Ксения Петровна подчиняла ее своей воле.

Через знакомых Катю устроили на киностудию. Недели две она ходила веселая, энергичная, похожая на прежнюю Катю. Мечта о музыкальных триумфах сменилась мечтой о славе киноактрисы. Анатолий сердился, готовил ее к неизбежному разочарованию. Катя закрывала ему рот теплой ладонью и убегала к матери. Она сменила прическу, накупила книг о знаменитых кинодеятелях. Потом были разговоры о каких-то пробах, обещаниях, интригах. Катя отсидела несколько дней на массовках, бесконечно повторяла с сотней других статистов одни и те же движения и,

ошалев от света «юпитеров», от грубых окриков помощников режиссера, ушла со студии такой же жалкой и растерянной, как после экзаменов в консерваторию.

Анатолий резко поговорил с Ксенией Петровной, но это привело лишь к полному разрыву даже внешне дружелюбных отношений.

– Катюша, – говорил в тот вечер Анатолий, – пойми, дорогая, что так дальше жить нельзя. Мать сломила твою волю, сделала из тебя тряпичную куклу. Она испортила жизнь тебе, а сейчас портит нам обоим. Давай уедем отсюда. Обменяем комнату, будем жить отдельно, независимо. Ты станешь другим человеком. Отпусти ты край маминой юбки.

Катя плакала и не возражала. Она дала слово, что ничего не скажет матери, пока они не найдут подходящую комнату. После этого они и начали хождение «по вариантам».

Ксения Петровна слишком хорошо знала Катю, чтобы не догадаться об их тайне. Все выпытала и пришла в ярость.

– Глупая, бессердечная девчонка! Неужели ты не видишь, что этот тюремщик хочет оторвать тебя от семьи, чтобы никто не мешал ему издеваться над тобой? Что тебя с ним ждет? Нужда! Хамство и грубость. И ради него ты готова превратить нашу квартиру в

коммунальную, отравить нам с отцом последние годы жизни. Как тебе не стыдно?! Мы с отцом посвятили тебе всю свою жизнь. Мы сделали ошибку – согласились на этот несчастный брак. Но мы ее исправим. Мы найдем тебе другого мужа, солидного научного работника, заслуженного...

– Мама! Что ты говоришь! Я люблю Толю!

– Глупости! Это не любовь. Остатки детского увлечения. Его нельзя любить. Отец устроит тебя на кафедру, там открывается вакансия лаборантки. Вокруг тебя будут интеллигентные люди, кандидаты, доктора наук. Ты красавица, умница, полюбишь настоящего мужчину. Его жилплощадь мы передадим этому извергу, а он переедет сюда, и будете счастливо жить. Так и запомни! И никаких нежностей с этим тюремщиком. Не вздумай заводить от него ребенка. Это погубит нас всех.

Она кричала долго, повторяла одни и те же фразы, не давая Кате возразить ни слова. Она знала свою дочь.

3

Телефонный звонок долго и нудно долбил в одну точку, пока Таисия Петровна окончательно просну-

лась и со страхом сняла трубку. Со вчерашнего дня страх сопутствовал каждому ее шагу. Она даже в постель не легла, боясь проспать что-то страшное. Она забылась под утро, согревшись в кресле под пушистым платком. Со сна телефонный звонок показался необычно длинным и требовательным, каким бывает междугородный вызов. И по новой вспышке страха она поняла, что больше всего боялась этого вызова, боялась разговора с мужем.

Вчера ночью у сестры они долго обсуждали, сообщать ли Игорю о том, что случилось с Геной. Решили вызвать его, только если Гену в ближайшие дни не отпустят домой. И вот теперь он звонит сам. Неужели узнал? А если не узнал, то что ему сказать? Обмана он не простит.

– Я слушаю.

– Таисия Петровна?

Мужской голос был здешним, очень хорошо знакомым.

– Я знал, что разбужу вас, проклинал себя, но ждать не мог. Это Олег.

– Ах, Олег! Как хорошо, что вы позвонили.

– У меня очень мало времени. Я хотел бы вас повидать, сейчас, перед работой. Разрешите зайти минут на десять.

– Ну конечно! Вы мне очень нужны.

Она обрадовалась этому звонку. Только перенесенным потрясением могла она объяснить, что сразу не вспомнила об Олеге. Ведь этот обаятельный молодой человек все и всех знает. Он в курсе Гениных дел. Он сможет доказать милиции, что Гена ничего плохого не делал. Таисия Петровна наспех взбила волосы, провела пуховкой по запущенному лицу, прибрала разбросанные вещицы, и тут же явился Олег.

Она впервые видела его в скромном рабочем костюме, в темной рубашке без галстука. Обычно он приходил вечером – модный, утонченный и галантный. Он был строен и красив. Гена старался во всем ему подражать. Таисия Петровна поощряла эту дружбу. Ей нравились манеры Олега, его умение ухаживать за женщинами. Хотя он был моложе ее лет на пятнадцать, она кокетливо принимала его ухаживания, но однажды, отвесив две пощечины, четко установила границы выражения чувств. После пощечин Олег стал осторожней, но по-прежнему оставался милым, услужливым и веселым. Не было такой тряпки, или побрякушки, или парфюмерной редкости, которую он не достал бы после первого же намека.

Олег вошел со скорбным лицом, выражая этим сочувствие горю матери, и на секунду дольше, чем обычно, задержал свои губы на руках Таисии Петровны. Когда она провела его в комнату и собралась

рассказывать о вчерашних событиях, Олег мягко обрвал:

– Я все знаю. Ничего страшного. Поддержат и выпустят.

Он говорил убежденно, как человек, знающий гораздо больше, чем другие.

Эти первые слова ободрения, услышанные Таисией Петровной за последние сутки, подействовали на нее как сильное лекарство. Глаза ее заискрились, щеки порозовели. И арест Гены, и обыск перестали казаться такими горестно непоправимыми, какими казались еще полчаса назад. Олег излучал благополучие. Небрежно развалившись на диване, он вытянул длинные ноги и, лениво выдувая дымок сигареты, смотрел на Таисию Петровну со снисходительной усмешкой.

– Олег, милый, вы возвращаете меня к жизни. Если бы вы знали, что я пережила!

– Все представляю и горячо вам сочувствую. Еле дождался утра, чтобы разделить с вами мою уверенность – все кончится наилучшим образом.

– Спасибо вам, Олег. Я совсем потеряла голову. Как жаль, что я не позвонила вам вчера.

Рука Олега застыла на отлете.

– Куда вы хотели позвонить? У вас есть мой телефон?

– Где-то записан.

– У Гены?

– Нет, Гена мне назвал как-то, я просила.

– Где он у вас записан?

– Какая разница? – удивилась Таисия Петровна.

– Это очень важно. Покажите, пожалуйста. Я хочу проверить – старый телефон или новый.

Таисия Петровна стала копаться в палехской шкатулке, перебирала старые квитанции, письма, обрывки каких-то записок.

– Позвольте, я найду быстрее.

Бумажки замелькали в его руках. Одну он смял и сунул в карман.

– Что вы делаете? – испуганно спросила Таисия Петровна.

– Этот телефон вам не нужен, – спокойно сказал Олег, возвращая ей шкатулку.

– Вы себя как-то странно ведете. Олег поискал глазами пепельницу, постучал о ее край сигаретой, посмотрел на часы.

– Вам, наверно, дадут сегодня свидание с Геней. Потом с вами будет беседовать следователь. В предвиденьи этой неизбежной процедуры хочу дать вам один совет. Ни в коем случае не вспоминайте, что среди знакомых вашего сына есть Олег. Ни в коем случае! – повторил он категорическим тоном.

– Не упоминать вас? Почему? Я надеялась, что

именно вы сможете помочь Гене. Вы же знаете, что мой мальчик ни в чем не виноват.

– Это никаких доказательств не требует. Участие несовершеннолетнего в мелкой спекуляции копеечными тряпками ничем ему не грозит. Возьмут подписку, предупредят и отпустят.

– Почему же вы боитесь признать себя его знакомым?

– Хотя бы потому, что я уже давно участвую в голосовании на выборах.

– Не понимаю... Вас не обыскивали, не задерживали, чего же вы боитесь?

– Я боюсь не за себя, а за Гену и... за вас.

– Ничего не понимаю.

Олег долго рассматривал Таисию Петровну, словно проверяя, достойна ли она доверия.

– Уважаемые граждане из управления милиции с превеликим удовольствием и арестовали бы меня, и обыскали. Если бы имели для этого хотя бы крошечное основание. Пока такого основания у них нет. Но если они узнают, что Гена был связан со мной и выполнял некоторые мои поручения, им этого будет достаточно.

– Это вы поручали ему скупать рубахи?

– Если бы – рубахи...

В глазах Олега появилось странное выражение. Ли-

цо стало злым, незнакомым. Таисия Петровна почувствовала приближение какой-то новой опасности.

– Олег! Что вы хотите сказать? Не мучьте меня!

– Видите ли... Мне как-то понадобилось встретиться с одним милым человеком. Нужна была нейтральная квартира... Гена мне помог. Но беда в том, что этот человек – иностранец.

У Таисии Петровны помертвело лицо. Она ждала. Олег молчал.

– Он... шпион? – прошептала Таисия Петровна.

Олег громко рассмеялся.

– Бог с вами! Какие ужасы приходят вам в голову!

Вы начитались детективов.

– Кто же он? Спекулянт? Контрабандист?

– Это уже точнее. Но к нейлоновому барахлу он никакого отношения не имеет.

– Валюта? – допытывалась Таисия Петровна.

– Вы умница, – восхищенно сказал Олег. – Была незначительная сделка. Но закон есть закон. Гену я просветил, он знает, чем это пахнет. Он не назовет моего имени, сколько бы следователь ни держал его на допросе. Не должны называть и вы. Никому! Ни следователю, ни родным, ни знакомым. Иначе вы погубите сына.

– Как вы могли, – шептала Таисия Петровна, – как вы могли... Втянуть мальчика в такую грязь... Какой

же вы подлец...

– Очаровательная Таисия Петровна, я понимаю ваше смятение и прощаю некоторую грубость ваших выражений. Еще раз напоминаю вам: судьба Гены в ваших руках. Если вы промолчите обо мне, он через несколько дней будет дома и вы прижмете его к вашей прелестной груди. Если же вы проговоритесь и потянут меня... Что ж, придется мне рассказать всю правду и о себе, и о Гене, и о моих клиентах по части заграничных шмуток. Придется мне указать на многие части и вашего туалета, и туалета вашей сестрицы... Вот так.

– Какой подлец! Какой подлец! – повторяла Таисия Петровна.

Олег снова взглянул на часы и встал.

– Мне пора. Я еще никогда не опаздывал на работу. Вы разумная женщина и, когда придете в себя, поймете, что я желаю добра вашей семье. Провожать не нужно. Мысленно целую ваши ручки.

Таисия Петровна услышала, как хлопнула дверь. Она не могла сдвинуться с места. Поспешно перебирая события последних месяцев, она припоминала, как появился у них и околдовал всех этот негодяй. Она вспомнила, что Олег обычно приходил, когда в квартире других гостей не было. В беседах со своими друзьями Гена никогда его имени не называл и ее про-

сил о нем не заговаривать, – и телефон его дал после нескольких напоминаний. Она даже не знает его фамилии, не знает, где он живет. Он прав, он может погубить их всех. Валюта! Что может быть страшнее? Это она виновата. Только она! Она привадила его к дому, заказывала ему белье, и кофточки, и туфли – для себя, и для Ксении, и для знакомых.

Вспомнилось многое. Она видела, как они запирались с Геной, о чем-то шептались, а она, дура, радовалась, что Гена уединяется не с девушками, а со взрослым культурным человеком. Она даже гордилась сыном, приобретшим таких солидных, обаятельных друзей. Слава богу, хоть муж ничего не знает. И никто не должен знать. Этот негодяй прав – спасенье Гены в том, чтобы никто, никто не узнал. Нужно молчать, молчать.

Она вспомнила, что Афанасий Афанасьевич обещал познакомить ее с известным адвокатом. Ему тоже об Олеге ни слова. Анатолий обещал свидание с Геной. Скорее в магазин!

4

Откуда взялось, как сложилось слово «фарцовка», никто не знал и докопаться не мог. Любители из работ-

ников уголовного розыска пробовали искать его этимологические корни, выдвигали разные гипотезы, но к единому мнению не пришли. Приходилось мириться с тем, что, несмотря на свою безродность, заумное слово обозначает стойкий вид правонарушений, порой принимающих опасный характер.

Фарцовка как промысел появилась вместе с иностранными туристами. Началось с невинного обмена сувенирами, а привело черт знает к чему.

Примерно так изложил предысторию падения Геннадия Рыжова следователь Марушко, хорошо знакомый Анатолию по другим делам.

Гена лет с двенадцати начал коллекционировать марки. Денег у него водилось больше, чем у других мальчишек, и это помогло ему связаться с «королями» черной биржи. У них обучился он азам грошовой спекуляции. Родители Гены и не заметили, как невинное увлечение превратилось в хитроумную торговлю с присущими ей взаимным надувательством, приятными прибылями и досадными убытками.

Кто-то из великовозрастных балбесов открыл Гене первоисточник новеньких заграничных марок – вестибюль гостиницы «Интуриста». Оказалось, что среди солидных путешественников, приезжавших с чемоданами, разукрашенными пестрыми наклейками, было немало страстных коллекционеров. Они охот-

но вступали в деловые отношения даже с малолетками, открывали свои карманные альбомы и с помощью пальцев устанавливали меновую стоимость различных марок.

Возникшие иностранные связи потребовали от Гены знания некоторых обиходных фраз на европейских языках. К восторгу Таисии Петровны ее обожаемый сынок стал здороваться и прощаться не только на английский, но и на финский манер. Гена сам вырос в своих глазах и свысока поглядывал на сверстников.

Марки привели к значкам. Первый понравившийся ему значок Гена выпросил. Добродушный турист, тронутый мольбой вежливого мальчика, вручил ему сувенир. В школе значок вызвал всеобщую зависть. После недолгих колебаний Гена продал значок своему однокласснику. На вырученные деньги он купил в киоске несколько наших значков и в первое же воскресенье обменял в гостинице на иностранные. Снова продал, и барыш оказался значительным.

Так неожиданно открылась удивительно легкая возможность доставать деньги помимо тех, которые выдавала мать на мелкие расходы. Когда Гена к 8 Марта преподнес маме подарок, купленный на «заработанные» деньги, Таисия Петровна хохотала до слез и рассказывала об этом знакомым, как анекдот с самостоятельным названием: «Генка-бизнесмен».

Гена учился уже в восьмом классе, когда его задержал комсомольский патруль. Это был первый настоящий испуг. Его привели в штаб, где толпились несколько парней и девушек. Его долго стыдили, доказывали, что приставать к иностранцам некрасиво, что он позорит советскую молодежь. Он ожидал чего-то более страшного, и испуг прошел. Он оправдывался тем, что увлечен коллекционированием, обещал никогда не попрошайничать, и его отпустили.

Первое задержание либо потрясает и надолго остается в памяти, либо поощряет правонарушителя на дальнейшие подвиги. Гена убедился, что ничего, кроме скучных слов, на вооружении комсомольцев нет и никаких серьезных неприятностей они причинить не могут. Вместе с этими выводами окрепло чувство уверенности в своей ловкости и безнаказанности.

Переход от сувениров к более полезным вещам, годным к употреблению, произошел незаметно и безболезненно. Иностранцы оказались охочими до советских денег. Среди них были большие любители русской водки, и валюты на нее не хватало. Поэтому они без стеснения отдавали по сходной цене личное барахлишко. Гена скоро узнал, что любой предмет, украшенный маркой зарубежной фирмы, находил покупателя, готового уплатить втридорога.

Среди мальчишек, промышлявших около гостини-

цы, Гену заметили взрослые тунеядцы, поставившие спекуляцию заграничными вещами на широкую ногу. Этот рослый, хорошо одетый школьник, умевший держаться в любом обществе, был для них находкой. Его молодость служила хорошим прикрытием. Отдельная квартира, где никого, кроме доброй снисходительной мамы, не было, стала отличной базой.

У Гены образовался круг веселых друзей – бездельников, бросивших школу или провалившихся в вуз, какой-то студент, неведомо где работавший актер. Все они отлично танцевали, знали толк в джазах и в нейлоновом белье. Они привили Гене вкус к хорошим ресторанам и дорогому вину, – вкус к жизни легкой, иронической и бездумной.

Таисия Петровна сама называла себя тряпичницей и гордилась этим званием, как простительной слабостью хорошенькой женщины. Когда Генины друзья подарили ей кофточку, на которую оглядывались в театре, она стала встречать их у себя как добрых друзей. Кофточка была продемонстрирована всем знакомым. Пришлось просить мальчиков достать что-нибудь вроде этого поверженным в прах приятельницам. Разумеется, не в качестве подарка, а по цене, сложившейся на подворотном рынке.

Однажды Гену задержали около морского порта с

блоком жевательной резинки, только что приобретенным у какого-то кочегара. На этот раз дело обернулось серьезнее. Его привели в милицию. Составили акт, прочитали ему некоторые статьи Уголовного кодекса, предупредили, заставили написать обязательство, что никогда больше он такими делами заниматься не будет. Мало того – еще сообщили в школу.

Директор школы вызвал Таисию Петровну, похвалил Гену за способности и выразил крайнее удивление по поводу милицейского протокола. Оба сошлись на том, что это несчастный случай, из которого все же нужно сделать некоторые выводы. Директор обещал не предавать историю гласности, а Таисия Петровна обязалась строже смотреть за сыном.

Весь день она больно переживала разговор с директором, а вечером учинила Генке и его друзьям изящно оформленный скандал. Она описывала им свои материнские чувства, укоряла в легкомыслии, рисовала те ужасные последствия, которые могли бы быть, если бы директор не оказался приличным человеком, глубоко уважающим ее мужа. Она запретила Генке появляться среди иностранцев, грозила сообщить отцу, умоляла мальчиков порвать связи с туристами или, в крайнем случае, проявлять всемерную осторожность.

Гена слушал с огорчением на лице. Его друзья

очень ценили их квартиру, не хотели ее терять и обещали оберегать Гену от подобных неприятностей. К Таисии Петровне вернулось хорошее настроение. Вечер закончился прослушиванием новых пластинок и демонстрацией последних достижений танцевальной техники.

Фарцовщики действительно перестали пускать Гену на рискованные уличные операции. К этому времени среди туристов, уже побывавших в Советском Союзе, появились постоянные клиенты. Это было гораздо удобнее. С ними не нужно было вести утомительных переговоров. Встречаться с ними можно было на заранее условленных местах. И что самое важное – они уже сбывали не личное, случайное и часто поношенное барахло, а заранее заказанные вещи определенного ассортимента.

Следователь Марушко не посвятил Анатолия в детали последней операции, когда одного туриста-контрабандиста, приехавшего на своей машине, удалось поймать с поличным. Его и двух приятелей Гены, юркнувших в машину на короткой остановке в глухом переулке, проследили до базы – до гаража, в котором стоял «москвич» Гениного отца. «Москвич» выкатили во двор, а машину туриста загнали в гараж. Там выпотрошили сиденья, спинки и даже дверцы, нафаршированные вещами. Нагрузившись товаром, фарцов-

щики пришли в Генкину комнату, где их уже поджидали оперативные работники.

Собранные Марушко доказательства заставили преступников признать то, что отрицать было невозможно. Хотя Гена и его сообщники прикидывались, что с незадачливым туристом их свел несчастный случай, улик было достаточно. Марушко неопровержимо установил преступный сговор с целью спекуляции и четко сформулировал: «Действия квалифицируются по ч. II ст. 154 УК с учетом крупных размеров спекулятивной деятельности, с учетом повышенной опасности спекуляции иностранными товарами, а также с учетом значительных размеров наживы от 100 до 250% стоимости каждого предмета спекуляции».

За последние годы Анатолий научился быстро определять, насколько серьезны обвинения, выдвинутые против его подопечных. Он не сомневался, что вина Гены на суде будет доказана. Но не был уверен, нужно ли держать его в изоляторе. Все обстоятельства преступления выяснены, взрослые участники находятся под арестом, – есть ли надобность оставлять за решеткой до суда несовершеннолетнего паренька?

Прежде чем задать этот вопрос, Анатолий еще раз проверил, не вызваны ли его сомнения особым отношением к подследственному. Он вспомнил другие дела, когда восставал против предварительного заклю-

чения подростков и даже добивался изменения меры пресечения. Нет, ничего личного в его заинтересованности этим делом у него не было.

Марушко в ответ усмехнулся.

– В том-то, друг, вся беда, что главная сторона дела еще в полном тумане. И пока этот туман не рассеется, не могу я этого щенка выпустить на свободу. И если откровенно признаться, надежда у меня на тебя.

Встретив недоуменный взгляд Анатолия, Марушко объяснил:

– От этого дела тянется ниточка к другому, более важному. Ведут его другие товарищи, и всего я не знаю. А в общих чертах – так. На границе таможенники накрыли одного туриста. Он уже в пятый раз к нам приезжает. Нашли у него крупную сумму наших денег. И золотишко. Привозил он сюда не вещи, а валюту. В этом он признался. Между фарцовщиками и этим контрабандистом связи как будто нет. Он их не знает, и они о нем не ведают. Зато известно другое. Имел он дело с одним человеком, по кличке Джек. По всему судя, сей Джек – важное звено в том, другом деле. Хитрая бестия и крупный хищник. Встречались они в разных местах. Одну квартиру турист хорошо запомнил и точно описал расположение комнат. Квартира эта – Генки Рыжова.

– Не может быть! – вырвалось у Анатолия. – Он с

матерью...

– Все проверено. Дело было летом. Отец Рыжова летал на своем Севере, а мамаша купалась в Сочи. Сынок находился на попечении тетки, но ключами от квартиры распоряжался сам. Без него этот Джек туда не попал бы.

– А Генка отрицает?

– Полностью. Никакого Джека не знает, никому ключей не давал, никого в квартире не было. Вижу, что врет, а расколоть не могу.

– А других следов к Джеку нет?

– У кого, может, и есть, а у меня – единственный. И очень хотелось бы к нему дотянуться. А то, что Рыжов Джека знает, можешь не сомневаться. И выпустить его сейчас я не могу.

– Нельзя, – согласился Анатолий.

– Послушай, Скворцов, – с просительной улыбкой обратился к нему Марушко, – ты там у себя разные эксперименты проводишь, займись этим дурнем, убедь его, докажи, что от повинной ему ничего, кроме пользы, не будет. Помоги, а то меня сроки поджимают.

Анатолий понимающе кивнул.

В эту квартирку на пятом этаже крупнопанельного дома Анатолий приходил часто. Когда-то он забежал сюда школьником, потом студентом, несколько раз бывал с Катей, навещал постаревшую учительницу. А в последнее время заглядывал без всякого повода, по зову души.

Чем тяжелее становилась обстановка в семье Воронцовых, тем сильнее тянуло его сюда. Под низкими потолками этих маленьких комнат ему легче дышалось. Здесь никогда не говорили о деньгах, никому не завидовали, ни о ком не сплетничали. После смерти мужа Ольга Васильевна одна растила дочь, но жалоб ее никто не слышал. Анатолий лишь догадывался, что зарплаты Ольги Васильевны и Антошкиной стипендии только-только хватает на жизнь, что к приобретению обновки здесь готовятся задолго, отодвигая сроки, не раз перекраивая и наращивая старье.

У Анатолия не было ближе ни друзей, ни родственников. Много лет назад муж Ольги Васильевны вытащил школьника Толю Скворцова из трясины уголовщины и ценой своей жизни спас его от ножа убийцы. С тех пор Анатолий привязался к этой семье. Под влиянием Ольги Васильевны решил он пойти в педагоги-

ческий институт, а потом – заняться воспитанием таких же несчастных подростков, каким когда-то был он сам.

Когда Ольга Васильевна сидела за стопкой классных тетрадей или строчила на швейной машинке, Анатолий мог говорить все, что приходило в голову, мог освобождаться от сомнений, принесенных со службы. Он чувствовал, как раскручивается, слабеет пружина, заведенная с утра, и приходит легкость полного отдыха.

Не так давно он заметил, что Ольга Васильевна как будто меньше радуется его приходу и словно недоговаривает чего-то, не высказывает вслух, о чем думает, глядя на него. Но это мимолетное ощущение забывалось, и Анатолий вновь приходил, заранее улыбаясь тем первым словам приветствия, которые его ждут.

Антошки дома не было. Кроме географии, она еще увлекалась баскетболом, и вечерние тренировки отнимали много времени. Ольга Васильевна внимательно осмотрела его, как будто проверяла внешний вид своего ученика.

– Скоро придет человек, у которого к тебе дело. Не пугайся, человек интересный.

Это означало, что дело, с которым придет гость, не личное, лишь этого человека касающееся, но имеет общественное значение. Только людей, занятых по-

мимо себя еще и делами других, Ольга Васильевна называла интересными.

Пока они были вдвоем, Анатолий рассказал об аресте Гены и о вчерашней сцене у Воронцовых. При Антошке он стеснялся говорить о разладе с Катей. Ольга Васильевна гладила белье и слушала молча. Когда он стал изображать ораторствующего Афанасия Афанасьевича, она его перебила:

– А как он ведет себя в милиции?

– Гена? Скверно ведет, нет искренности, нет раскаяния. По всей видимости, отлично подготовлен каким-то негодяем.

– Ты дома еще не был?

– Прямо со службы. Страшно идти. Они меня ждут, а что я им скажу?

– Он попадет к тебе в изолятор?

– А куда же еще? И вся эта семейка станет меня насиловать, будут требовать невозможного... И так тяжело, а что теперь будет – не представляю себе.

– А Катя?

– Ольга Васильевна! Ну что вы спрашиваете? Катя на все смотрит глазами матери, обо всем судит мозгами своего безмозглого отца.

– Плохой ты муж, Толя.

– Несчастливый я, Ольга Васильевна. А несчастливые всегда виноваты.

– Катя слабохарактерная, добрая. Нужно бороться за нее, помочь ей выйти из-под опеки. Ты мужчина, ты должен был стать для нее главным, самым умным, выше всех. А ты втянулся в свару с ее мамой, превратился в жильца коммунальной квартиры.

Ольга Васильевна разговаривала с ним, как с нерадивым учеником. Все было правильно, Точно так же мог бы и он упрекать кого-то другого. Так все выглядит со стороны. Но это неверно, что со стороны виднее. Как можно увидеть те чувства, которые борются в нем, когда он переступает порог опостылевшей квартиры, когда смотрит на Катю и слышит голос Ксении Петровны, когда его тянут в разные стороны – и привычка, и жалость, и возмущение, и страх перед одиночеством, так хорошо знакомый с детства? Может быть, у него действительно не хватает чего-то, чтобы переломить жизнь? Чего? Может быть, той жесткой решительности, которая не боится чужой боли и называется «характером»?

– Пока мы живем вместе с ее родителями, счастья у нас не будет.

– Значит, нужно разъехаться.

– Нужно! Сам сто раз твердил, что нужно. Но как, если она не хочет. После экзаменов в эту проклятую консерваторию, после провала на киностудии она как сломанная. Помните, какая она была в школе? Ниче-

го не осталось – ни воли, ни ума.

– Но ведь любит она тебя.

Анатолий помедлил с ответом.

– Любит... Только любовь эта какая-то... Знаете, когда в сети падает напряжение, волосок электрической лампочки становится из белого красным. И нельзя сказать, что погасло, и света нет.

Ольге Васильевне очень хотелось задать вопрос: «А любишь ли ты сам?» Но она промолчала.

– Злюсь я на нее, – продолжал Анатолий, как будто подслушав ее мысли, – и жаль мне ее бывает так, хоть плачь. Иногда хочется плюнуть на все, уйти в общежитие, а когда остаемся одни, она освобождается от маминых чар, становится другой – ласковой, жалкой... Как от нее уйдешь?

– И нельзя тебе уходить. Нельзя ломать жизнь. Убеждай, будь терпелив, не поддавайся на злость, докажи, что ты умнее ее родителей.

Анатолий сидел понурившись. Нет, не всегда можно помочь другому даже самыми лучшими словами. Вот так же, наверно, слушают тебя заключенные, когда ты распинаешься перед ними в изоляторе... Жизнь человека совсем непохожа на сборник арифметических задач, ответы на которые можно подсмотреть в конце или списать у соседа.

Пришел гость. Невысокий старичок с белой под-

стриженной бородкой, с красными щечками и выцветшими глазками. Он долго держал руку Анатолия, подтверждая этим, что действительно рад познакомиться.

– Вам Ольга Васильевна говорила, я общественный инспектор по охране детства, Антиверов Марат Иванович. Персональный пенсионер республиканского значения.

Старичок улыбнулся, выжидая ответной улыбки Анатолия.

– Насчет Антиверова объясню, это всех интересует, хотя не все спрашивают. Мой родитель из потомственных обуховцев, еще до революции в пику попам переменял фамилию, а первенца, то бишь меня, называл именем, какого нет в святцах. Так и живу.

Гость привычно рассмеялся.

– Теперь о деле, – торопился Марат Иванович, расчесывая бородку и усаживаясь за стол. – Интересует меня судьба одного мальчонки, попавшего в ваше малоуважаемое заведение. Шрамов Леня. Не помните такого?

Ольга Васильевна о госте рассказать не успела, но и так было ясно, что Антиверов – один из энтузиастов-общественников, работающих в бесчисленных комитетах и комиссиях, опекающих трудных ребят. В свое время Анатолий сам помогал таким старичкам.

Он был даже адъютантом отставного полковника, возглавлявшего штаб по борьбе с безнадзорностью. Чтобы заполнить досуг ребят и отвлечь их от диких забав, создавались спортивные секции и кружки. В квартальном клубе дежурили интересные люди, сагитированные мужем Ольги Васильевны. Много удалось сделать, – закоренелых хулиганов убрали. Тем, кто был на распутье, помогли выбрать дорогу. Но прошло несколько месяцев, и стало ясно, что энтузиазм общественников – опора недолговечная. Тяжело захворал полковник. Получили новые квартиры и переехали в другие концы города кое-кто из других членов штаба, и все захирело. Распались кружки. Появились новые хулиганы и новые ватаги. Как будто ничего и не было.

Анатолий потерял веру в возможность пенсионеров и домохозяек. Подростки, сидевшие в камерах изолятора, были для него убедительнейшим доказательством тщетности всей этой возни хороших, но бесправных людей. Поэтому Марат Иванович со своей расчесанной бородкой не вызвал у него чувства расположения.

– А чем, собственно, разрешите узнать, наше заведение вызвало ваше неуважение? – спросил он.

– Помилуйте, – развел руками Антимеров, – кто и когда уважал тюрьму? Как вы ее там ни называйте, хоть исправдомом или санаторием особого назначе-

ния, тюрьма – она и есть тюрьма. Неужто вы сами уважаете место своей работы?

Анатолий рассердился.

– Если бы я не уважал место своей работы, Марат Иванович, я бы не уважал самого себя. Моя работа нужна обществу не менее, чем любая другая. А раз нужна, значит, достойна уважения. И заведение, как вы выражаетесь, в котором я работаю, тоже необходимо и тоже достойно уважения. Или вы думаете – оно лишнее?

– Да вы не гневайтесь, голубчик. Разве об этом спор: нужно или не нужно. Конечно, нужно! И завод нужен, и тюрьма нужна. Только с разными чувствами смотрим мы на то и другое. Верно ведь?

То, что говорил этот якобинец из обуховцев, не было Анатолию внове. Когда в райкоме ему предложили занять должность воспитателя в изоляторе, он внутренне отшатнулся. Не верил он, что решетки на окнах или колючая проволока на столбах могут исправить душу человека. Долгим и трудным был разговор в райкоме, и согласился он тогда не потому, что его разубедили. Как-то вдруг, на каком-то повороте беседы представились ему ребята, сидящие в камере. Многих он знал, – прошли через его руки в воспитательной колонии. Разве теперь, когда они ждут суда, он им меньше нужен? И разве нет частицы его личной ви-

ны в том, что они оказались заключенными? Не сумел помочь, когда они были на свободе, – помоги сейчас. Сделай что-нибудь, придумай! Нельзя с этим мириться! Он принял предложение и с тех пор резко огрызнулся, когда слышал свои прежние сомнения из чужих уст.

– Чувства не должны заслонять разум. Родильный дом вызывает одни чувства, кладбище – другие, пионерский лагерь – третьи, больница для хроников – четвертые. Одни чувства приятные, другие – не очень. Но разумный человек понимает, что государству нужны всякие учреждения – и первые, и вторые, и четвертые. А люди, которые работают там, где неприятно, по-моему, заслуживают не меньшего уважения.

Анатолий добился своего: старичок покраснел, полез в карман за носовым платком и долго выдувал обе ноздри, хотя никакой надобности в этом не было.

– Ты слишком прямолинеен, Толя, – пришла на помощь гостю Ольга Васильевна. – Марат Иванович пошутил, а ты сразу встал на защиту чести мундира. Ты хорошо знаешь, что тюрьмы у нас не на век, и сам ты хочешь, чтобы они поскорее стали ненужными, и Марат Иванович за это. Так что никакого противоречия между вами нет.

– Вот спасибо, Ольга Васильевна, – сказал повеселевший Антиверов, – выручила, умница. Мне с моло-

дыми спорить не с руки, так прижимают, дыхнуть не дают. Да я и не затем пришел. Мальчонка один у вас, Шрамов Леня.

– Есть такой, – сказал Анатолий.

– Надо бы его вызволить. Нельзя его за решетку, Анатолий Степанович, поверьте мне, нехорошо с ним получилось.

– Он ждет суда за воровство.

– Ждет. Только неправильно это.

– Что ж он, не крал, по-вашему?

– Крал. По глупости и несчастью крал. А пройдет через вашу... ваш изолятор, через суд или там – колонию, того и гляди – пропадет. Нельзя этого допустить.

– Об этом нужно было в прокуратуре разговаривать.

– Разговаривал. И со следователем разговаривал, и с прокурором. Так ведь надоел я им, слушают вполуха. А главное дело – бумажка, через которую никак не перескочишь.

– О какой бумажке вы говорите?

– Еще когда его в детскую колонию за бродяжничество отправляли, года два назад дело было, просил я, доказывал – не составляйте на него бумагу, ничего эта колония ему не даст. Вы к его семье присмотритесь, в каких условиях мальчишка живет. Не послушались, составили. А бумажка с номером, со штампом

– это как клеймо: на кого заведена, тот и сам на себя иначе смотрит – вроде бы в другой сорт людей переведен. И для учреждений разных такая бумага магическую силу имеет. Раз записано: бродяга, колонист – значит, вопрос ясен, дорога ему одна. А теперь, если и по воровству бумага будет – конченное дело. Сам Ленька поверит, что других путей нет, корнями начнет в воровскую жизнь вращаться.

Анатолий слушал внимательно. За эмоциями Антиверова слышалась трезвая мысль.

– А что у него за семья? – спросил он.

Зазвонивший телефон отвлек Ольгу Васильевну, но, подняв трубку, она позвала Анатолия.

Звонила Катя. С укором напоминала, что его ждет Таисия Петровна.

– Выхожу, Катюша, – виновато откликнулся он.

Марату Ивановичу Анатолий сказал, что для продолжения беседы у него нет времени, и пообещал прийти к нему, чтобы познакомиться с семьей Лени Шрамова.

Антиверов тоже поднялся.

– Пойдемте вместе, я вам еще по дороге кой-чего втолкую.

Они уже стояли в передней, когда вошла Антошка. Она растерянно посмотрела на гостей, неловко поздоровалась, тут же попрощалась и ушла к себе.

Анатолий уже надел фуражку, когда из комнаты донесся ее голос:

– Толя! Зайди-ка, я тебе чего скажу.

Анатолий вошел и встретил ее осуждающий взгляд.

– И тебе не совестно, – ревнивым шепотом заговорила она, – пока меня не было, с мамой сидел, с этим дедом сидел, а со мной?

– Антоша, поверь, нет времени. Очень нужно домой.

– А мне поговорить нужно, тоже очень.

– Я завтра забегу. Ты когда придешь?

– Не знаю, когда завтра, мне сегодня нужно.

– Никак не могу, – уже менее решительно повторил

Анатолий.

Вошла Ольга Васильевна.

– Толя, тебя человек ждет. Антонина, отпусти его.

Анатолий ласково посмотрел на огорченное лицо

Антошки и вышел.

Пока Антошка полоскалась в ванной, а Ольга Васильевна готовила чай, они обменялись обычными словами, не имевшими никакого отношения к Анатолию. Но когда сели за стол друг против друга, Ольга Васильевна через силу заговорила о том, что давно считала нужным выяснить.

– Послушай, дочь, ты плохо ведешь себя по отношению к Толе.

Антошка округлила глаза и рот, изображая крайнюю степень удивления.

– Не дурачься, это очень серьезно, – нахмурившись, сказала Ольга Васильевна. – Ты забываешь, что он тебе не брат. Ты кокетничаешь с ним, как будто чего-то добиваешься от него.

– Моя умная мама, где логика? Если я забываю, что он мне не брат, то почему бы мне с ним не пококетничать?

– Ты прекрасно понимаешь, что я хочу сказать.

– А что я, по-твоему, могу от него добиваться?

– Вот я и хочу знать...

– А если я люблю его?

– Не говори глупостей.

– Но я вправду люблю. И он меня любит.

– Ты что... Ты говорила с ним об этом?

– А зачем об этом говорить? Разве я не чувствую?

– Послушай, Антонина. Я говорю очень серьезно.

Настолько серьезно, что попрошу Анатолия больше к нам не приходить.

Антошкины глаза испуганно остановились. Она тихо сказала:

– Ты этого не сделаешь.

– Но ты понимаешь, что все это значит? Анатолий женатый человек.

– Подумаешь!

– Не перебивай! И что значит «подумаешь»? Он любит Катю, Катя любит его.

– Не любит он Катю, и ты это прекрасно знаешь. И как он может любить эту куклу? И ноги у нее как палки и глаза бараньи. Он просто сам не знает еще, что не любит ее.

– Господи, какая ты еще дура! Пойми, что между тобой и Толей никакой любви нет. У тебя не было братьев, у него – сестер. Вот вы и привязались друг к другу, и никакая это не любовь.

– Нет, любовь.

– Да уверяю тебя, что Толя никогда о тебе как о женщине и не думал.

– Ну и пусть, потом подумает.

Ольга Васильевна рассмеялась.

– Чему ты смеешься? Почему он не может думать обо мне как о женщине? Почему?

Антошка задавала вопросы с обидой в голосе.

– Потому что ты девчонка. Потому что он занят совсем другими мыслями. Потому что ему и в голову не может прийти, что ты собираешься за него замуж.

– А если в голову не приходит, чего ты испугалась? Почему ты не хочешь, чтобы он к нам приходил?

– Я думаю, если он будет бывать у нас реже, то и у тебя дурь скорее пройдет.

– Наоборот! Я сама начну за ним бегать. Я хочу его

видеть, можешь ты это понять?

Ольга Васильевна убирала посуду. И походка ее, и каждое движение были заторможены большой усталостью. Антошка вскочила и прижалась к ней.

– Мама, ты сама говорила, что он на меня как на женщину не смотрит. Говорила?

– Говорила.

– Пусть так и остается. Обещаю тебе, что сама ему на шею не повешусь и буду ждать, пока он сам скажет.

– Но я не хочу, чтобы ты его до этого довела.

– Не буду доводить. Буду холодна с ним, как заливной судак. Ты довольна?

В глазах Антошки двумя выпуклыми чечевичками блестели слезы. Ольга Васильевна утопила пальцы в ее густых волосах.

– Девочка моя, пойми ты, что я хочу тебе счастья. Даже если бы он полюбил тебя и развелся, ты не стала бы счастливой.

– Это еще почему?

– Ты думаешь – Кате с ним легко?

– Потому и трудно, что они чужие. А мне будет легко.

Ольга Васильевна отстранилась и ушла в комнату. Щелкнул замочек старенького портфеля, из которого извлекались школьные тетради. Антошка опустила голову на сложенные ладони и старалась плакать

так, чтобы не было слышно ни звука.

6

На семейном совете Игоря Сергеевича решили вызвать телеграммой о болезни Гены. На этой формулировке настоял Афанасий Афанасьевич. Таисия Петровна боялась, что такая телеграмма еще больше испугает мужа, чем сообщение об аресте. Но Афанасий Афанасьевич долго, обстоятельно доказывал, что слово «арест» по сути своего страшного смысла может отразиться на служебном положении Игоря. Пришлось согласиться.

Это привело к тому, что Игорь Сергеевич дважды приходил в ярость. В самолете и по дороге с аэродрома он терзал себя предположениями самого мрачного свойства. Гена даже в раннем детстве болел редко и легко. Поэтому Игорь Сергеевич телеграмме не поверил. Он решил, что сын попал под машину, и гадал: погиб или искалечен?

Когда он вбежал в квартиру и услышал, что Гена жив, здоров, но арестован, чувство облегчения вызвало приступ гнева за глупую телеграмму. Огромный, закрывавший плечами всю спинку широкого кресла, он сидел обессиленный от волнения, сдерживал дрожь

в пальцах и даже гневался без всякого вкуса. Таисия Петровна, ждавшая эту встречу со смертельным страхом, поминала добрыми словами Афанасия Афанасьевича за придуманный им телеграфный текст, сыгравший роль громоотвода. Похудевшая и поблекшая за эти дни, она сидела на полу у ног мужа, как олицетворение кротости и отчаяния.

Но прошло несколько минут, Игорь Сергеевич свыкся с мыслью, что Гена жив, и только теперь до него дошел смысл свалившегося на них несчастья. Его сын, его Генка в тюрьме! Он стал выпытывать у жены подробности, и по мере того как она рассказывала ему об обыске, об изъятых вещах, о тех обвинениях, которые выдвигал следователь, – нарастал и приближался девятый вал настоящего отцовского гнева.

Игорь Сергеевич встал, зашагал по комнате, привычно пригнув голову, чтобы не качнуть люстру, и замороженное лицо его окостенело. Он рывком открыл дверку трехстворчатого шкафа и стал сдергивать с плечиков висевшие платья, халаты, кофточки. В его железных пальцах они расползались, как будто были шиты из кисеи. Вместе с оскорбительными словами он швырял жене ключья ее нарядов.

Таисия Петровна повалилась ничком на ковер и зажала руками уши, чтобы не слышать треска раздираемой ткани.

Игорь Сергеевич наколол палец о брошку, украшавшую какую-то блузку, плюнул со злости, натянул фуражку и вышел из квартиры. Он поехал в прокуратуру, не застал на месте следователя, узнал, что разрешение на свидание с сыном он сегодня не получит, и отправился к Воронцовым. Это были единственные люди в городе, с которыми можно было посоветоваться.

Ксения Петровна встретила его с траурным выражением лица, полезла по своей дурацкой привычке целоваться и спросила, где Тася.

– Черт бы побрал и Тасю и тебя вместе с ней, – сказал Игорь Сергеевич, проходя в комнату.

Афанасий Афанасьевич укоризненно покачал головой, но предостерегающим жестом попросил жену не отвечать грубостью на грубость.

– Я понимаю твое состояние, Игорь, – сказал он задушевно лекторским голосом, – естественное состояние отца и гражданина, оглушенного столь несправедливым ударом судьбы. Но прошу тебя учесть, что мы разделяем твои чувства и твою боль и готовы со своей стороны ради нашего Геннадия...

Махнув рукой в его сторону, Игорь Сергеевич перебил:

– Тася сказала, что ты нашел адвоката. Кто он? Толковый?

– На сей счет можешь быть вполне спокойным. Это

мой друг, однокашник, опытнейший и милейший человек, горячо заинтересовавшийся делом Геннадия и считающий делом своей чести...

– Честь честью, но ты лучше скажи ему, что денег я не пожалею. Когда его можно видеть?

– Он знает, что ты сегодня должен приехать, и ждет звонка. Киса, – обратился Афанасий Афанасьевич к обиженно молчавшей жене, – позвони, пожалуйста, Роберту, пусть заедет.

Ксения Петровна вышла из комнаты. Игорь Сергеевич посмотрел на Афанасия Афанасьевича тоскливыми глазами.

– Ну как это вы тут допустили? Ты, умный человек, специалист-воспитатель, неужто не видел, что делают с Генкой? Я ведь просил тебя. Ты знаешь, что нет у меня возможности следить за сыном. Тася, что с нее возьмешь? А вы с Ксенией Петровной, неужели не знали, что к нему всякие подонки ходят, что деньги у него шальные, что с тряпками возится? Неужели слепые вы?

– Но кто мог подумать! – изумился Афанасий Афанасьевич, приподняв пухлые плечи. – Кто мог подумать, что из-за таких пустяков раздуют уголовное дело. Ну помог он кому-то приобрести заграничный плащ или рубаху. До тех пор, пока наша легкая промышленность не выйдет на уровень мировых стан-

дартов...

– Что ты мне про стандарты вещаешь? Ты лучше скажи, вот это на тебе не из Генкиных?

Игорь Сергеевич ухватил как клещами ворот тонкой шерстяной рубашки.

– Ты что, обезумел? Пусти, порвешь.

Но Игорь Сергеевич продолжал вглядываться в рубашку, пока не почувствовал острые коготки Ксении Петровны, вцепившейся в его руку.

– Ты его задушишь! Психопат! – кричала она, отталкивая Игоря Сергеевича. – Как тебе самолеты доверяют, ненормальному!

Увидев перепуганные лица супругов, Игорь Сергеевич усмехнулся.

– С вами и впрямь психом станешь. – Он вспомнил, что со вчерашнего дня ничего не ел, и добавил: – Это я с голода, дай чего-нибудь поесть.

Пока Ксения Петровна накрывала на стол, он успокоился и стал деловито обсуждать предстоящий разговор с адвокатом. Когда Ксения Петровна, между прочим, сказала, что Гена находится в том самом изоляторе, где служит Анатолий, Игорь Сергеевич обрадовался. С Катиным мужем он встречался лишь несколько раз на семейных праздниках, совпадавших с его пребыванием в городе, не столько разговаривал с ним, сколько чокался, но полагал, что этого доста-

точно для душевного контакта и взаимных услуг.

– Почему же мне Тася сразу не сказала? Я бы прямо к нему поехал и в два счета получил бы свидание.

– На него не рассчитывай, – сухо предупредила Ксения Петровна. – Он если что и сделает, то только во вред.

– А что случилось? Они что... разошлись с Катей?

– Скорей бы, – сказала Ксения Петровна.

– Да расскажите вы толком, – рассердился Игорь Сергеевич, – чем он вам не угодил?

– Он оказался дурным человеком, – уточнил Афанасий Афанасьевич, – очень дурным.

– Тюремщик! – напомнила Ксения Петровна.

– Погоди, Киса, не в этом дело. В нашей стране все профессии почетны и достойны всякого уважения. Суть в другом. У него было трудное детство. Он дурно воспитан. Тебе известно, что он в свое время докатился до уголовщины. Все это наложило свой отпечаток. Мы, родители, виноваты, что допустили этот брак, и теперь пожинаем плоды собственного легкомыслия. Больше всех, конечно, страдает наша девочка. Ее тонкая, легко ранимая натура столкнулась с грубой, примитивной, – в этом катастрофичность создавшегося положения. Страдаем и мы от присутствия этого чуждого нам, нечуткого, я бы сказал, жестокого человека, поведение которого с особой неприглядно-

стью выявилось на отношении к несчастью, постигшему Геннадия.

– Вот скотина! – возмутился Игорь Сергеевич.

– Хуже, Игорь, хуже! – подхватила Ксения Петровна, терявшая самообладание при одном упоминании имени Анатолия. – Он бандит. Я его боюсь. Он может всех нас посадить в одну камеру, лишь бы ему завладеть нашей квартирой.

– Ты преувеличиваешь, Киса, – заметил Афанасий Афанасьевич.

Игорь Сергеевич с недоверием оглядывал супругов.

– Ничего не понимаю. Причем тут квартира? Как он может вас посадить?

Ответить ему не успели. Пришел адвокат, и все перебрались в столовую. Игорь Сергеевич пожал ему руку с тем непритворным уважением, какое испытывают родственники тяжелобольного, встречая известного врача. От этого коротенького человека зависела судьба Гены. В чем секрет адвокатского могущества, Игорь Сергеевич не знал, но верил, что только от ловкости, усердия и красноречия вот таких чистеньких юристов с белыми ручками и умными глазами зависит решение суда. Ему не терпелось услышать от адвоката какие-то успокоительные слова, но Роберт Михайлович словно и забыл, зачем пришел. Он разгля-

дывал керамику, выставленную на полке, иронически толковал об ее качестве, попутно рассказал смешной анекдот. Афанасий Афанасьевич что-то шепнул ему на ухо. Он поставил на место керамическую бабу, подсел поближе к Игорю Сергеевичу, одобрительно окинул взглядом массивную фигуру летчика и сказал:

– Это хорошо, что вы приехали. Ваша помощь мне очень понадобится.

– Я готов. Все что угодно! – отрапортовал Игорь Сергеевич.

– Вас, конечно, интересуют, так сказать, перспективы дела. Ну, что я вам могу сказать... Время, когда я смогу познакомиться со всем материалом следствия, еще не пришло. Но, исходя из того, что мне известно от вашей жены и других заинтересованных лиц, могу сделать некоторые, весьма приблизительные выводы. Дело нехорошее, я бы даже сказал – некрасивое, хотя красивых дел в уголовном производстве как будто и не бывает. Но не так страшен черт. Наша с вами забота об одном: чтобы ваш сын выглядел в глазах правосудия честным, порядочным мальчиком, случайно втянутым в грязную историю. Он должен соответственно держаться. Все, что касается спекуляции, – не его ума дело. Он ничего в этом не понимает, мало что знает и горько во всем раскаивается. Чем тверже он будет говорить «не знаю», тем, в данном

случае, лучше.

– Как это верно! – восхитилась Ксения Петровна. Афанасий Афанасьевич согласно наклонил голову. Роберт Михайлович строгим взглядом призвал хозяйку дома к молчанию.

– Ваш сын – случайная пешка в руках опытных спекулянтов. Он не ведал, что творил. Для него это была игра, пусть недозволенная, но игра. Никакой корысти у него не было, а если и была, то – ничтожная, мальчишеская. Он – жертва неблагоприятных обстоятельств. Не судить его нужно, а жалеть. Даже предварительное заключение – слишком жестокое наказание для этого юноши.

Роберт Михайлович как бы набрасывал тезисы своей защитительной речи. Игорь Сергеевич слушал его, поглупев от радости. И Генкина вина, и легкомыслие жены, и собственная тревога – будто потеряли вес.

Заметив просветление на лице своего клиента, Роберт Михайлович озабоченно нахмурился.

– Так выглядит это дело с позиций защиты. Обвинительное заключение будет звучать несколько в другом ключе. Правонарушитель с многолетним стажем. Фарцовщик, неоднократно задерживался милицией, давал письменные обещания. Связался с профессиональными спекулянтами. Пользуясь безнадзорностью со стороны беспечных родителей, превра-

тил свою квартиру в базу для спекулятивных операций контрабандным товаром. Оперировал крупными суммами. Прикидывается несмышленищем, хотя отлично разбирался во всех тонкостях противозаконной торговли. Эти и многие другие факты подтверждают, что перед нами вполне сформировавшийся и нераскаявшийся преступник, для которого один путь к исправлению – трудовая колония

Игорь Сергеевич со страхом смотрел на невозможного Роберта Михайловича. Все, что пять минут назад казалось ему таким мелким и безобидным, вдруг обернулось тяжелой виной, от которой никуда не уйти. И это превращение на его глазах, с легкостью фокусника, проделал сидевший рядом маленький человек.

– Где же правда? – хрипло спросил Игорь Сергеевич.

Роберт Михайлович рассмеялся и дружески похлопал невесомой рукой по плечу летчика.

– Правда впереди. Ее еще нужно приручить и обласкать. Простите, у вас ордена есть?

– Хватает.

– Очень хорошо. На суд я попрошу вас прийти в полном параде, со всеми знаками различия и отличия. Это козырь немаловажный. Вы расскажете суду о вашей боевой биографии, о трудной и ответственной

работе в условиях далекого Севера, о специфических условиях, помешавших вам своевременно пресечь вредные знакомства вашего сына. Нужно будет отметить и болезненное состояние вашей жены.

– Какие у нее болезни? – удивился Игорь Сергеевич.

– У женщины всегда можно найти заболевание, ограничивающее ее возможности следить за великовозрастным сыном. Справки от врача от вас не потребуют, а соответствующее впечатление это произведет. Но это одна сторона дела. Есть и другая. Крайне важно будет развеять у судей предубеждение, будто ваш сын – избалованный барчук из хорошо обеспеченной семьи, не знавший никаких ограничений в своих желаниях.

– Так оно и было, – проронил Игорь Сергеевич.

– Это будет утверждать прокурор, а мы с вами докажем другое. Что он всегда был честным, прямым, не уклонялся от домашних обязанностей. Что вы строго ограничивали его денежные ресурсы, может быть даже излишне строго, чем и толкнули его на первую сделку.

– Да я понятия не имею, сколько ему жена отваливала.

– Об этом вы промолчите.

– Ты лучше слушай, – посоветовала Ксения Петров-

на.

– Если вы хотите облегчить участь сына, – продолжал Роберт Михайлович, – примите часть вины на свои широкие плечи. Важно внушить судьям, что сын ваш был до этого случая и будет после него достойным своего заслуженного отца. Вот главный подтекст вашего выступления в суде.

Роберт Михайлович откинулся на спинку стула. Воронцовы взирали на него с демонстративным восхищением. Игорь Сергеевич мрачно уставился в пестрый ковер.

– А от суда его никак освободить нельзя? – спросил он.

– Исключено. А вытащить до суда – можно попытаться. Я постараюсь кое-что предпринять по своим каналам, а вы... Если у вас найдутся достаточно влиятельные друзья, то их вмешательство может сыграть положительную роль.

Роберт Михайлович откланялся. Осторожно удерживая его руку, Игорь Сергеевич, запинаясь, проговорил:

– В смысле расходов, так мы, я...

Роберт Михайлович понимающе улыбнулся.

– Об этом мы еще условимся. А пока держите меня в курсе событий по телефону.

Анатолий не сразу привык к новому месту службы. Каждое утро, сворачивая с оживленной улицы, он покидал мир высокого неба и открытых дорог, мир людей и машин, передвигавшихся по своей воле, и, входя под глубокую арку, словно вступал на затерявшийся в океане большого города островок отверженных. Лязг массивных замков, запиравшихся за спиной, стальные прутья решеток, узкие лестницы с пролетами, затянутыми провололочной сеткой, безмолвные коридоры, где никогда не слышалось смеха, угрюмые лица заключенных – все это угнетало, вызывало мрачные мысли и особенно часто одну: «Зачем ты сюда пришел?»

Ему не нужно было доказывать необходимость этих стен и решеток, ограждавших честных людей от уголовников. За тысячелетия цивилизации человечество ничего лучшего придумать не могло. Сколько пройдет еще времени, пока тюрьма станут ненужными, тоже лучше не задумываться. Главное – найти свое место, почувствовать себя делающим полезное дело.

Об этом они говорили с Ольгой Васильевной и Антошкой, когда решение еще не было принято окончательно. Он только узнал кое-что об условиях предсто-

щей работы и пришел поделиться сомнениями.

Антошка, конечно, пришла в восторг.

– Иди, Толик, – благословила она. – Это же здорово! Ты на них будешь влиять, и они будут перековываться.

Ольга Васильевна интересовалась подробностями, которых он и сам не знал, и видно было, что она не одобряет его намерения. На прямой вопрос она ответила уклончиво:

– Видишь ли, Толя, работу воспитателя я считаю самой нужной и благородной, где бы она ни проводилась. Но когда эта работа носит формальный характер, она у меня симпатий не вызывает.

– Почему вы думаете, что она будет формальной?

– Мне так кажется. Есть должность, ее и заполняют, а о сути не беспокоятся... Сколько времени находятся там эти подростки?

– Пока идет следствие, потом суд, кассация – в среднем месяца два-три.

– А потом одни уходят и приходят другие?

– Другие.

– Вот видишь! Как же можно при такой текучести вести воспитательную работу? Если бы я согласилась за три месяца перевоспитать трудный класс, ты по праву назвал бы меня халтурщицей. А у тебя не класс.

– Вы думаете, там воспитание ни к чему?

– Не знаю, Толя, мне трудно судить издали. Ну как ты сам представляешь себе эту работу? Ну поговоришь с каждым отдельно, соберешь...

– Нет, собирать нельзя. Подследственные и осужденные общаться не должны.

– Час от часу не легче. Как же с ними работать?

– Не знаю, – признался Анатолий. – Мне только ясно, что им нужно помочь. Вы представляете себе, что значит просидеть в камере даже месяц подростку, привыкшему к движению, к смене впечатлений.

– Подумаешь, – сказала Антошка. – Пусть знают, как хулиганить, как людей грабить. Пусть сами помучаются.

– Я с тобой согласен, Антоша. За то горе, которое они причиняют людям, они должны сами испытать и страх, и лишения, и душевную боль. Закоренелых преступников я ненавижу. А тех, кому убить человека ничего не стоит, я бы сам расстреливал. Выродков нужно уничтожать. В этом я убежден.

– И я тоже, – присоединилась Антошка.

– Но речь не о таких. Среди тех, кто попадает в изолятор, выродков немного. Больше преступников случайных, по пьянке, по глупости. Есть действительно несчастные, заблудившиеся. Их еще можно образумить, спасти. Можем мы от такой возможности отказаться?

– Ты ее не слушай, – вмешалась Ольга Васильевна. – Стараться исправить человека обязательно нужно, даже на очень плохого нельзя махнуть рукой.

– Я хочу, чтобы она поняла, – сказал Анатолий, снова обращаясь к Антошке, – если мы будем думать только о наказании, только о том, чтобы они «помучились», мы этим себе же навредим.

– Мне ты этим не навредишь, а им впредь неповадно будет.

– Можешь ты заглянуть на несколько лет вперед?

– Постараюсь.

– Прежде всего, да будет тебе известно, что тюрьмой или колонией уголовника не запугаешь. А вот озлобиться, заматереть в изоляции они могут. Теперь представь себе, что отсидел подросток свой срок, промучился и возненавидел все на свете. Выпускать-то его все равно нужно. Вышел. Кем? Еще более опытным и более опасным. Хотела бы ты с ним встретиться в темном переулке?

– Ну тебя!

– А с кем-нибудь он все равно встретится. И еще больше горя принесет людям. Получится то, что я говорил, – сами себе навредили, подготовили врага еще более лютого. Значит, когда мы заботимся о перевоспитании заключенных, нами движет не слюнявая жалость к «несчастненьким», а забота о честных людях,

об интересах общества.

– А тебе не страшно, Толик? – спросила Антошка, тронув его за рукав.

– То есть почему мне должно быть страшно?

– Но они ведь такие... Их много, как набросятся...

– Это они в темных переулках храбрые, а там как бараны.

– Ну, с баранами ты справишься.

Все рассмеялись. Анатолий погрозил Антошке кулаком.

– Не знаю, Толя, что тебе посоветовать, – сказала Ольга Васильевна, – да и поздно. Ты ведь решил?

– Почти. Но вы не одобряете?

– Не то чтобы не одобряю... Мои мысли заняты другим. Ты знаешь, как я верила в разные эксперименты, когда их затевал Шурик...

Как всегда, когда у нее вырывалось имя покойного мужа, она на мгновенье запнулась.

– Нужно что-то другое, радикальное. Как я могу одобрить воспитательную работу в изоляторе, когда считаю, что их вообще не должно быть, этих изоляторов?

– Ольга Васильевна? – изумился Анатолий. – Вы всегда отличались трезвостью мысли. Неужели вы это всерьез? Что ж их – закрыть?

– Ты меня не понял. Я вовсе не думаю, что места за-

ключения можно закрыть сегодня или завтра. Но нужно направить все силы на то, чтобы они сами закрылись, за ненадобностью.

– А-а! – протянул Анатолий, стараясь не выдать насмешки разочарования. Такой маниловщины он не ожидал от своей учительницы.

– Ты не думай, что я к старости совсем поглупела и тешу себя фантазиями. Есть реальная почва для коренных преобразований. Тут нас целая группа – и учителя, и мои мальчишки и девчонки, из тех, что учатся в институтах, – мы разрабатываем одну идею.

Ольге Васильевне показалось, что Анатолию стало скучно, и она оборвала себя.

Его действительно не очень интересовало сообщение об очередной идее, но то, что Ольга Васильевна по-прежнему увлекается проектами «коренных изменений», растрогало. Он улыбнулся и спросил:

– Опять силами общественности?

Ольга Васильевна нахмурилась, чуть приподняв правую бровь, как бывало на уроках, когда ее прерывали плоской остротой.

– Мне бы не хотелось думать, что ты считаешь себя выше тех хороших людей, которые представляют общественность. Помолчи, – добавила она, заметив, что Анатолий вспыхнул и собирается оправдываться. – Я знаю, над чем ты смеешься... Да, некоторые иллюзии

рассеялись. Что из того?

– Да разве я над ними смеюсь? Я сам обязан таким людям. Я только считаю, что не следует преувеличивать их возможности.

– И в этом ты неправ. Возможности их безграничны. Нужно только создать такие условия, чтобы эти возможности развернулись в полной мере.

– Не представляю себе.

– А ты представь другое. Если бы мы боролись с детскими инфекционными болезнями силами одной общественности? Если бы все держалось на доброй воле врачей, случайно проживающих в тех же домах, где болеют дети. Добились бы мы успехов в борьбе с корью, скарлатиной, дифтеритом?

– Так я об этом же и говорю.

– Нет, мы говорим о разном. Вся медицинская помощь включена в единую систему. Она всеобъемлюща. Под ее контролем человек находится еще до рождения. Ее эффективность обеспечена всей мощью государства. От профилактических прививок до специальных клиник. Институты, лаборатории, целая промышленность... Самое замечательное, что ни один ребенок не остается забытым, без медицинского надзора. И каждый врач – не случайный благодетель, а звено системы. У него не только обязанности, но и права, и помощь других специалистов, и техника...

Вот такая же система должна быть создана для охраны морального здоровья.

Ольга Васильевна требовательно смотрела на Анатолия, как будто ждала и заранее отвергала все возражения. А он только из уважения к ней не выдал своего недоумения и ответил неопределенно:

– Соблазнительно, конечно.

Ольга Васильевна улыбнулась.

– Такое лицо у тебя бывало в школе, когда ты не понимал, что я объясняю, но делал вид, что крайне заинтересован. К тому, что я говорю, трудно привыкнуть. Ты не думай, что это я сама все придумала, – люди помогли. Ты слушай. Когда ребенок заболевает скарлатиной, никто не вздумает удивляться или протестовать против вмешательства медиков. Госпитализация, карантин, дезинфекция – все делается быстро и решительно. Не нужно уговаривать родителей, обращаться в суд, создавать комиссии. А как обстоит дело, когда ребенок заболевает моральной скарлатиной? Когда он растет, учится или работает, или бездельничает в обстановке, растлевающей его душу? Когда мы видим симптомы стойкой безнравственности, цинизма, жестокости? Что мы делаем и что можем делать?

– Немного, – согласился Анатолий.

– А почему? Почему?! Почему мы в таких случаях

тоном в речах, в статьях, во всяких бумагах, а время идет, морально больной подросток становится хроником, катится по наклонной, пока не докатится до твоего изолятора. А мы все пишем, говорим, призываем, стыдим, уговариваем.

Анатолию передалась взволнованность Ольги Васильевны, искренняя боль ее «почему».

– Мне кажется, – неуверенно заметил он, – что все дело в сложности вопроса. Моральное заболевание не поддается такому точному диагнозу, как обычная микробная инфекция. И совсем уж плохо разработан метод лечения.

– Об этом и речь! Значит, нужно разработать и точную диагностику и методику. Или это, по-твоему, не в силах человеческих?

– Почему же... Когда-нибудь...

– Не когда-нибудь, а сейчас! Пора! Сами они не развоятся, если не будут на это брошены настоящие ученые, если сама проблема не будет решаться в государственном масштабе. Ведь до революции примерно так же обстояло дело и с медициной. Лечение больных было их частным делом. Рожали где попало – и в поле, и в цехах. Об охране материнства и младенчества никто и не думал. Государство вмешивалось только в тех случаях, когда вспыхивала эпидемия, когда угроза подступала не только к хижинам, но

и к дворцам.

По тому, как быстро Ольга Васильевна отвечала на любой вопрос, как уверенно, не сбиваясь, излагала свои мысли, Анатолий догадался, что все это говорено ею уже не раз, и продумывалось, и обсуждалось. Его заинтересовал конечный вывод.

– Что же вы предлагаете?

– Сделать второй шаг. Первый был сделан сразу же после революции и стал одним из ее важнейших достижений: была создана система общенародного здравоохранения. Сейчас мы стали много богаче, цели ставим перед собой все более высокие, – пришла пора создать такую же государственную систему охраны морального здоровья детей и подростков.

– Но как это будет выглядеть на практике?

– С моей стороны было бы глупо и самонадеянно рисовать законченную картину такой системы. Это дело ученых и государственных деятелей. Мы пока набрасываем черновую схему... Мы хотим только доказать необходимость охраны морального здоровья, а какие формы она примет – это, в конце концов, вопрос технический.

– Но приблизительно, – не отставал Анатолий.

– Отдельные разрозненные звенья этой системы уже существуют. Ну хотя бы тот самый изолятор, в котором ты собираешься работать. Чтобы было понят-

ней, я опять вернусь к сравнению. Даже в те времена, когда не было всенародного здравоохранения, государство все же создавало холерные и прочие бараки. Нужно было изолировать больных, опасных для общества. Существовало одно, последнее звено несуществующей системы. Ясна моя мысль?

– Значит, я иду работать в холерный барак?

– Вроде того. Нынешние тюремные изоляторы и колонии для осужденных – те же бараки, которые государство вынуждено содержать, чтобы оградить общество от преступников. Теперь смотри, что получается. После того как была создана система здравоохранения, были ликвидированы корни холеры и чумы, и отпала необходимость в бараках. То же произойдет, когда начнет действовать охрана морального здоровья. Будут вырваны корни нравственной чумы, и отпадет надобность в изоляторах, в колониях. Преступность исчезнет. Ты останешься безработным.

Антошка захлопала в ладоши.

– Мы начали разговор о роли общественности, а ушли вона куда, – сказал Анатолий.

– Потому что одно с другим связано. В системе охраны морального здоровья все эти замечательные люди обретут настоящую силу. Чтобы оказать квалифицированную медицинскую помощь, нужно иметь специальное образование. Моральную же поддерж-

ку может оказать каждый душевный человек. А их у нас не счесть. Как только они почувствуют, что за ними авторитет и сила четко работающего государственного аппарата, они горы свернут. В этом, если хочешь знать, будет главное отличие системы охраны морального здоровья от привычного здравоохранения: немногочисленный штат специалистов-педагогов, социологов, юристов будет опираться на коммунистическую мораль и активность всего народа.

Анатолий любовался просветленным лицом своей учительницы. Он верил ей, как привык верить всю жизнь.

– А пока, – сказал он шутливо, – вы мне разрешите работать в обреченном звене вашей системы?

– Ну разумеется! Я уверена, что зря ты зарплату получать не будешь. Если убедишься, что работа пустая, – уйдешь.

8

Он не ушел. Хотя все оказалось труднее, чем он предполагал. Ксения Петровна встретила весть о его новой службе с открытым злорадством. Именно такое и должно было случиться с человеком, пошедшим ей наперекор. Лучшего доказательства его глубокого па-

дения ей и не требовалось. Катя плакала. Афанасий Афанасьевич тяжело вздохнул.

С каждым днем возвращаться домой становилось все труднее. Иногда он себя обманывал, придумывал срочную работу, чтобы оттянуть уход со службы. Потом медленно шагал по улицам вечернего города, освобождаясь от ощущения изоляции, как будто пропитавшей воздух, которым он дышал весь день. Он всматривался в лица прохожих, прислушивался к их раскованным голосам и постепенно обретал желанное равновесие с окружающей его обыденной жизнью.

Но чем ближе он подходил к своему дому, тем сильнее давало себя знать предчувствие другой изоляции, той, что ждала его за дверями уютной квартиры. Там не было решеток, там каждый приходил и уходил, когда хотел, там жила женщина – его жена, и там же он чувствовал себя более одиноким, чем на улице.

Сначала Анатолий пытался заинтересовать Катю судьбами ребят, попавших под суд, но она даже не притворилась заинтересованной. Со слезами на глазах она умоляла его оставить изолятор и найти работу «поприличней». Он жил, как пассажир на транзитной станции в ожидании поезда, который должен прийти и увезти его из этих постылых комнат.

На службе было не легче. Каждое утро его поджидала стопка рапортов о безобразном поведении за-

ключенных. Они злобно нападали друг на друга, чинили мелкие пакости администрации. Наказания помогали мало.

Воспитатели подолгу беседовали с каждым подростком, старались добраться до глубин дремлющей совести, найти тот заветный «ключик», о котором столько говорят и пишут. Иногда удавалось перетянуть на свою сторону одного-двух из более развитых и разумных. Но союзниками они стать не успевали – кончался их срок пребывания в изоляторе, приходили новые, и все нужно было начинать сначала.

Беда была в том, что они никому не доверяли – ни охране, ни воспитателям. Их привезли сюда насильно. Их держали под замком. Они делали не то, что хотели, а то, что им приказывали: ложились спать и вставали, ели, гуляли, входили, выходили – все по команде. Разве могли они относиться к этим людям с погонами иначе, чем к врагам? Еще на свободе дружки, побывавшие в изоляторе, подготовили их к непримиримой вражде с администрацией, к глухому сопротивлению, к хитрости и лицемерию.

– Запри ты в одну комнату взрослых, порядочных людей с разными характерами и привычками, да так, чтобы они не были заняты никаким делом, чтобы оставались всегда на виду друг друга, на расстоянии протянутой руки, – разве среди них не начнутся склоки

и раздоры? Чего же ожидать от этих морально изуродованных, не привыкших к дисциплине подростков?

Так говорил Анатолию начальник политчасти изолятора Георгий Иванович Савелов в первый день их знакомства. Перевод на новую службу Анатолий еще не оформил, все еще колебался, и Георгий Иванович, может быть сам того не подозревая, нашел самый правильный путь к его сердцу. Говорил он искренне, не скрывая горькой правды, и завлекал трудностью нерешенных задач. На вид суховатый, замкнутый, под стать учреждению, в котором служил, Савелов обнаружил в разговоре неожиданную встревоженность мысли.

– Мне чиновники не нужны, – говорил он, глядя прямо в глаза Анатолию. – Если собираешься отбывать здесь службу от сих до сих, уходи туда, откуда пришел. А если характеристика на тебя писана без обмана, если можешь думать сверх того, что положено, очень прошу – оставайся. Появилась у нас одна задумка...

Идея зрела медленно. Она привлекала новизной и пугала смелостью. Очень нужна была воспитателям изолятора помощь специалистов – педагогов, психологов. Уж они-то могли бы подсказать, научно подтвердить или отвергнуть их замысел. Но не было специалистов, которых интересовали бы ребята, сидев-

шие в изоляторе. Всякие есть, а вот таких не найти.

Анатолий снова пошел к Ольге Васильевне. Последний раз он был здесь в один из очень тяжелых дней, потом неделю не приходил – допоздна ломали голову, разрабатывали схему эксперимента, – и теперь Антошка встретила его укоризненным взглядом. Близилась сессия, она сидела забаррикадированная учебниками.

– Я уже думала, что твои уголовники загнали тебя в больницу, – пробормотала она.

– Что ты! Чувствую себя отлично.

По его голосу Ольга Васильевна догадалась, что он пришел в хорошем настроении.

– Садись, чай готов.

Ему не терпелось высказаться.

– Мы накануне великих реформ!

– Внимание! Внимание! – провозгласила Антошка.

– Открываем камеры.

– Как это? – как будто даже испугалась Ольга Васильевна.

– Очень просто. Выводим наших гавриков на работу, на учебу. Целый день будут заняты делом.

– Постой, постой. А как же ограничения, инструкции?

– Приспосабливаем к эксперименту. По существу оставляем в неприкосновенности одно ограничение:

подельщиков, то есть тех, кто проходит по одному делу, друг от дружки изолируем. Они размещаются на разных этажах, и контакт исключен. С учетом этого создаем коллективы.

– Ты извини, Толя, это все громко звучит, но...

– Нет, это не только звуки. Все, правда, еще в проекте, но на днях приступаем. Вводим трудовое соревнование.

– Будут мастерские?

– Чего нет, того нет. Приспособили несколько камер. Работа детская – клеить коробочки, но заказ получили реальный – для культтоваров.

– Кто с кем будет соревноваться?

– Камера с камерой, этаж с этажом. Поощрения придумали. Кто выйдет победителем по всем статьям (а в условиях не только работа, но и учеба, и поведение, и чистота в камерах), кто лучшие, те получат право на подвижные игры, – пинг-понг приобрели. Вы представляете, что для них значит игра? Разрядка, выход в жизнь.

– Это разумно, – согласилась Ольга Васильевна, – но мне кажется, что с учебой вы что-то не додумали. Ну чему их можно научить за два-три месяца?

– А мы и не рассчитываем, что они преуспеют в науках. Даже по условиям соревнования будут учитываться не отметки за успеваемость, а усердие, приле-

жание. Важно, что они еще несколько часов в день будут заняты чем-то дельным. Во-вторых, они почувствуют себя связанными с учебниками, с пером и бумагой, со школой, которая их ждет. Это психологически очень важно.

Чем горячее он защищал задуманный эксперимент, тем больше росла заинтересованность Ольги Васильевны. Сначала она задавала вопросы, словно экзаменуя его, потом прониклась его мыслями, как умела проникаться только она.

– Это большое дело! Очень большое, Толя. Ты прав, даже в ваших условиях можно применить опыт Макаренко. Можно создать коллектив, пусть временный, текучий, но все-таки коллектив. Они ведь не все сразу сменяются?

– Конечно, нет. Часть уходит, часть остается.

– Значит, можно наладить преемственность опыта. Создайте актив.

– Много воли давать рискованно.

– Под присмотром, разумеется. Но пусть они проникнутся доверием к воспитателям и чувством ответственности перед своими же товарищами, – ответственности не за поддержку плохого, как в круговой поруке уголовников, а за доброе.

Анатолий видел сейчас то, что не могла видеть Ольга Васильевна: враждебные лица воров, хулига-

нов, насильников. Как еще встретят они предложение работать, учиться? Как используют они предоставленную им свободу передвижения?

– Есть у нас одно опасение... А правильно ли мы делаем, что облегчаем режим? Ведь в тяжести заключения, в запертой камере – тоже свой воспитательный смысл. Иной посидит в этих условиях – и на всю жизнь закается нарушать закон. А если пропадет страх перед изоляцией, если жизнь станет полегче, не ударим ли мы другим концом по себе?

– На эту тему мы уже с тобой как-то толковали. Однозначного ответа тут быть не может. Ты же сам говоришь – на одних действует так, на других – этак. Нужно исходить из главного – что выгоднее обществу, при каком режиме оно получит больше исправившихся, при старом или при новом? Пока можно только гадать, точный ответ даст статистика. Обязательно проследите за отдаленными результатами.

– Постараемся.

– А с моей, учительской, точки зрения больше будет хорошего. Ведь есть у вас уверенность, что большинству пойдет на пользу?

– Надеемся.

– А если они хоть чуточку станут лучше, пока сидят у вас, легче их будет довоспитать в колонии. Тем больше шансов, что они вернутся не врагами обще-

ства, а его раскаявшимися сынами.

– Какая у меня умная мама, – подала голос Антошка, глазами уставившаяся в книгу, а ушами следившая за разговором.

– И всякие сомнения ты отбрось, Толя. Если даже у кого-то новые порядки отобьют страх перед заключением, это не опорочит ваш эксперимент. Наконец, вы не собираетесь создавать у себя санаторные условия?

– Нет, конечно. Режим останется режимом, и камеры будут запираяться в положенное время, и дисциплина не ослабнет.

– Все будет хорошо. Я уверена. Давай налью горячего...

9

В старом, еще царских времен, здании изолятора никакого помещения для воспитателей предусмотрено не было. Архитектору и не снилось, что когда-нибудь в штате тюремной администрации может появиться столь странная и неуместная должность. Поэтому воспитательскую устроили из двух камер – снесли разделявшую их толстую стенку, убрали тяжелые двери с «глазками». Получился просторный де-

ловой кабинет, если и отличавшийся чем от служебных помещений других учреждений, то лишь поднятыми под потолок зарешеченными окнами.

Когда Анатолий впервые вызвал к себе заключенных из разных камер, они пришли настороженные, полные неприязни и подозрения, ожидающие подвоха и готовые к отпору. Они сидели как перед следователем, косо поглядывая на соседей, пуще всего опасаясь неосторожным словом нарушить неписанный закон уголовной солидарности. Но в их глазах было видно и другое: заинтересованность непривычным собранием и удовольствие, которое доставляло пребывание вне камеры, в обычной «вольной» обстановке воспитательской комнаты.

Каждого из них Анатолий хорошо знал, о каждом много думал, прежде чем вызвать на эту беседу. Но если бы кто-нибудь спросил, почему он выбрал этих, а не других, ответить было бы нелегко.

– Я хочу с вами посоветоваться, – начал он деловым тоном, ничем не выдавая своего волнения, – как сделать, чтобы то время, которое вы проведете в изоляторе, пошло вам не во вред, а на пользу?

Вопрос не произвел никакого впечатления. Эти воишки и хулиганы не умели пользоваться такими отвлеченными понятиями, как «польза» или «вред». Они быстро соображали, что сулит им именно в эту

минуту поживу или угрозу наказания, но охватить цепь событий, заглянуть в будущее и сделать общий вывод им было не по силам. Анатолий не раз убеждался, что нравственная глухота и социальная опасность преступника чаще всего сочетается с неумением и нежеланием думать. Большинство из них были недоучками, от которых школы старались избавиться, и никаких навыков обобщенного мышления у них не было. Хорошие правильные слова застревали где-то в их ушных раковинах и не задевали мозговых извилин.

Чтобы быть понятым, нужно было разговаривать с ними на привычном для них уровне.

– Каждый из вас хочет поскорее выйти на волю. Правильно я говорю?

Ребята промолчали, но кто-то согласился.

– Правильно.

– Отсюда вас отправят в колонию. Наш закон не только карает таких, как вы, но и заботится о них. Каждый из вас может освободиться, отбыв всего одну треть положенного срока. Хороший закон, по-вашему, или плохой?

Заключенные приняли беседу, как игру в вопросы и ответы. Откликнулись дружно:

– Хороший.

– Значит, у каждого из вас есть возможность выйти досрочно. Но для этого нужно заслужить доверие,

нужно доказать, что вы раскаялись и не возьметесь за прежнее. Это вам известно. А как вы думаете, если вы отсюда придете в колонию с плохой характеристикой, со взысканиями, – легче вам будет завоевать доверие или труднее?

Опять наступило молчание. Длинных фраз они боялись. Среди многих слов мог прятаться скрытый, опасный для них смысл.

Анатолий переводил взгляд с одного на другого. Но каждый смотрел в сторону или под ноги.

– Носаков! Подойди сюда.

Второй раз попавший в изолятор по обвинению в воровстве, Носаков испуганно вскочил и подошел к столу.

– Фомина помнишь?

– Юрку?

– С тобой в одной камере сидел, по третьей судимости.

– Ага...

– И я помню, – отозвался кто-то из сидевших сзади.

– Почерк его разберешь? – спросил Анатолий, протягивая Носакову исписанный тетрадный листок.

Носаков пригляделся, пожевал губами, пробуя первую строку, и сказал:

– Разберу.

– Тогда читай. Громко читай, чтобы все слышали.

– «Здравствуйте, Анатолий Степанович, – читал Носаков. – К вам с большим и горячим приветом ваш бывший воспитанник Юра Фомин. На зону я поднялся совсем недавно и, как видите, уже решил написать. Я очень вам благодарен за то, что вы направили меня в хорошую зону, да и вообще за все хорошее, что вы для меня сделали. Только здесь за двадцать дней я понял, насколько вы были правы во всем. Ведь и я тоже относился к вашим словам без нужного внимания. И поверьте, я в корне переменяю понятие о жизни и свободе. Я понял, что нельзя жить одним днем, а надо строить план и на следующий день и на дальнейшую жизнь. Здесь можно выйти досрочно, если нет взысканий, а если они есть, то пока не снимут, на свободу не собирайся. Снимать их очень трудно. Тысячу раз лучше приехать сюда, в колонию, с благодарностью, чем с постановлением. Все это я понял, да жалко, что поздно. С уважением к вам Юра».

Носаков прочел последнее слово, повертел письмо в руках и попросил:

– Можно я его в камеру возьму, пусть другие почитают.

– И нам дайте.

– Ладно, об этом потом. Верите вы тому, что пишет Фомин?

– Верим.

– Теперь вспомните, что я вам говорил, каждому отдельно. Разве не то же самое, что пишет Фомин? То же или другое?

Дождавшись ответа, Анатолий задал главный вопрос:

– Почему же вы Фомину верите, а мне не верите? Долго молчали.

– Почему не верим, – пробормотал Носаков, – верим.

– На словах верите, а на деле... Если бы верили, что я хочу вам добра, разве вы вели бы себя так, как ведете сейчас?

Анатолий поднял стопку рапортов о нарушениях дисциплины и потряс над головой.

– Вот опять нужно писать постановления, сажать в штрафной изолятор, засорять ваши личные дела. Приятно это мне?.. Жарин! Подойди.

Длинный, нескладный Жарин, самый молодой из заключенных, впервые попавший в изолятор за участие в ограблении, подошел к столу.

– Покажи ребятам руку. Не ту, правую. Покажи, не стесняйся. Раскрой пальцы, не жмись.

На среднем пальце Жарина синела свежая татуировка: перстень с черепом вместо камня.

– Что ж ты прячешь палец? Подержи, пусть все полюбуются. Теперь всю жизнь придется его показы-

вать. И взрослым станешь, никуда от него не денешься. Как кому протянешь руку, так и представляться не нужно, каждый и сам поймет: Жарин из уголовников. И жене будет ясно, и детишкам твоим.

Мысль, что у него могут быть жена и дети, показалась Жарину такой нелепой, что он прыснул, вежливо отвернувшись.

– Когда тебя привели сюда, говорили тебе, что татуировка – это серьезное нарушение дисциплины? Говорили или не говорили?

– Говорили.

– А для чего тебя предупреждали об этом? Чтобы ты потом не краснел всю жизнь за эти отметки на коже, не проклинал себя за глупость. А ты мне не поверил. А поверил какому-то дураку, который предложил тебе наколоть такую красоту.

Анатолий отвернулся от Жарина и обратился ко всем:

– Что мне остается делать, если человек моим словам не верит, сам себе причиняет зло и другим показывает дурной пример?.. Я вас спрашиваю... Может быть, мне похвалить Жарина, благодарность ему вынести? – Все засмеялись. – Приходится заставлять вас подчиняться дисциплине другими средствами, наказывать приходится... Какого наказания заслуживает Жарин? Решайте сами.

Этого они не ждали, подумали, что Анатолий шутит. Кто-то усмехнулся, подтолкнул локтем соседа.

– Как это – сами?

– Когда я разбираюсь, могу ошибиться. Вам виднее, кто прав, кто виноват. Вот и решайте.

Предложение было слишком лестным, чтобы за ним не скрывалось подвоха, но разглядеть его ребята не могли.

– Носаков! Как ты считаешь, нужно наказывать Жарина или пусть дальше себя разрисовывает? Пальцев-то еще много осталось.

– Не знаю, – после долгого раздумья сказал Носаков.

– Может, кто знает? Все отвели глаза.

– Никто. Ну что ж, я полагал, что с вами можно разговаривать как с разумными людьми, хотел многое доверить вам, но вижу – зря надеялся.

Заклученные решили, что интересная беседа кончилась и их опять отправят по камерам. А уходить не хотелось. Заговорили все сразу.

– Анатолий Степанович... Мы Жарина сами накажем. Вы нам скажите, что хотели.

– Наказывать в изоляторе может только администрация. Если наказывать вздумает кто-нибудь из вас, это будет не нарушение дисциплины, а преступление. Я обращался к вам за советом, чтобы вы определили

меру наказания. И только! Понятно?

– Ясно. А что нам еще хотели сказать?

– Руководство изолятора хотело бы, чтобы вы не сидели весь день в камерах, а работали и учились.

В шумном всплеске радости ничего неожиданного не было. Анатолий себя не обманывал. Он знал, что ребят взбудоражило не желание трудиться, а возможность хоть на время покинуть надоевшую камеру и нарушить томительное однообразие тюремного дня. Каждый из них уже прикидывал про себя, какую выгоду сможет он извлечь из этой затеи.

– Но прежде, чем допустить вас к работе, нам нужна уверенность, что не станете вести себя еще хуже.

– Не будем!

– Погодите. Если даже в камере вас не удержать от пакостей, то как нам уследить за каждым, когда вы будете за рабочими столами, за учебниками?

– Да не будем мы!

– Даже если я вам поверю, то какая у меня гарантия, что другие, кого здесь нет или кто придет завтра, не воспользуются нашим доверием себе же во вред?

Вопрос был слишком сложным. Все замолчали.

– Изменить распорядок дня можно только при одном условии: если все вы будете отвечать за каждого, а каждый – за всех.

Никто ничего не понял. Но заинтересовались.

– Как это?

– Очень просто. Все будете делать сами. Выработаем условия трудового соревнования. Каждую неделю представители первого этажа будут проверять, как выполняет обязательства второй этаж, и наоборот. У мастера возьмете сведения, кто как работал, учитель даст отметки по учебе. Вместе с воспитателем обойдете камеры, проверите чистоту, сохранность имущества. Тот этаж, который выйдет на первое место, получит право играть в настольный теннис, смотреть телевизор.

Восхищенное «ого!» вырвалось сразу у всех.

– Это не все. Каждого новенького вот на таком собрании актива вы вместе со мной будете знакомить с нашими порядками. Таким образом, даже когда вы уйдете отсюда, останутся ребята, которые будут следовать вашему примеру. Это станет обязательным правилом для всех. Понятно?

– Вроде понятно...

Они все еще не верили, что за неожиданным и соблазнительным предложением не кроется какой-нибудь злой умысел администрации.

– И это не все, – продолжал Анатолий. – Не забывайте, что каждый случай нарушения дисциплины потянет назад весь этаж, то есть причинит зло каждому из вас. Поэтому вы сами будете называть нарушите-

лей, сами будете обсуждать их проступки и предлагать меру наказания. А дело воспитателя – согласиться с вами или нет. Согласны?

На этот раз уже никто не откликнулся. Обменялись шепотком, и вид у них стал такой, словно раскусили наконец начальство, заставили проговориться. Анатолий коснулся самого запретного. До сих пор они были убеждены, что враг у них один – администрация. Поэтому нужно держаться сплоченно, покрывать друг друга и карать предателей. И вдруг им предлагают выдавать своих, осуждать, наказывать, быть заодно с этой самой администрацией... Нет, такое не пройдет. Но и отказываться от пинг-понга, от телевизора, от возможности выйти из камеры и пообщаться с друзьями – тоже не хотелось.

Каждый стал соображать, как бы хоть на короткий срок попользоваться обещанными благами и ничего не дать взамен – надуть хитроумную администрацию по всем правилам уголовного мира. Все эти соображения отражались на их лицах, но Анатолий делал вид, что все идет наилучшим образом.

– Если мы такой порядок наладим, каждый из вас поедет не со взысканиями, а с благодарностями, и в колонии его встретят хорошо, и на свободе он будет раньше времени. Это уж наверняка.

– Точно! – выскочил вдруг Жора Лобаков, лишь

вчера осужденный за злостное хулиганство. Он уже успел побывать в штрафном изоляторе, боялся плохой характеристики и держался активней всех.

Поддержки остальных Анатолий ждать не стал. Хватит для первого разговора. Пусть обменяются мнениями, пошевелят мозгами.

– На этом сегодня кончим. Отправляйтесь по камерам, подумайте. Теперь все зависит от вас. Если тот, кто делал наколку Жарину, объявится, завтра соберемся снова, обсудим его поступок и двинемся дальше.

Разошлись молча. Анатолий остался один. Этот неравный поединок измотал его. Снова охватили его сомнения в успехе начатого эксперимента.

Рано утром дежурный привел к нему Жору Лобакова.

– Что скажешь?

– Анатолий Степанович, – заговорил Жора вполголоса, косясь на дверь, не входит ли кто, – вы сказали, что можно будет работать и благодарность получить, если нарушителя выдадим, того, кто наколку делал Жарину.

– Плохо ты меня понял, Лобаков. А что ты хотел сказать?

– Я знаю, кто наколку делал.

– Ну и отлично. Сегодня после обеда соберемся, ты и выступи, скажи.

– Что вы, Анатолий Степанович! Да разве я там скажу.

– Только там. Мне шептуны не нужны. Выйдешь и скажешь.

– А мне знаете что за это будет? Ребята в зону передадут, а там...

– Боишься? Хочешь втихую благодарность заработать. Не получится так. Иди.

Медленно тянулся этот день. Никакой уверенности в том, что заключенные назовут имя нарушителя, не было. Значит, собрание придется откладывать. После того как он поставил условие, отступить было нельзя. Перед обедом пришел Косов, карманный воришка, тихий и неприметный, лишь два дня назад доставленный в изолятор. Он опустил голову и, глядя на носки тяжелых ботинок, сказал:

– Это я Жорке наколол.

Все было понятно. Сами ребята заставили его прийти и сознаться. Может быть, пригрозили. Анатолий ничем своих чувств не выдал, сказал спокойно, как о самом обычном:

– Ну что ж, выйдешь сегодня на собрании и расскажешь.

– Анатолий Степанович, – занял Косов, – не нужно

на собрании, вы так накажите.

– А почему не хочешь всем ребятам сказать?

– Так стыдно же.

– А передо мной не стыдно... Ничего не могу поделаться, раз со всеми договорились разобрать этот случай, придется тебе выступить.

– Анатолий Степанович...

– Не проси. Ничего сделать не могу. Ребята будут решать.

Косов постоял и вышел.

Это была первая, маленькая победа.

Снова собрались. Но входили без робости, свободно рассаживались. Постороннему человеку могло показаться, что это воспитанники ремесленного училища зашли на беседу в конторку мастера.

– Начнем, – сказал Анатолий. – Первый вопрос: кто занимался в камере татуировкой и обезобразил палец Жарину?

Прошла длинная минута. Поднял руку Косов.

– Подойди сюда. Стань лицом к ребятам. Вот так. Теперь говори.

Впервые в своей жизни Косов выступал на собрании и признавался в нехорошем поступке. Раньше он мог только хвастаться перед другими уголовниками, приписывать себе плохое. А теперь охрипшим, срывающимся голосом сказал:

– Я, это самое... Наколку сделал.

Значение этой короткой фразы поняли и Анатолий, и заключенные. Впервые открыто, громогласно, в присутствии представителя администрации уголовник признавался в том, что принято было скрывать от начальства. Его, Анатолия, признали человеком, достойным доверия.

– Какие будут вопросы к Косову?

– А чего спрашивать? Признался, и все.

– Может быть, кто-нибудь хочет оценить поступок Косова – сказать, хорошо ли он сделал или плохо.

– Чего уж хорошего, – сказал Носаков.

– Выйди и скажи, что тут плохого.

Носаков подошел к столу, стал спиной к собранию.

– Нет, ты повернись к ребятам, не мне говори, а им.

– Раз Косов признал, – Носаков повернулся, покраснел, никак не мог свыкнуться с ролью оратора, – значит, понимает – худое это дело – кожу портить на всю жизнь. Вот и у меня на спине целая картина, теперь на воле стыдно в баню ходить.

Все рассмеялись.

– Все? Садись. Кто еще хочет высказаться? Может быть, кто-нибудь считает, что от этих наколок есть какая польза?

Опять рассмеялись. Ободренный непринужденной обстановкой, выскочил Лобаков:

– Все эти наколки от дикарей, от тех, что без штанов ходят на разных островах. А нам они ни к чему. И мы должны осудить тех, кто этим занимается. Верно я говорю, Анатолий Степанович?

Очень хотелось Жоре Лобакову заслужить одобрение начальства.

– Ты не у меня, у ребят спрашивай.

– Так они согласные.

– Все согласны?

Общий шум можно было принять за одобрение.

– Хорошо. Какое наказание вынесем Косову и Жарину?

– Пусть в штрафном сидят, – опять выскочил Лобаков.

– Много! Наряда хватит. – Недовольные голоса зазвучали громче. – Сам посиди.

– Давайте так, ребята, – сказал Анатолий. – Учтем два обстоятельства. Первое, что никогда до сих пор мы таких обсуждений не проводили и ни Косов, ни Жарин не знали, что им придется отвечать перед вами. И второе, очень важное. Косов пришел сам, с повинной, честно признался. Это большое дело, когда человек по своей воле приходит и признается. Значит, он раскаивается. Поэтому я предлагаю обоим только предупредить и никаких взысканий им не записывать. Как вы думаете?

– Вот это законно! Согласны!

– Хочу еще напомнить. Были в камере Косова и другие заключенные, которые видели, как он разрисовывал Жарина. Видели, не остановили и здесь не выступили. Так вот, на будущее. Кто будет свидетелем нарушения дисциплины и не помешает этому, не доложит об этом громко и открыто, тех будем наказывать так же строго, как и непосредственных виновников. Примем это предложение?

Как ни старался Анатолий воспользоваться изменившимся настроением ребят и как бы между прочим провести самое важное требование, произошла осечка. Никто предложение не поддержал. Все молчали.

– Что же вы? То соглашались, а теперь на попятную... Или будем считать, что ни о чем не договорились?.. Я жду.

– А как это доложить?

– Очень просто. Видишь ты, к примеру, что какой-нибудь дурак собирается наколку делать или другую глупость, – останови. Не послушается, вызови дежурного. И дураку на пользу пойдет, и всей камере. Заведем такой порядок, нарушений не будет. В соревновании выдвинетесь вперед, больше играть будете, больше кинофильмов посмотрите. С хорошими характеристиками уедете. Неужели неясно?

– Ясно, – с затяжкой, но отчетливо прозвучало

несколько голосов.

– А раз ясно, давайте голосовать. Кто за это предложение?

Не сразу, оглядываясь на соседей, будто поднимая гири, потянули руки вверх.

Анатолий не верил, что все голосующие с ним согласились. Он угадывал их мысли: «Там будет видно. Посмотрим, кто кого надует». Но на большее он пока и не рассчитывал.

– Это запомните. Сами постановили, сами будете выполнять. И для всех остальных ваше решение будет обязательным... А теперь займемся условиями трудового соревнования.

10

Ольга Васильевна легко находила доходчивые и разумные слова, когда нужно было прийти на помощь какой-нибудь беспомощной мамаше, потерявшей контроль над сыном или дочерью. Но она чувствовала себя безъязыкой и глупой, когда речь шла о судьбе Антошки. Она не могла пожаловаться на дочь, ни в чем не могла ее упрекнуть. Антошка всегда была преданной, ласковой, готовой к любым лишениям и к любому труду ради своей матери. И училась она увле-

ченно, без понуканий. Между ней и матерью не было ни секретов, ни размолвок. Душевные тайны и ее собственные и приятельниц, которых было великое множество, она выкладывала маме как самой близкой и единственной подруге.

Но с некоторых пор Ольга Васильевна почувствовала, как материнская безраздельная власть ускользает из рук. Все оставалось по-прежнему – и нежность, и послушание, но той Антошки, которая была убеждена, что ее мать – самая умная и красивая женщина на свете, больше не было. Была другая. В словах и поведении этой другой просвечивала обидная снисходительность, как будто она знала много такого, чего ее старенькая мама просто не способна понять.

Многое действительно трудно было понять, но непонимание она не считала поводом для осуждения. То, что у нынешней молодежи иные эстетические вкусы, иная манера выражать свои чувства, иные, порой парадоксальные, взгляды, Ольга Васильевна воспринимала как естественное явление, неизменно повторяющееся при смене поколений. Разговоры о падении нравов, о легкомыслии молодых людей она не любила, называла ханжескими. Молодежь, по ее мнению, была ничем не хуже той, среди которой Ольга Васильевна росла в тридцатые годы. Приглядываясь к своим ученикам, покидавшим школьные парты, она не то-

ропилась осуждать удивлявших ее юнцов.

В том, что Антошка полюбила Толю, Ольга Васильевна винила себя. Она должна была предвидеть такую возможность. Вот как плохо получается, когда перестаешь быть женщиной и остаешься только учительницей. Перестаешь догадываться о самых обычных житейских коллизиях. Педагогические соображения подсказывали ей, что для формирования Антошкиного характера ей полезно иметь такого старшего брата, серьезного, умного и чистого, как Толя. И ни разу не задумалась она над тем, как обернется эта многолетняя дружба двух самых близких ей людей.

Памятное объяснение с дочерью никак не сказалось на их отношениях. Они словно бы договорились не считать его серьезным и заслуживающим продолжения. Но забыть тот разговор Ольга Васильевна не могла. Болезненная тревога за здоровье Антошки, мучившая ее в молодые годы, тревога чаще всего беспричинная, которую она от всех стыдливо скрывала, вернулась с новой силой.

Ольга Васильевна неприязненно относилась к женщинам, чья материнская любовь затмевала разум. В их безрассудном стремлении оградить свое дитя от всех ветров жизни она узнавала знакомые ей чувства и еще больше злилась на себя. Она старалась высвободиться от этой слепой любви – пересиливая себя,

отправляла маленькую Антошку в летние лагеря, приучала ее к самостоятельности, запрещала себе «куриные» нежности. Но тревога оставалась. Когда Антошка выросла здоровой, физически крепкой девушкой, Ольга Васильевна стала бояться всего, что окружает ее дочь за пределами квартиры: машин, под которые можно попасть, реки, в которой можно утонуть, злых людей, которые могут обидеть. И как ни ругала себя за мнительность, ничего не могла поделать с собой, не могла избавиться в поздние вечера от гнетущего страха, пока в дверном замке не начинал копошиться Антошкин ключик.

В последнее время, увлеченная новыми идеями, занятая встречами и беседами с многими людьми, она как будто убедила себя, что с Антошкой ничего плохого не случится, как не случается с миллионами других девушек. Как вдруг это несчастное увлечение Толей. А что, если это глубокая, иссушающая любовь? Ольга Васильевна присматривалась к дочери, к ее осунувшемуся лицу, к ее глазам, в которых ей чудилось затаенное страдание, и, как в Антошкином младенчестве, она болела ее болью.

Что делать, как помочь дочери, она не знала. Была единственная надежда, что это не серьезно и пройдет, как проходит у других девчонок. Поэтому Ольга Васильевна стала особенно радушно встречать Ан-

тошкиных друзей, иногда провожавших ее домой.

Студенты разных курсов легко с ней знакомились, становились друзьями, потом поклонниками, потом опять друзьями. Было несколько увлечений длиной в неделю, когда мысли были заняты одним, и домой провожал один, и на телефоне минут по сорок висел все тот же. Но такое постоянство оказывалось очень утомительным. Единственный предъявлял слишком много прав. Антошке нравилось, чтобы с ней ходили гурьбой и при этом интеллектуально сшибались, пронзая друг друга шпагами острот. Отвергнутые воздыхатели некоторое время дулись, даже не здоровались, но потом входили в норму.

Самым стойким, прошедшим все испытания и лишь закалившим свою влюбленность, был Илья Гуцин, второкурсник с философского. Этот здоровенный дедина как-то на спор в университетской библиотеке поднял ладонью вытянутой руки восемь томов Большой энциклопедии. Ребята подкладывали том за томом, и он чуть было не сдался на седьмом. Но когда следующий, восьмой, положила Антошка, Илья уставился вспухшими глазами в свою руку и заставил ее окаменеть. После этого подвига, который сам Гуцин объяснял тем, что овладел системой йогов, Антошка прониклась к нему нежностью, а другие отказались от соперничества.

Илья сумел проникнуть к ним домой, очаровал Ольгу Васильевну своей робостью и сам заразился ее идеями. Антошка была уверена, что он подлизывается к ее матеря из хитрости, высмеивала его, переводила из ранга единственного в сонм друзей, но он не дулся, терпел и оставался при ней.

Ольга Васильевна очень наивно старалась защищать интересы Ильи. Она надеялась, что этот серьезный юноша сумеет отвлечь ее дочь от несчастной любви к Анатолию. Но Антошка разгадывала ее уловки и, может быть еще поэтому, уверила себя, что никого, кроме Толи, она никогда не любила и не полюбит.

Как-то после затянувшегося визита, когда Антошка чуть ли не вытолкала Илью из квартиры, Ольга Васильевна сказала:

- Славный парень.
- Очень, – согласилась Антошка.
- Он тебя любит.
- Не исключено.
- А тебе он нравится?

Смысл вопроса был ясен: «Не он ли вытеснит Толю?» Но Антошка вовсе не желала догадываться о таком смысле вопроса. Мог быть и другой: «Нравится ли он тебе, как многие другие, или больше?» На это можно было ответить, не кривя душой.

- Весьма.

Антошка перебирала учебники, глаз ее не было видно, и Ольга Васильевна так и не поняла – есть ли за этим «весьма» сильное чувство.

Возможно, что Антошка была права, и вначале Илья действительно притворялся внимательным слушателем. Но вскоре он стал не только чутким собеседником, но и самым ревностным помощником Ольги Васильевны. Этот рослый парень с плечами грузчика обладал редкой способностью с полуслова понимать чужие мысли, какими бы сложными и неожиданными они для него ни были. Он до удивления быстро разобрался в замысле Ольги Васильевны и, пожалуй, первым сформулировал задачу. Именно его имела в виду Ольга Васильевна, когда говорила потом Анатолию, что не сама придумала проект перестройки нынешних форм борьбы с преступностью.

– Я вас понял, – сказал решительно Илья после одного длинного разговора. – Все очень просто! Нужно создать систему Охраны Морального Здоровья – ОМЗ. – Илья улыбнулся, помолчал, будто вслушиваясь в только что родившееся словечко. – Неплохо звучит, Ольга Васильевна? Министерство ОМЗ. Городской отдел ОМЗ. НИИ ОМЗ. Факультет ОМЗ. Ей-богу, здорово!

Ольга Васильевна долго смеялась.

– Вы шутник, Илья. Какое там министерство! Хотя

бы по одному человечку на район, но вооруженному правами.

– И все загубите, – мрачно предрек Илья. – Вы меня извините, но я должен упрекнуть вас в непоследовательности. Это очень распространенная болезнь, – люди говорят, говорят, не замечая, как сами уклоняются от обязательных логических выводов. О чем идет речь? О всеобщем охвате трудных детей социальным контролем. О том, чтобы каждому, без единого исключения, помочь стать лучше, чем он есть. Так ведь?

– В идеале.

– А нам и нужен идеал. Как во всем. Другое дело, что до этого идеала нужно топтать через рвы и буераки, но стремиться нужно к идеалу. Иначе и браться не стоит. Ведь то, что вы мне рассказали, – вопиющее дело! Переделать психологию искалеченного подростка, вернуть его к нарушенным моральным нормам – ведь это тончайшая, ювелирная работа на душе человеческой. И кому отдана эта работа? Милиции! Бред! Почему не пожарникам? Или у милиции своей работы меньше? Стыдно! Стыдно за педагогику, за психологию, за все науки стыдно!

Илья вышагивал по скрипучему паркету, через каждые пять шагов натыкался на стенку и поворачивал назад. Его наголо остриженная лобастая голова была устремлена вперед, как будто он шел навстречу буре.

Опытным учительским глазом Ольга Васильевна видела мальчишеское желание покрасоваться мужской решительностью и смелостью мысли, но это не мешало ей радоваться его поддержке. Она как бы и впрямь ощутила твердый локоть сильного, надежного мужчины. Вероятно, в этот вечер и она сама перешла грань, которая отделяет зреющую мечту от практической работы по ее осуществлению.

Потом Илья стал приводить увлеченных им юных философов, психологов, социологов. Часами гремели речи, серьезное перебивалось шутейным. Рядом с Омзом придумывались другие названия. Так был создан ИНКОМЗ – инициативный комитет Омза, почетным председателем которого под лимонадный тост была избрана Ольга Васильевна.

11

– Сегодня принимаем новенького. Сами узнаете у него, за что попал сюда, познакомите с нашими правилами и требованиями. Напоминаю, что это очень серьезное дело. Нужно, чтобы он с первого шага понял, как следует вести себя в изоляторе.

Обычное дело. Пришла группа заключенных подростков, разобрала скамейки и стулья, уселись

с независимым видом, перебрасываются шутками, улыбаются воспитателю. Никого это не удивляет, ни их, ни Анатолия. Прошел уже не один месяц с тех пор, как началась эта игра в самодеятельность, странная игра с ворами и грабителями.

Из тех, кто был на первом собрании, в изоляторе не осталось никого. Только по письмам из колоний можно было судить об их отношении к проводимому эксперименту. Письма были хорошие, полные доверия и выстраданных мыслей.

Для администрации наглядней всего были цифры. Серьезные нарушения режима стали редкостью. Даже самый тупой, озлобленный рецидивист, попав под перекрестный огонь своих же дружков-уголовников, чувствовал себя одиноким и бессильным. Он терялся, не зная, где кончается игра и начинается суровая действительность. Жесткие правила игры диктовали обязательные нормы поведения. Одно дело – учинить пакость надзирателю, и совсем другое – противопоставить себя всем заключенным.

Завоевать первое место не легко. Комиссия по проверке придирается ко всему – ищет следы пыли в камере, поднимает шум из-за брошенной спички, берет на учет каждую оторванную пуговицу на куртке, каждую кружку, не дочищенную до блеска. А уж всякое нарушение дисциплины – для другого этажа сущая на-

ходка, общий балл резко снижался, и надежда на получение заветного вымпела со всеми сопутствующими благами пропадала на целую неделю.

Мало кто из ребят серьезно относился к главной, воспитательной цели соревнования. Не привыкшие заглядывать вперед, жившие от одной еды до другой, от одного острого ощущения до следующего, они и здесь не задумывались над тем, куда ведут и чего хотят от них воспитатели. Они только убедились, что так лучше, веселее, вольготнее. Ради этого стоит поступиться некоторыми желаниями и привычками. А если администрации тоже нравится такой порядок, пусть тешится, не жалко.

– Введите, – приказал Анатолий дежурному.

В воспитательскую вошел Гена. Наголо остриженный, он сразу превратился в лопоухого мальчишку. Тонкие штаны мышинного цвета, неуклюжие ботинки так же отделили его от привычного мира, как и лязг стальных дверей.

Анатолий не взглянул в его сторону, делал вид, что занят бумагами. Гена увидел ребят, одетых так же, как он, увидел за столом Катиного мужа и не знал, на кого смотреть.

– А кто «здравствуйте» скажет? – поинтересовался кто-то из заключенных. – Ты что, на скотный двор пришел?

– Ну, здравствуйте, – промямлил Гена.

– Без «ну»! Ты что, нам одолжение делаешь? – зло одернул его другой. – Стой как следует, не вихляйся.

Гена подтянулся. Он не понимал, что происходит и что от него хотят.

– Геннадий Рыжов, – назвал его Анатолий, как будто вычитал имя и фамилию из арестантского дела. – Ребята, с которыми тебе придется какое-то время побыть в изоляторе, хотят с тобой познакомиться. Они хотят знать, что ты за человек, ведь жить вам придется вместе. Расскажи им, за что тебя арестовали, какое ты совершил преступление.

Анатолий поднял на Гену спокойный, сдерживающий взгляд незнакомого человека.

– Давай шевелись! Рассказывай! – торопили Гену заключенные. – По какой статье сел?

– Сто пятьдесят четвертая, часть вторая.

Ребята хорошо разбирались в уголовном кодексе, но статья, трактующая спекуляцию, была им незнакома. Это задело их самолюбие.

– Давай, давай! Не тяни резину! Говори, как дошел.

– Я не виноват, – сказал Гена, вспомнив шуточные допросы, которые иногда для тренировки устраивал Олег.

Это заявление было встречено злобным смехом. Ни один из сидевших здесь подростков не верил, что

в изолятор можно попасть по ошибке. Бывали случаи, когда отсюда выходили на свободу, после условного приговора, но чтобы подследственный оказался ни в чем не повинным, такого им встречать не приходилось. По собственному опыту они знали, что несовершеннолетних арестовывают, только с избытком собрав против них неопровержимые доказательства. То, что новичок так нахально врет, раззадорило всех.

– Бедненький! Прямо из детского сада, с горшка сняли. Не ври!

– Тише! – сказал Анатолий. – Видишь, Рыжов, ребята тебе не верят. Они знают, что без серьезных улик тебя бы сюда не направили. Никто не принуждает тебя признаваться в том, что ты хочешь скрыть, но полностью отрицать свою вину, утверждать, что ты попал сюда по недоразумению, – неумно. Ты расскажи то, что уже известно следователю.

Гена потупился. К следователю он уже привык, врал ему легко, не краснея. А здесь вдруг оробел.

– Рубашки скупал у иностранцев... Плащи еще...

– Ага! – поняли наконец ребята суть дела. – Фарцовщик! Шмуточник!

Посыпались вопросы.

– Сколько рубах наколол?

– Тридцать.

– Ого! Все себе?

– Себе и знакомым.

– А еще чего?

– Так... Всякое...

– Ты не крути. Один работал?

Гена замолчал.

– Ладно, – сказал Анатолий, – не хочет больше ни в чем признаваться – его дело. Расскажите ему о наших порядках. Кто хочет?

– Значит, так, – начал один из старожилов, Климов. – Мы здесь работаем и учимся. Соревнование у нас. И по дисциплине, и внешний вид. И чтобы в камере порядок. Главное – других не прижимать и не укрывать. На интерес не играть. Чтобы татуировки не было. Словами не кидаться. Все споры в камере – только через воспитателя.

Климова дополняли другие. Каждый старался оправдать свое положение активиста.

– Девиз у нас такой: не можешь – научим, не хочешь – заставим.

Анатолий догадывался, что Гена мало понял из лаконичных объяснений, но не вмешивался. Он верил, что и такой разговор принесет пользу.

– На этом сегодня кончим. Можете выйти. Останется Рыжов.

Все вышли.

– Подойди, Гена. Садись.

Расслышав в голосе Анатолия пробившуюся теплоту, Гена напрягся, чтобы не расплакаться.

– Давай сразу же договоримся вот о чем, – сказал Анатолий. – То, что мы с тобой некоторым образом родня, – забудь. Поблажек от меня не жди. Мне твою маму жалко, но жалеть ее раньше других должен был ты сам. Помочь я тебе могу. Так же как я стараюсь помогать и другим ребятам. Помощь эта будет заключаться не в том, чтобы облегчить тебе жизнь в изоляторе. Правила, которые у нас существуют, обязательны и для тебя. Чтобы ты понял некоторые вещи, о которых никогда не задумывался, между нами должно установиться полное доверие. Пока я не поверю тебе, а ты не станешь доверять мне, ничего хорошего у нас не получится.

Гена мял холеными, но уже успевшими потемнеть пальцами тощую ушанку и рассеянно смотрел на Катиного мужа. Ничего, кроме страха перед ним, он не испытывал. Он знал, что Анатолия в семье Воронцовых не любят, что жизнь у них с Катей не ладится, и думал, что именно поэтому никаких преимуществ ему знакомство в изоляторе не даст. Может быть, даже наоборот – на нем, на Гене, постарается Анатолий выместить свою неприязнь к Афанасию Афанасьевичу и Ксении Петровне.

– Ты меня не слушаешь? – спросил Анатолий.

– Почему не слушаю, слушаю.

– Твоя мать и все родственники уверены, что тебе причинили большое зло, посадив за решетку. А я думаю иначе.

– По-вашему, добро мне сделали? – Гена горько усмехнулся.

– Да. Когда человек бежит через дорогу, не видя, что надвигается трамвай, и этого человека больно хватают за шиворот, он тоже сердится, как сердиться ты. Зато потом разберется, поймет, что ему спасли жизнь, и будет благодарить. Вот и тебе следует разобраться. Та компания, с которой ты связался, и те дела, которые ты творил, вели тебя прямым путем к гибели. Вместо честного, работающего человека, который мог рассчитывать на интересную, счастливую жизнь, ты превращался в паразита и преступника. Сейчас тебя схватили за шиворот. Дернули со всей строгостью, причинили душевную боль и тебе, и матери. Но иначе нельзя было.

– А что я такого сделал?

Анатолий долго смотрел на него, удивляясь наглости, с какой этот мальчишка ведет себя даже в изоляторе.

– Пока ты не скажешь всей правды следователю или мне, на мое сочувствие можешь не рассчитывать.

Имей в виду – от меня, от руководства изолятора зависит очень многое. Поэтому я советую подумать и довериться мне полностью. Поверь, что я желаю тебе только хорошего. Но если ты не будешь честным, правдивым, ты встретишь только зло. Тебе это понятно?

Гена кивнул, как кивают, чтобы отвязаться.

– Еще запомни. В камере не веди себя вызывающе и не лезь в подхалимы. И там будь человеком. Ты пообразованней других, покажи пример дисциплины и мужества. Никому сам обиды не чини, а если тебя станут обижать, немедленно доложи дежурному. Так решили сами ребята. Ко мне вопросов нет?

Гена отрицательно мотнул головой.

– Иди. Тебя отведут в камеру.

12

Гена не знал, как трудно было Анатолию решить задачу: в какую камеру направить заключенного Рыжова? Никакая инструкция помочь ему не могла. Как все инструкции, она имела в виду отвлеченных людей и отвлеченные обстоятельства.

Анатолий усложнил задачу, придумав множество ограничений, подсказанных жизнью. Нужно было учи-

тывать все: и биографию, и характер, и наклонности, и степень нравственного падения, даже физическую силу заключенного. Например, неуравновешенных, истеричных подростков никак нельзя было посадить вместе – обязательно передерутся.

Не зря ведь тюремная камера издавна считалась скользким местом, через которое не всякий пройдет, не упав. Одних тюрьма запугивала на всю жизнь. У других снимала страх перед заключением. Третьим помогала обзавестись опасными приятелями и вредным опытом. Преступник, которого тюрьма не исправила, а закалила, становился еще хуже, чем был. Многое, очень многое зависело от той компании, в которую попадал подследственный.

Отправляя Гену в камеру, Анатолий выбрал, как ему казалось, самый подходящий вариант. Он не боялся, что воры Утин и Шрамов обучат фарцовщика своему ремеслу. Он был уверен, что вором Гена не станет. Липкая паутина знакомых спекулянтов и валютчиков могла затянуть его далеко. Но на обычное воровство он не пойдет, не тот характер. И его соседи по камере вряд ли захотят менять «специальность».

Но не это соображение было решающим. Надежда была на Павлуху Утина.

Хотя он выглядел озлобленным и затаившимся, Анатолию было с ним легче разговаривать, чем с

иным словоохотливым. Он умел слушать, не притворяясь послушным, не поддакивая. Он ничего не обещал, но если брался за дело, доводил его до конца. Утина ждала третья судимость. Среди бывалых колонистов он пользовался авторитетом ловкого вора и обладателя увесистых кулаков.

Попав в изолятор, Утин некоторое время приглядывался к новым порядкам и только когда убедился, что никакого коварного замысла со стороны начальства нет, стал поддерживать соревнование. На собраниях он отмалчивался, но в камере поддерживал порядок и одергивал строптивых. По этой причине Анатолий еще раньше посадил к нему и Вовку Серегина.

За Серегиним числилось несколько жестоких драк, когда он хватался за все, что попадалось под руку, и бил, не просто отбиваясь, а с заведомой целью – искалечить, изуродовать. Малолетство и хитрость этого воинствующего хулигана – умение вовремя заплакать и прикинуться раскаявшимся – помогали ему уходить от кары. У следователей не поднималась рука отправить его за решетку.

Теперь он ждал суда за удар ножом, надолго уложивший ни в чем не повинного человека на больничную койку. Как ни старался Анатолий проникнуть в его мысли, никаких признаков сожаления о сделанном или сочувствия пострадавшему он обнаружить

не мог. Вначале ему казалось, что безразличие к совершенному преступлению и к пребыванию в изоляторе у Серегина наигранное. Такая бравада нередко служила новичкам маской, за которой скрывались их подлинные переживания. Они рисовались перед другими заключенными, хотели казаться более зрелыми, опытными, бесстрашными, чем были на самом деле.

У Серегина беззаботная, дурашливая ухмылочка, постоянная бодрость духа, всегдашняя готовность врать – ничего не маскировали.

– Ты понимаешь всю гнусность того, что сделал? – допытывался Анатолий. – По твоей вине хороший человек, может быть, на всю жизнь останется инвалидом.

– Живой же, – уточнял Серегин.

– Сделать молодого человека беспомощным иногда хуже, чем убить его.

– Ну да, – тянул Серегин, – то другая статья.

При этом он подмигивал, шмыгал носом, показывая, что его не надуешь и под статью об убийстве не подведешь. До ареста он работал на фабрике и очень рассчитывал на снисхождение суда. Понял он сразу, как важно получить положительную характеристику в изоляторе, поэтому и прикинулся горячим активистом. Только исподтишка продолжал он запугивать тех, кто послабее, и поощрял любую склоку.

Из-за таких, как Серегин, Анатолий порой переставал верить в успех эксперимента. Трудовое соревнование помогало серегиным пережить и суд, и колонию. Точно так же – услужливо притворяясь исправившимся – будет вести себя Серегин и после приговора. И, отбыв треть срока, снова будет на свободе. И не изменится в лице, если встретит искалеченного им человека. И снова будет затевать драки, искать повода для удара ножом.

– Ты, Серегин, пойми, пока ты сам себя не осудишь, не поймешь, что ты жил, как волк, как зверь, опасный для окружающих, тебе снисхождения не будет. И я тебе хорошей характеристики не дам.

– Это почему? Этого в правилах нет. Я все пункты выполняю. Какие за мной нарушения?

Серегин смотрел зло, он знал свои права и готов был отстаивать их перед кем угодно. Но самое тяжкое было то, что он и вправду не понимал, чего хочет от него Анатолий. Он не мог постигнуть того душевного состояния, которого никогда не знал. Анатолий не находил слов и не верил, что есть такие слова, которые могли бы вывести Серегина из состояния моральной глухоты. Он словно чиркал спичкой о простую доску, зная, что огня не будет, потому что нет на доске того главного, от чего зарождается огонь.

Соединяя этих разных ребят в одной камере, Ана-

толий решал задачу, которая под стать была бы научно-исследовательскому институту. Во всеоружии своей науки должны были сотрудники такого института определять, что скрывается за внешней бравадой или унынием, замкнутостью или развязностью. Это им надлежало бы решать, как повлияет на психику того или другого подростка изоляция, соседи, ожидание суда. Им бы выводить закономерности, вырабатывать рекомендации. Но, видимо, много другой работы было у наук, изучающих душу человека, не доходили руки ученых до малопривлекательных, несогласных эпохе тем.

Когда Гена переступил порог камеры, на него уставились три пары глаз. Гроыхнул замок. Для Гены все заключенные еще были на одно лицо. Он не помнил, видел ли кого из соседей по камере в кабинете Анатолия или нет.

– Здравствуйте, – сказал он, вспомнив первую беду.

С верхней койки к его ногам свалилось полотенце. Гена нагнулся, поднял и подал светлоглазому пареньку.

– Отряхни, на полу лежало!

Гена встряхнул полотенце и снова протянул владельцу.

– Сложи как было, не тряпка!

По тому, как следили за его движениями ребята, по приказному тону Гена понял, что над ним потешаются как над новичком, не знающим порядка, но отступить было некуда. Он аккуратно сложил полотенце и положил на край койки. По-кошачьи ловко светлоглазый паренек соскочил на пол и оказался вплотную перед Генной.

– Почему в руки не подал, падло? – прошипел он, яростно оскалив зубы.

– Вовка! – вполголоса, но твердо окрикнул сидевший у тумбочки и что-то писавший парень. – Дай пройти человеку.

– А чего? – огрызался Вовка, уступая все же проход между койками. – В шестерки записался, а служить не хочет. Надо поучить.

Гена сделал два шага и остановился. Впереди стена, и где-то наверху окно с двумя зарешеченными рамами. Ни стульев, ни кресел.

– Садись, – указал на нижнюю койку тот же парень, отодвигая тетрадь, над которой трудился. – Тебя как звать?

– Рыжов, Гена.

– А меня Утин, Павел. А этот – Вовка Серегин. А тот, – кивнул он на лежавшего мальчишку лет пятнадцати, – Шрамов Ленка. За фарцовку сел?

Гена вспомнил, что уже видел Утина в кабинете

Анатолия.

– Да.

– Кто родители?

– Отец летчик, полярник. Мама – дома.

– Богато живешь. В школе учишься?

– В десятом.

– Грамотный. Красиво жил, – не то спросил, не то сам определил Утин. – Сидишь по первому разу?

– Да.

– За учебу платить нужно. Тебе через то полотенце перейти нужно было либо ботинки вытереть, а ты поднял, значит в шестерки пошел, в лакеи иначе. Слушаться должен. Мамаше напиши, чтобы передачи пожирнее посылала, я тебе списочек составлю. Делить буду я. Соображаешь?

Гена безмолвно согласился. Этот день казался ему растянутым, как неделя. Пока он находился в милиции, связь с городом, с семьей не разрывалась. Он верил, что мать и Афанасий Афанасьевич не позволят держать его под арестом. Они поднимут на ноги своих бесчисленных друзей, все ужаснутся, примут срочные меры и заставят милицию выпустить его на свободу. Когда прошел первый испуг, он даже возгордился тем, что его считают таким серьезным преступником. И обыск, и арест должны были придать ему еще больше веса в глазах знакомых. Он представлял се-

бе, как будет рассказывать (небрежно, словно о пустяках) о допросах у следователя, о своей стойкости, о том, как он ловко надувал милицию.

Но когда его посадили в темный ящик машины и привезли в изолятор, когда его повели, будто по конвейеру, к фотографу, к доктору, к парикмахеру, который, не спросив, «как стричь», просто проехался холодной машинкой во всех направлениях, когда выдали эту жуткую одежду, когда тяжелые ворота и глухие двери отрезали его от желанного городского шума, — испуг вернулся с новой силой. Теперь ему казалось, что Афанасий Афанасьевич и все мамины друзья от него отвернулись.

Из разговора с Анатолием он понял, что никакой помощи от этого чиновника ждать не приходится. Тоска и обреченность придавили все чувства. Ему хотелось побыть одному, поплакать, заснуть, не думать о том, что ждет его завтра. В камере стало еще страшнее, и он был благодарен Утину не только за то, что тот одернул этого психованного Вовку, но и за спокойный деловой разговор.

Леня Шрамов придвинулся к самому краю койки и спросил:

– А как это фарцовка? Тоже крадешь, или как?

Хотя в тоне мальчика было только любопытство, Гена обиженно взглянул на него сверху вниз.

– Ничего мы не крадем. Покупаем за наличные. У иностранцев барахла завались, а наших денег, чтобы выпить, – нет. Вот они и промышляют.

– А они тоже пьют? – удивился Шрамов.

– Посильнее наших. Другой, как границу переедет, в первом же шалмане всю валюту спустит, а потом и ходит, последнее с себя снимает.

– И много можно зашибить?

– Сколько хочешь. Только бы деньги были для первого закупа. А потом продашь, – было десять, стало двадцать, а то и тридцать. А если на сотню наскребешь, считай к вечеру – две сотни в кармане.

– Сила! – восхищенно выдохнул Вовка.

– А как ты с ними, с иностранцами, разговариваешь, – продолжал интересоваться техникой дела Шрамов, – на пальцах, или как?

– На пальцах глухонемые разговаривают, – снисходительно пояснил Гена. – Как с кем, с англичанином – по-английски, с немцем – по-немецки.

Гена чувствовал себя намного выше этих жалких воришек, шарящих по чужим карманам и квартирам. Он себе казался аристократом, случайно попавшим в дурную компанию, и не скрывал своего превосходства.

– К ним подход нужен, манеры джентльменские. И одеваться соответственно. Это тебе не наши... Куль-

тура!

– Сколько тебе светит? – поинтересовался Серегин.

– Как это «светит»?

– По твоей статье, сколько за фарцовку дадут?

– Не знаю.

– Как же ты на дело идешь и не знаешь, сколько могут дать? Года три припаяют?

– Нет, меня до суда не доведут. Я скоро выйду.

– Это почему так?

– Мама сказала, что мне лучшего адвоката взяли. За меня хлопотать будут. У моего бати знаешь сколько орденов? Вся грудь в ленточках. У него знакомые кругом. И дядька известный человек, по радио выступает. Они все сделают, а суда не допустят.

Ленька Шрамов смотрел на Гену с простодушной завистью. Серегин – с бессильной злостью.

– Гад твой батя, – сказал он, – и дядька твой гад.

– Сам ты гад, – обиделся Гена.

– Чего ты сказал?! – Серегин напружинил для броска ноги и руки. Глаза стали бешеными.

Павлуха Утин был не против, чтобы Вовка вмазал хвастливому пижону, но это грозило скандалом, разговором на активе, потерей очков. Он лениво одернул Вовку:

– Сиди.

– А чего он! – разряжал ярость в крике Серегин. – Раз у его бати деньги и знакомые, значит, ему все можно, а другим – сидеть?

– А ты ему верь больше, – сказал Утин. – Было бы дело в деньгах, его бы на воле оставили. Видали там таких пап... Как же ты сюда попал, – спросил Утин у Гены, – если папа у тебя шибко заслуженный?

– А ты как?

– Я папу сроду не видал, сам по себе рос. Был бы кто рядом, сказал бы: «Стой, дурак, куда лезешь?» – может, я пообразованней тебя стал... А у тебя есть за кого держаться.

Это замечание вора поставило Гену в тупик. Ему раньше и в голову не приходило, что он должен был за кого-то держаться, чтобы не попасть в тюрьму. Следовательно никак не мог убедить его, что он арестован по заслугам. А после слов Утина он впервые почувствовал себя преступником.

– Так уж вышло, – сказал он, – случайность...

– Ты следователю все сказал или темнишь? – спросил вдруг Утин, словно угадав его мысли.

Гене хотелось сказать что-нибудь приятное Утину, показать, что интересы у них общие и враг общий.

– Что он без меня знал, то и сказал, а чего не знает, хрен я ему скажу. Он меня и посадил, потому что выпытать не может. И так и сяк подходил – меня не ку-

пишь! Я их приемчики знаю: то уговаривает, то грозит, то на доверие бьет, другом прикидывается, думает – я маленький.

– А откуда ты про приемчики знаешь?

– Меня один кореш обучил, все заранее предсказал.

– Сидит кореш?

– Ну да! Он не сядет.

– Сядет! – уверенно предсказал Утин.

– Не сядет, – упорствовал Гена. – Он тебе не какой-нибудь ворюга, высокой культуры человек.

– Хватит травить! – вдруг рассердился Утин. – Культура! Ложись давай, с утра парашу будешь драить, покажешь свою манеру. А теперь на – снимай! – Утин вскинул ногу в ботинке на Генины колени.

– Что ты? – испугался Гена.

– Ну! – Утин нетерпеливо подрыгал ногой. – Снимай, джентльмен, не то...

Гена заглянул в злые, черные глаза Утина и трясущимися пальцами стал развязывать толстые, крепко затянутые шнурки.

Тощий, плотно утрамбованный тюфяк, легкое одеяльце с серой застиранной простынкой вместо пододеяльника, плоская жесткая подушка – все напоминало о страшной перемене в жизни, все грозило неудобством, лишениями, унижением. Болели бока,

ныла шея. Дрожь била плечи, колени, локти. Яркая лампочка, светившая из маленькой зарешеченной ниши над дверью, сверлила сомкнутые веки. Сна не было. Гена закусил конец простыни, пахнувшей дезинфекцией.

13

– Прошу вас обратить внимание на эту картотеку. – Антимеров указал на шкафчик, в каких обычно размещается библиотечный каталог. – Это, можно сказать, первооснова системы.

Все слова: и «первооснова» и «система» – Антимеров произносил без тени иронии, как будто действительно докладывал о признанном открытии. Анатолий сохранял серьезное лицо. От Ольги Васильевны он узнал про этого старика много любопытного и пришел еще потому, что чувствовал перед ним вину за резкий разговор при первой встрече.

Марат Иванович потерял на фронте двух сыновей и совсем было превратился в разбитого горем, ко всему безучастного человека. Но кто-то втянул его в работу с молодежью, он увлекся, перенес отцовскую нежность на чужих ребяташек и творит разные чудеса. «Ты присмотришь к нему, – советовала Ольга Васи-

льевна, – он и тебе может помочь».

– Выдвиньте любой ящик и достаньте карточку... Все равно, берите какая подвернется.

Это было похоже на манипуляции циркового фокусника, пригласившего ассистента из публики. Взяв из рук Анатолия вытащенную им карточку, Марат Иванович склонил над ней серебряную бородку, как бы прихвываясь к тексту.

– Почитаем. Булочкин, Аркаша. Год рождения... Видите буквы: МО – мать одиночка. НС – надзор слабый. Характер – В – ведомый. – Оторвавшись от карточки, он пояснил: – Всех мальчишек я делю на две группы: ведущих и ведомых. Первые – из тех, что командуют, организуют вокруг себя ведомых и делают с ними что хотят. Вторые более или менее охотно подчиняются ведущим, подпадают под их влияние. Это очень важно для составления прогнозов поведения. С ними я вас познакомлю позже. Видите в углу карточки шифр? По этому шифру мы найдем соответствующее досье.

Все так же серьезно Марат Иванович открыл резную дверку старого платяного шкафа, и Анатолий увидел десятки папок, тесно прижатых друг к другу. Марат Иванович быстро нашел нужную папку и пригласил Анатолия к столу.

– Многим карточкам сопутствуют вот такие дела. Из них мы можем узнать кой-какие подробности. Вот по-

следняя сводка из школы. Мне там активно помогает тамошний пост Омз, и все нужные сведения я получаю по телефону. За последние две недели Булочкин Аркадий получил только одну двойку. Если сравните с предыдущими сводками, то поймете, что наблюдается прогресс. Он был кандидатом во второгодники.

Руки Марата Ивановича заметно дрожали. Листки бумаги в его пальцах трепыхались, как живые. Может быть поэтому, Анатолий стал прислушиваться к его словам внимательней, чем собирался.

– Поведение не стабильное. Прочной нравственной основы еще нет. Заметьте эту строчку: «Связи те же». Посмотрим, что это за связи. – Антимеров откинул несколько листков назад. – Вот. Сережа Шуров. Это ведущий. Его карточку я вам потом покажу. Он на особом учете. Мальчишка из трудной семьи, с напористым, агрессивным характером. Его влияние на Булочкина и на других резко отрицательное. Я об этом сигнализировал давно. По моему настоянию их развели по разным классам. Влияние Шурова несколько ослабло, но сейчас опять крепнет. Значит, внимание к этому пункту нужно усилить.

– А что вы еще можете сделать?

– Многое. Связи мальчишек – особая забота. Очень часто именно из-за них возникают крупные неприятности. Дурные связи нужно решительно рвать. Од-

на семья по моей рекомендации вообще переехала в другой район и тем спасла своего сына... Кроме школьных сводок, здесь у меня отзывы матери, заведующего нашим клубом, ну и мои заметки.

Марата Ивановича прервал телефонный звонок. Одной рукой он взял трубку, а другой придвинул к себе стопку нарезанных листков. Пока шел разговор, он мелким четким почерком делал какие-то пометки.

– Спасибо, Юрий Федорович, сегодня проверю, – сказал он и положил трубку. – Это наш участковый звонил. Заметил, что в часы школьных занятий два моих подшефных болтались около тира. Просил проверить, знают ли родители.

Анатолий привык, что в окружении Ольги Васильевны то и дело возникали самодеятельные теории и проекты решения детской проблемы. Каждый пенсионер разрабатывал свою систему, смахивавшую на воспитательский вечный двигатель. Но деловитость этого старичка покоряла.

– Вам это может показаться мелочью, – сказал Марат Иванович, подозрительно взглянув на Анатолия из-под очков. – Ошибаетесь, именно с таких мелочей все начинается.

– Что вы, Марат Иванович! Я вовсе не преуменьшаю значения таких мелочей. Я только удивляюсь, как вы успеваете за всем следить.

– Люди помогают. С добрыми людьми чего не успеешь. Поскольку я – пост Омза, все ко мне сходится.

– Простите, какой вы сказали пост? Второй раз от вас слышу...

– Омз... Вам что, Ольга Васильевна не говорила? Насчет охраны морального здоровья.

– А-а! Ну как же! – Анатолий с трудом сдержал улыбку. – Я просто не слышал этого сокращения.

– А мы привыкли.

– И кто же вас определил на этот пост?

– Как кто? – снова удивился Марат Иванович. – Инкомз. Собственно, определился я сам, давно этим занимаюсь, прежде кустарным порядком, а сейчас вроде как на службе, работаю по плану, знаю что к чему.

– И еще есть посты, или вы один?

– По местожительству один пока. А по нашему микрорайону еще есть. В школе есть, на заводе, в общезжитии, еще где-то...

Анатолий подивился живучести призрачного Омза и напомнил:

– Вы мне насчет прогнозов поведения обещали.

– Все будет. Я еще о Булочкине не кончил. Вот такой ведомый, как этот, может кем угодно стать – и мазуриком, и дельным человеком. Куда поведут. А ведут его разные силы. В одну сторону тянут школа, пионеры, наш клуб. В другую – Сережка Шуров. Наших и

больше, и поумнее мы Сережки. А на деле выходит иногда, что Сережка сильнее. Почему?

Марат Иванович склонил голову набок, подождал ответа и, видимо довольный недоумением гостя, продолжил:

– Сережка доходчивее, понятней. Сережка не вообще говорит о светлом будущем, а предлагает конкретно: давай слямзим чего и поедем мороженого вдоволь, и в кино сходим на три сеанса сразу. Просто и понятно. А если колебнешься, опять же Сережка не будет стыдить жалкими словами, а двинет по затылку – оно куда убедительней. Вот так и получается. Поэтому для спасения Аркаши Булочкина пора бы ввести заслон Омза.

– А это что еще?

– Этого пока нет. Когда посты подадут сигнал тревоги, должен сработать заслон – должен вмешаться райотдел Омза.

– Послушайте, Марат Иванович, – напрямик спросил Анатолий, – вы действительно верите, что такой Омз возможен?

Марат Иванович даже обиделся.

– Странно. Я с детства веры не признаю. Либо знаю, либо не знаю, либо убежден, либо нет. Омз необходим. Среди прочих органов государства, которые нужны народу, осталась прореха. Ее нужно заде-

лать. Больше как Омзом нечем. Вез него как без рук. Опоры нет. Все равно как если бы не было пожарной помощи. Случись чего, бегай сам, поливай из чашки. А тут детишки горят, в уголовники уходят, а позвонить некуда.

– Но жило же человечество тысячи лет без Омза!

– И без советской власти жили, тоже тысячи лет. А пришла пора, понадобилась и советская власть, и социалистический строй. Без Омза жили, поскольку ни при каком другом строе он невозможен

Старичок так разволновался, что листочки выпали у него из рук и разлетелись по полу. Анатолий помог водворить их на место.

Положив в ящичек карточку Булочкина, Марат Иванович вместо нее достал другую.

– Я ведь вас для чего позвал. Помните, о Лене Шрамове речь шла, о вашем заключенном. Вот его карточка. Давайте разберемся.

Карточка была обведена под линейку красной каймой и испещрена восклицательными знаками.

– Когда я завел на него дело, он уже успел побывать в колонии. По моей шкале – случай особой трудности. Стал я разбираться. Что, думаю, за чудовище такое. Читаю характеристику. Узнаю, что в колонию он попал по просьбе отца, за бродяжничество. Около года проболтался он в этой колонии. Вернулся домой,

стал заниматься в пятом классе обычной школы. Вот, почитайте, что о нем пишут.

Анатолий полистал пришитые к делу школьные характеристики, отзывы из воспитательной колонии, выписки из актов, составленных детской комнатой милиции. По ним можно было понять, что Шрамов – неисправимый, дурно влияющий на других подросток.

– Судя по документам, он закономерно попал в изолятор. Все другие меры были исчерпаны.

– Закономерно, – ядовито прошипел Марат Иванович. – Мальчишка за решеткой, а вы – закономерно. Это закономерность нашей безрукости и подлого равнодушия. Вот смотрите: эту запись на карточке я сделал за полгода до ареста Лени: «Кандидат на скамью подсудимых». Какие у меня были основания для этого прогноза? Первое – семья. Ребята из университета назвали это постоянно действующим фактором. В отличие от других. Что за фактор? Разные формы родительской безответственности. Или пьяницы, или трезвые эгоисты, или просто жестокие люди, по любому поводу избивающие детей, или ослепленные любовью к своим чадам, балующие их, приучающие к легкой жизни.

– Старая истина.

– Да погодите вы! О втором факторе я уже говорил – связи. Безнадзорный подросток никогда не остается

в одиночестве. И взрослые с трудом переносят одиночество, а дети его вообще не терпят. Так вот, если безнадзорный связался с другим, еще более запущенным, появляется еще один фактор для прогноза.

– А как вы пользуетесь такими прогнозами?

– Как могу... Когда знаешь, чего ожидать, можно ведь и предотвратить несчастье, сломать эту вашу проклятую закономерность. Ведь не о стихийном бедствии речь идет, а о наших собственных делишках. Пойдемте!

Марат Иванович убрал бумаги, накрыл лысую голову соломенной шляпой, взял палку с набалдашником, и они вышли.

С легкой руки одной старушки, перекроившей имя Антиверова на славянский лад, знакомые и незнакомые ему люди звали его Маратий Иванович. Старик, видимо, к этому привык, на странное прозвище охотно откликался и собеседников не поправлял. Пока они с Анатолием шли по двору, а потом по улице до следующего дома, Антиверова остановили несколько раз. Обращались к нему почтительно, смотрели с надеждой. Каждого он выслушивал терпеливо, склонив набок круглую голову, ничего не обещал, только делал пометочки на квадратике картона, припасенном в кармане пиджака, и важно шествовал дальше. На улице

он был совсем другим. Говорливость и подвижность сменились серьезной молчаливостью и медлительностью старого, немощного человека. Останавливавшие его люди чувствовали себя как бы виноватыми перед ним, а каждое его скупое оброненное слово принималось как подарок.

– Плакуны чертовы, – бормотал он, взяв Анатолия под руку, – пока с их собственным сорванцом беды не случится, им на все наплевать, ходят умниками, не подступись. А как наш Коленька в милицию попал, тут уж слез не жалко и в ножки можно поклониться.

Шедший навстречу высокого роста мужчина заметил Марата Ивановича, хотел, должно быть, остановиться, даже замедлил шаг, но поглядел на Анатолия и не решился, только приподнял фетровую шляпу, сладко улыбнулся и прошел мимо. Под прогулочной маской холодного безразличия на его лице явно проступили – и желание поговорить, и колебание, и сожаление, что разговор не состоится.

Марат Иванович подтолкнул Анатолия локтем.

– Вот, пожалуйста. Геолог, важная шишка. Когда я приходил к нему, просил помочь клубу, рассказать ребятам об алмазной трубке, выставил меня за дверь. И когда я о его сыночке сигнализировал, слушать не хотел. А сейчас, когда его Васеньку из школы выгоняют, Маратий Иванович – первый друг... Ироды!

В квартире Шрамовых им открыла соседка и сразу же убежала в свою комнату. В узком коридорчике, заставленном всяким хламом, висели плотные пласты табачного дыма и винного перегара. Марат Иванович прошел к крайней открытой двери и пропустил вперед Анатолия.

Обычная, хорошо знакомая Анатолию, обстановка приюта пропойц. На грязном столе бутылки, стаканы, еда в бумажках. На железной кровати пьяная женщина. Двое мужчин сидели за столом.

– Здравствуйте, – сказал Анатолий.

Один из мужчин, лица которого Анатолий против света не разглядел, вдруг вскочил, засуетился, поднес стул.

– Просим, товарищ начальник! Садитесь! Не узнаете? Кухарева забыли?

Анатолий узнал. Перед ним действительно вертелся Юрка Кухарев, года три-четыре назад сидевший в колонии. Вор со стажем,

– Ты какими судьбами на свободе?

– По закону, товарищ начальник, – нажимая на «товарищ», с пьяной развязностью объяснил Кухарев, – как исправившийся и заслуживший доверие, условно-досрочно.

– Так у тебя же рецидив, в третий раз судился.

– В четвертый, – поправил Кухарев.

– Какое же у тебя «условно-досрочно»?

– А первые три не в счет, они при моем малолетстве были, до восемнадцати. А как во взросляк перешел, счет, по-моему, наново начался.

– Это по-твоему, – сказал Анатолий. Он вспоминал все больше подробностей о заключенном Кухареве. Вспоминался злой, упрямый подросток, который вел себя как звереныш. Сейчас ему за двадцать. Научился, наверно, притворяться работягой, по всем формальным признакам подошел к разряду «исправившихся» и вот – вылетел. Наверно, опять ворует.

– Ну и как, – заинтересовался Анатолий, – работаешь, или с утра пораньше к водочке прикладываешься?

– Воскресенье, товарищ начальник, магазинам план дополнительный дают, нужно поддержать торговлю.

– А с работой как?

– Вкалываю. Расту поперек себя выше.

– Где работаешь?

– Брось, начальник, допрашивать, присаживайся, выпьем за встречу.

– Вот эта парочка, Анатолий Степанович, и довела Леню Шрамова до тюрьмы, – спокойно, как на выставочный экспонат, показал Марат Иванович. – Не мальчишка должен сидеть на скамье подсудимых, а

его папаша и этот ваш знакомый.

Отец Шрамова, хилый, подслеповатый мужичонка, скорбно покачал головой.

– Зря обижаешь, Маратий Иванович, зря. Мы для своих ребят ничего не жалеем. Я Леньку какой поил.

– Н-на пирожные р-разорались, – подала голос с кровати мать Шрамова. Она попыталась поднять голову с подушки, но отвалилась обратно.

Кухарев долго вглядывался в Антиверова, как будто видел его впервые.

– За такие слова, папаша, я вас самого на скамейку посажу. Оскорбление личности. Статья сто тридцать первая. Будете свидетелем, товарищ начальник.

Указывая на Кухарева, Марат Иванович продолжал:

– Вот этот самый мерзавец при родителях и соседях говорил Лене: «Мальчик, я в твои годы уже воровал». А на пирожные эта семейка разорлась, когда Леня приносил ворованные вещи.

– Папаша! – поднял голос Кухарев. – Будешь плакать, папаша!

– Не ори, – оборвал его Анатолий. – Придется лишить вас родительских прав, гражданин Шрамов.

– Не по закону, товарищ начальник, – плаксиво возразил Шрамов. – Разве мы их бьем, или они у нас босяком ходят? А ежели школа не справляется, учителя

из класса выгоняют, работать не учат, так мы тут причем? Пускай они и отвечают.

– У родителей, которые все пропивают, дети не могут вырасти честными людьми. Разве вы не знали, что Леня ворует? Вы спрашивали, откуда у него деньги?

– Нету свидетелей, что его здесь воровать учили, – вмешался Кухарев. – Мало что наклепают. А деньги если приносил, мог и заработать, лом собирать, бумагу, мало ли, не маленький.

– Ты, Кухарев, помолчи, – сказал Анатолий. – О тебе разговор будет особый. Если около бывшего вора новый вор вырос, то и тот уже не бывший. Не пошли тебе впрок ни колония, ни досрочное освобождение. И когда попадешь к нам, а попадешь скоро, получишь не только за себя, но и за обучение других. Все судимости в счет пойдут. И сидеть будешь от звонка до звонка. Об этом уж я позабочусь.

Кухарев побледнел. Он не сомневался, что опять попадет в изолятор. Он знал, что этот воспитатель зря слов не бросает. Хотелось взвить, запустить в голову гостям зажатый в руке стакан, рвануть на себе рубашку. Но страх и опыт уголовника заставили сдержаться, перейти на шутейный тон.

– Зачем пугаешь, начальник, я и так пуганый. Завязал узелком, в мужики записался. А к Ленке я никаким боком, чего мне его учить? Сам по дурасти пошел.

У открытых дверей остановился мальчик лет четырнадцати в аккуратной школьной форме. Он обвел большими глазами комнату и покраснел.

– Здравствуй, Валерик, – повернулся к нему Марат Иванович..

– Здравствуйте, – тихо ответил Валерик и покраснел еще гуще.

– Вот пожалуйста, – опять тоном экскурсовода заговорил Марат Иванович, – из интерната на воскресенье воспитанник направляется в теплый родственный круг.

– Поди сюда, Валерка, – позвал Шрамов, – садись, кушай. Колбасу жуй, селедочку... А водочки, брат, нельзя, мал еще.

– П-пей, Валерка! – скомандовала мамаша с постели. – Плюй на них, п-пей!

Марат Иванович встал.

– Пойдемте, Анатолий Степанович, картина, надеюсь, ясная.

Анатолий растерялся. Ему казалось, что он трусливо покидает место, где совершается преступление, но и сделать он ничего не мог. Увести мальчика? Куда? По какому праву? А следующее воскресенье?

Не прощаясь, они вышли из комнаты. Пока спускались по лестнице, молча переживали. Потом Марат Иванович опять заговорил.

– Полтора года не могу добиться спасения этих ребят. Не хватает каких-то бумажек, показаний, признаний, черт-те чего. Либерализм, гуманизм, будь он проклят. Никак не поймут, что гуманизм для подонков всегда оборачивается издевательством для честных людей.

– Ну хорошо, лишат их родительских прав. А потом?

– Лишить мало. Выслать нужно! И не просто освободить один город от пьяниц, чтобы наградить ими другой. В специальные лагеря, за колючую проволоку. Труд и лечение. Без срока. Как держат в больнице – до полного излечения. А не излечится, не захочет – пусть подышает там.

– Валерку, Леньку куда?

– Валерка в интернате, где сейчас, только без всякой связи с родителями. А Леньку... Вот будет Омз – все вопросы решит.

Они уже вышли на улицу. Марат Иванович снова стал медлительным и молчаливым.

14

Игорь Сергеевич ощущал отсутствие сына постоянно и болезненно. Наверно, так ощущает человек пальцы ампутированной ноги. Генкины вещи, Генкины кни-

ги укоряли на каждом шагу: твой сын в тюрьме. А ты ему ничем не помогаешь. Ты виноват в его страшной судьбе. Действуй же! Добивайся!

Он никогда не умел пользоваться отмычками замков и протекций. Все, чего он добился в жизни, пришло как бы само собой, как награда за труд, за смелость и честность. Тяжелой штангой казалась ему телефонная трубка, когда он поднимал ее, чтобы позвонить какому-нибудь старому, еще фронтовых лет приятелю, занимавшему влиятельный пост и имевшему других, еще более влиятельных друзей.

Игорь Сергеевич искал «ход» к городскому прокурору, к работникам горкома партии, к милицейскому начальству. Услышав его голос по телефону, приятели радостно откликались, приглашали встретиться, «отметить». Но когда он, багровея от стыда, начинал рассказывать про Гену, голоса как будто тускнели, радость сменялась деланным сочувствием. Ему не отказывали. Каждый обещал подумать, позвонить, подсказывал еще другие фамилии и номера телефонов.

Со многими он встречался, горячо доказывал, что несовершеннолетнего сына посадили за сущие пустяки, что прокуратура перегнула палку. Он просил отпустить Гену на поруки, ручался партбилетом.

Среди тех, кто его принимал, были и трепачи, много обещавшие, но даже не пытавшиеся чем-нибудь по-

мочь. Они просто избегали новых встреч и не подходили к телефону. Но больше было таких, кто разделял его возмущение, тут же кому-то звонили, просили «обратить внимание», «проверить», «сделать все, что можно».

Проходили дни, и те же, искренне к нему расположенные люди признавались, что ничего пока не добились, что в деле Генки есть какие-то сложности, о которых им не говорят. Они просили набраться терпения, обещали не забывать о его горе.

Телефонные звонки приятелей Игоря Сергеевича через длинный ряд инстанций доходили до следователя Марушко, дергали его, торопили с обвинительным заключением. Он догадывался, чьих рук это дело, злился, как всегда, когда сталкивался с родителями, действовавшими в обход, и встречал Игоря Сергеевича с открытым недовольством.

– Сколько вы еще будете его держать? – спрашивал Игорь Сергеевич, сдерживая гнев. Хотя нервы его за последние дни натянулись до предела, он еще не терял самообладания.

– Столько, сколько нужно для успеха следствия. Но не больше, чем имею права по закону.

– Но зачем вам нужно, чтобы он сидел под замком? Куда он денется? И чего вы тянете? Ведь все ясно: ну купал, ну продавал! Чего вы еще от него хотите?

– Он знает, что я от него хочу. Я рад бы кончить раньше, но не могу, опять же по милости вашего сына.

– Разрешите мне с ним поговорить.

– Вы уже с ним виделись. Новое свидание я считаю лишним.

– Почему?

– Потому что это вредит следствию. После вашей беседы с ним он набрался еще больше нахальства.

Игорь Сергеевич уходил ни с чем.

Свидание, о котором напомнил Марушко, было тяжелым и суматошным. Игоря Сергеевича так потряс жалкий вид сына, что он ни о чем не спрашивал, ничего не узнал, только успел поддержать в Генке бодрость духа и обнадежить его скорым освобождением. Генка плакал, и сам Игорь Сергеевич чуть не дал воли слезам. Он старался выглядеть спокойным, ругал прокуратуру и милицию, делал все, чтобы разогнать мрачные мысли сына, передать ему свою уверенность в благополучном исходе дела.

Потом, после свидания, он перебирал слова, которые забыл сказать, ругал себя за то, что не сумел выразить свою отцовскую боль и любовь. Он добивался нового свидания и не верил, что встреча отца с сыном может повредить правосудию. Просто этот бюрократ-следователь хочет причинить лишнюю боль и

ему и Гене,

Чтобы оттянуть возвращение домой к Генкиным вещам и к вопрошающим глазам жены, он заходил к Воронцовым. Афанасия Афанасьевича он хотя и не любил за излучаемую им скуку и занудливость, но уважал за ученую степень, за принадлежность к тому миру абстрактных знаний, который Игорь Сергеевич считал для себя непостижимым.

В этот вечер он и Ксения Петровна сидели за столом, окруженные молчанием, как стоячей водой. Афанасий Афанасьевич не выходил из спальни, где стоял его письменный стол. Он готовил публичную лекцию на тему: «Двуединная задача воспитательного процесса». Готовился он основательно, прирастал к стулу как памятник, хорошо зная, откуда и что нужно выписать, когда и на кого сослаться для подтверждения отнюдь не своих мыслей. В такие дни по комнатам ходили на цыпочках и говорили вполголоса, дабы не нарушить таинство научного творчества.

Игорь Сергеевич перебирал листки блокнота, заполненные фамилиями и номерами телефонов, припоминал связанные с ними разговоры, и вдруг сообразил...

– Афанасий! – крикнул он к ужасу Ксении Петровны. – Поди сюда!

– Ты с ума сошел, – прошептала Ксения Петровна,

зажав ладонями полные щеки. – Он же работает!

– Пусть сделает перекур – надорвется.

Афанасий Афанасьевич вышел, неся на лице печать глубоких теоретических раздумий.

– Послушай, Афанасий, мне сегодня сказали, что ты учился с таким Сапрыкиным на одном курсе.

– Как же, в одной группе были, – улыбаясь воспоминаниям, сказал Афанасий Афанасьевич.

– Он кто – профессор, академик?

– Ну, махнул! Академик... Доктор, замдиректора института.

– Во-во! Значит, он. А ты знаешь, что он женат на родной сестре прокурора?

– Ну и что же? – не поняв, куда клонит Игорь Сергеевич, спросил Афанасий Афанасьевич.

– Еще спрашиваешь! Вот тебе телефон, звони, поговори насчет Генки. Пусть со свояком перемолвится, тот все может.

Афанасий Афанасьевич поморгал тяжелыми веками, растерянно посмотрел на жену и выставил вперед обе руки, как бы отталкивая и телефон, и самую мысль о звонке.

– Видишь ли, Игорь, с Сапрыкиным я не столь близок, как это может показаться кому-то со стороны. Мой звонок выглядел бы, как бы тебе это объяснить, не совсем уместным, что ли...

– Ты не крути. Учились вместе, знакомство поддерживаешь, по работе встречаешься. Чего еще нужно? Я сейчас наберу номер, а ты возьми трубку. – Игорь Сергеевич пошел к телефону.

– Не смей! – взвизгнул Афанасий Афанасьевич. – Не буду я с ним разговаривать. Пойми, что такой разговор об арестованном племяннике мне не к лицу. Он может черт знает что подумать!

Игорь Сергеевич круто повернулся и ухватился за спинку стула. Лицо его не предвещало ничего хорошего. Ксения Петровна бросилась к нему с криком.

– Игорь! Успокойся! Сядь, Игорь!

Отодвинув ее как тростинку, Игорь Сергеевич наклонился над скрипевшим стулом. Все это время бесильная ярость накапливалась в нем, как пар в перегретом котле. Если в кабинете Марушко он еще находил силы придавить крышку котла, то сейчас удержу не было.

– Не к лицу... Тряпки у Гены покупать – к лицу! Под суд мальчишку подводить – к лицу! А сказать слово в его защиту – не к лицу... – Игорь Сергеевич добавил еще несколько слов, которые вырывались у него только в трудные минуты, и только в мужской компании.

– Ты меня не понял, Игорь, – стал испуганно оправдываться Афанасий Афанасьевич, – я тебе все объ-

ясню. Мне по телефону неудобно говорить, я лучше при встрече, в институте, специально зайду, слово даю...

– Врешь! – уверенно сказал Игорь Сергеевич. – Вижу, что врешь. За свою шкуру испугался. Не к лицу!

– Что ты раскричался? – пришла на помощь мужу Ксения Петровна. – Об этом действительно неудобно говорить по телефону, неужели ты этого не понимаешь?

Игорь Сергеевич вместе со стулом повернулся к невестке.

– Это почему же неудобно? Барахло заграничное покупать удобно, а вызволить парня из беды, в которую ты сама же его толкнула, – неудобно. Вот сучья логика!

– Не смей ругаться. Никуда мы его не толкали. Он сам во всем виноват.

– Ах, сам! Ну ладно. Завтра же напишу следовательно, – пусть пощупает ваши гардеробы. И в газету пойду, расскажу про одного теоретика-моралиста, автора-лектора, пусть прославят. Гена там молчит, покрывает вас, сволочей, а вы... – Игорь Сергеевич опять добавил слова, никогда не звучавшие в этих стенах.

В комнату вошла Катя. Никто не слышал, как она открыла входную дверь. Никто не знал, сколько времени стояла она вот так, не раздеваясь, в передней,

что она слышала.

Нимало не смутившись, а как будто обрадовавшись свидетельнице, Игорь Сергеевич обратился к ней:

– Полюбуйся на своих родителей! Сами упрятали Генку в тюрьму, а теперь боятся трубку телефонную поднять.

Никогда при Кате никто не говорил о ее родителях с таким презрением. Она впервые видела отца жалким, растерянным, виноватым. Впервые ее мудрая, высокомерная мама выглядела истеричкой, бессильно потрясавшей кулаками. Смотреть на них было неприятно.

– Успокойтесь, Игорь Сергеевич, – сказала она тихо, – умоляю вас. Папа все сделает.

Игорь Сергеевич подсунул под себя стул, сел на него верхом и облокотился на спинку. Он уже досадовал на себя и за нелепые угрозы, которыми пугал Воронцовых, и за то, что обидел Катю, обругав при ней ее родителей.

– Ты меня, Катюша, извини. Но мы вот тут сидим, а Гена – в тюрьме. Разве я могу дипломатию разводить и спокойно выслушивать всякие шкурные заявления? Сама же твоя мамаша говорила, что нужно все сделать, а когда до дела дошло – в кусты. Испугались. Другие пусть стараются, мы ручки умоем. Ты как на это смотришь?

– Папа все сделает, – сказала Катя убежденно. – Вы его плохо поняли. Правда, папа?

Афанасий Афанасьевич обиженно промолчал. Он уже пришел в себя после испуга и восстановил на лице выражение глубокомыслия, растревоженного грубой житейской прозой. Ксения Петровна стояла рядом, готовясь защитить его от новых нападков, и смотрела на Игоря Сергеевича как на чудовище.

– Неблагодарный, – сказала она горестно, – мы столько сделали для Гены. Ночей не спали, уговорили лучшего адвоката...

– А что толку от вашего адвоката? Когда еще до него дело дойдет! Вы бы лучше своего зятяка уговорили, от него сегодня Генкина судьба зависит. А вы его врагом сделали. Уверен, что он парень неплохой. Ты, Катюша, их не слушай, – прежде чем развестись, сто раз подумай. Не девчонка. Он серьезный, и ведет себя скромно. Другой бы давно съехал к чертям.

– Я прошу тебя сейчас же перестать наносить нам оскорбления, – даже притопнул ногой Афанасий Афанасьевич. – В противном случае я вынужден буду потребовать, чтобы ты никогда не переступал порога нашей квартиры.

– Напугал! Я и сам переступать не собираюсь. Очень мне нужно твое общество. Но пока Генку не вытащу, даже к слизнякам буду ходить, если понадобится.

ся.

Ответить Афанасий Афанасьевич не успел. Послышались шаги. Пришел Анатолий. Все затихли. Катя вышла.

– При нем ни слова об этом, – заговорщицки прошептала Ксения Петровна. Понимать нужно было так: «Мы люди свои, подеремся – помиримся, а это чужой, против него – единый фронт».

Заговорить о чем-нибудь нейтральном они не могли. Сидели молча, прислушиваясь к голосам на кухне.

Игорь Сергеевич раздумывал, идти ли ему объясняться с Анатолием, или такой разговор повредит делу. Он никак не мог понять этого парня.

Анатолий зашел сам. Он холодно поздоровался, никому не протягивая руки, вытащил из кармана какую-то тоненькую бумажку, тщательно расправил ее и положил на стол перед Игорем Сергеевичем.

– Возвращаю за ненадобностью.

Игорь Сергеевич сник. Перед ним лежала записка, его письмо к сыну. С каким старанием Ксения Петровна прятала эту бумажку в пластиковую трубочку, которую потом запекла в невинной домашней булочке. Это она придумала верный способ приободрить мальчика, подать ему весточку от родителей.

Игорь Сергеевич перечитывал знакомые строчки: «Дорогой сынок! Не унывай, все будет хорошо. Не да-

вай себя запугать. Скоро будешь дома. Держись. Целуют тебя папа и мама».

– Это ты у него забрал? – спросил Игорь Сергеевич.

– Это изъяли при проверке передачи.

Игорь Сергеевич смял бумажку в кулаке.

– Контру нашли! Двух теплых слов мальчику испугались. Воспитатели! Чего ты испугался? Чего?

– Мне стыдно говорить об этом. Неужели вы не понимаете, что нелегальными способами пользоваться нельзя? Не нас вы обманываете, а себя. Мальчишку растлеваете.

– Да что он, по-твоему, – страшный преступник? Что я ему, антисоветскую литературу передать хотел? Человек ты или чучело полицейское?

Нужно было оскорбиться и уйти из комнаты. Анатолий даже не обиделся. Этот отважный летчик, честный человек, действительно уверен, что только он хочет блага своему сыну, а все другие – враги, с которыми ему приходится бороться. Когда Игорь Сергеевич сбивал на своем самолете немецких асов, Анатолий еще ходил в детский сад. Но сейчас он чувствовал себя и старше и опытней.

– Из этой записки Гена вычитал бы кое-что еще, кроме того, что в ней написано.

– А! – злорадно выкрикнул Игорь Сергеевич. – Зашифрованная! Вон где собака зарыта! Так ты бы меня

спросил, я бы тебе код открыл, ключик вручил бы. На огне не держал? Может, я там между строк чего-нибудь нарисовал – план побега или подкопа. А? Не нашел?

Анатолий выждал, пока Игорь Сергеевич утих.

– Для Гены эта записка означает вот что: «Не робей, сынок, выкрутишься! На следователя наплюй, и на закон попутно. Все будет в порядке. Тебя, бедного, обидели, но ты потерпи. Скоро папочка с помощью своих друзей тебя выручит. Будешь дома, мамочка сладко накормит, все останется по-старому». Вот смысл этих теплых слов.

– А хоть бы и так, – вступилась Ксения Петровна, чувствовавшая ответственность за письмо. Она боялась, как бы гнев Игоря Сергеевича опять не обрушился на нее.

Анатолий посмотрел на Ксению Петровну как на постороннего, мешающего беседе человека.

– Вам этого не понять, а Игорь Сергеевич, я надеюсь, поймет.

– Я же просил тебя устроить свидание или самому передать письмо. Ты отказал, – напомнил Игорь Сергеевич.

– И теперь убеждаюсь, что правильно сделал, Ваше свидание с сыном, как и эта ваша записка, ничего, кроме вреда, принести ему не могут.

– Я должен внести ясность в свою позицию, – подал голос Афанасий Афанасьевич. – Ибо мне чужда и отвратительна всякая противозаконная деятельность, в какой бы форме она ни выражалась, пусть даже в нарушении правил тюремного режима. И в данном случае я полностью присоединяюсь к позиции Анатолия.

Афанасий Афанасьевич с осуждением посмотрел на жену и Игоря Сергеевича. Хотя он знал о сюрпризе, спрятанном в булочке, но в составлении письма участия не принимал, и с молчаливого согласия жены делал вид, будто все готовилось втайне от него.

– Ничего тут противозаконного нет, – упорствовала Ксения Петровна. – Поддержать мальчика морально в такую минуту – долг отца.

– Можешь ты понять, – со злым недоумением спросил Игорь Сергеевич у Анатолия, – что переживает отец, когда его сын в тюрьме, или ты дальше своих инструкций ничего не видишь?

– В такие минуты переживать мало, нужно еще думать, думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем своего сына, – ослабевшим голосом ответил Анатолий. Он устал от этого бессмысленного спора и не верил, что его поймут.

– О будущем я уж сам позабочусь, а ты ему сегодня помоги. Или не мешай по крайней мере.

Анатолий махнул рукой и вышел. Ксения Петров-

на с торжествующим страданием взглянула на Игоря Сергеевича: «Понял теперь, с каким зверем нам приходится жить».

15

Слухи о проекте Омза распространились и в школе, где работала Ольга Васильевна, и в университете, где учились ее бывшие питомцы, ныне – единомышленники, и в разных учреждениях, где этот проект громогласно рекламировал Марат Иванович. Поэтому Ольга Васильевна не удивилась, когда ее старая приятельница, служившая в районном отделе народного образования, Елена Николаевна Затульская, позвонила ей домой, попросила зайти и назвала при этом «госпожой министершей».

Встретились они, как всегда, улыбнувшись друг другу, поговорили о здоровье, о домашних делах. И только после этого, с некоторым трудом перешагнув порог неловкости, Елена Николаевна покопалась в деловой папке и протянула Ольге Васильевне несколько сколотых листов плотного машинописного текста.

– Познакомься, пожалуйста.

Месяца два назад Ольга Васильевна послала в

один ведомственный журнал статью, в которой излагался набросок проекта охраны морального здоровья подрастающего поколения. Статью писали в несколько рук, рождалась она в спорах, и надежды на нее возлагались большие. Авторы были уверены, что ее напечатают «в порядке обсуждения», и тогда непременно у них найдутся союзники.

И вот теперь перед Ольгой Васильевной лежало короткое письмецо, адресованное редакцией журнала роно, и длинная рецензия, нашпигованная цитатами. Ольга Васильевна прочитала первые строчки, заглянула в конец и увидела подпись: «Доцент Воронцов».

– Странно, – сказала она, – вместо того чтобы ответить авторам, журнал почему-то прибег к твоей помощи.

Все так же мило улыбаясь, Елена Николаевна ответила примирительно:

– Что ж тут странного, Олечка? Ты – работник нашей системы. Естественно, что редакция поставила нас в известность, чтобы мы могли...

Елена Николаевна не сразу нашла окончание фразы, и Ольга Васильевна ей помогла.

– Провести среди меня работу?

Елена Николаевна рассмеялась.

– Они ведь не знают, кто ты, думали, наверно, – молоденькая учительница, которой нужна идейная по-

мощь.

– И ты тоже считаешь, что мне нужна идейная мощь?

– Ты не сердись и войди в мое положение. Земля полнится слухами о каком-то эксперименте. Чуть ли не целое министерство под твоей крышей...

– До министерства далеко, а эксперимент действительно ведется.

– Не грех бы поставить и роно в известность. Получается как-то неловко. Начальство запрашивает нас, а мы хлопаем глазами.

Когда-то в институте Леночка Затульская не отличалась ни способностями, ни усидчивостью. Но покладистый характер и умение нравиться самым разным людям помогли ей не только получить диплом, но и без усилий, безобидно для окружающих продвигаться по административной лестнице.

В бытность свою директором школы она приобрела должную солидность, в голосе ее появились даже властные интонации, но умения ладить с людьми она не утратила. Очень ценила в ней Ольга Васильевна искреннюю любовь к детям.

Как ни старалась сейчас Елена Николаевна вести беседу в тоне близкого человека, Ольга Васильевна почувствовала себя в роли допрашиваемой, и это ее оскорило.

– Не понимаю, почему я должна докладывать роно о моих занятиях, не имеющих прямого отношения к школе?

– Я, Олечка, твоей статьи не читала, но, судя по рецензии, речь идет не о твоих личных интересах. Ты наша учительница и затеваешь что-то...

– Это не затея, а очень серьезное дело.

Сама того не желая, Ольга Васильевна увлеклась и повторила то, что уже не раз говорила другим. Елена Николаевна не зажглась от ее огня и поняла все как-то по-своему. Складка озабоченности перечеркнула ее чистый лоб.

– Это даже серьезнее, чем я думала, – сказала она задумчиво. – Ты вовлекаешь столько людей... Ни с кем не согласовав...

– Господь с тобой! – воскликнула Ольга Васильевна. – Что я должна была согласовывать?

– Ну как же! Получается какая-то анархия. Если в каждой частной квартире будут создаваться министерства... К чему это приведет?

– К чему, например?

– Ведь это вопрос государственного устройства. Такие проблемы решаются в Совете Министров, в Верховном Совете.

– Но кто-то подсказывает Совету Министров, или ты полагаешь, что я не имею права иметь свое мнение

по вопросу государственной важности?

– Ну, зачем ты так говоришь? Конечно, имеешь. Но вовлекать десятки людей, собирать у себя дома... Неужели ты не понимаешь?

– Представь себе, не понимаю. Разве дело, в которое я вовлекаю, плохое? Разве мы не стараемся помочь нашему государству? Разве мы от кого-нибудь скрываем свои намерения и мысли? Тысячи людей десятки лет ломают головы над этой проблемой, пишут статьи, книги, спорят, ищут. И мы ищем. Что ж тут плохого?

Елена Николаевна всегда проигрывала в спорах с Ольгой Васильевной, и сейчас не могла убедительно обосновать то тревожное чувство, которое у нее возникло. Она не пыталась вникнуть в суть затеянного эксперимента. Ее беспокоила форма. Такая самостоятельность, по ее мнению, не могла понравиться тем влиятельным людям, которых Елена Николаевна побаивалась. И то, что Ольга Васильевна все ей рассказала, еще больше усложняло положение. Теперь Елена Николаевна должна была определить свое отношение к этому делу, а определить она могла, только доложив обо всем начальству и узнав его мнение. Но многое зависело от того, как доложить. Если бы Ольга Васильевна не была своим человеком, к которому она всегда хорошо относилась, все было бы проще.

Можно было бы докладывать, опираясь на рецензию, с недоумевающим осуждением. Но заранее представлять старую подругу в невыгодном свете не хотелось. Это выглядело бы как донос. Однако и умолчать о слышанном, о собраниях и дискуссиях, которые происходят на квартире учительницы, тоже никак нельзя. В случае чего, будешь выглядеть кем-то вроде соучастницы. Поэтому в голосе Елены Николаевны прозвучало искреннее волнение, когда она наклонилась над столом и коснулась пальцами локтя Ольги Васильевны.

– Пойми меня, Оленька, правильно. Я ни одной минуты не сомневаюсь, что все задуманное тобой – честно и благородно. Я даже допускаю, что твой эксперимент может принести некоторую пользу. Но, дорогая, нельзя же так. В какое положение ты ставишь меня?

– А причем тут ты? – удивленно спросила Ольга Васильевна.

– Ну как же причем... Мне поручили... Меня спросят, что я скажу?

– Да говори, пожалуйста, что хочешь. У меня тайн нет. Можешь даже прийти ко мне, мы на днях проведем очередную репетицию. Все услышишь своими ушами.

– А если руководству не понравится... Ты не бу-

дешь на меня в обиде?

– Ты меня, Лена, извини, но мнение твоего руководства меня очень мало заботит. В правоте того, что я делаю, я убеждена, и мне твои тревоги, ей-богу, смешны. Говори, что хочешь, и обижаться на тебя я не стану. Обещаю.

Ольга Васильевна поднялась. Ей захотелось поскорее уйти. Она старалась не смотреть на виноватое лицо Елены Николаевны и не слышала слов, сказанных ей на прощанье.

16

В камеру приносили газету. Ее читали от нечего делать, – прежде всего новости спорта, искали, нет ли каких происшествий, большие статьи обходили. Коротенькие телеграммы из-за рубежа вызвали быстро затухавшие дискуссии о подлости капиталистов.

Утин выписал себе еще одну газету – «Комсомольскую правду», и читал ее подолгу.

На воле у Павлухи Утина не было ни времени, ни желания думать. Если и приходили мысли, то короткие, дергающиеся как воробьиный хвостик. К чему приведут его поступки, совершенные сегодня, он не знал и знать не хотел. Взрослые уговаривали его ду-

мать о жизни, о будущем, о других людях, но эти мысли до него не доходили. Они ему были ни к чему.

Павлуха считал, что и другие только притворяются, когда говорят, что их интересуют события, не имеющие отношения к деньгам, жратве и выпивке. Он так привык к своим коротким мыслям, что просто не мог задуматься надолго даже о себе. Думать было трудно и скучно. И не потому, что Павлуха был глуп или ленив. Вовсе нет. Он быстро соображал, когда речь шла о вещах, которые можно украсть, или о людях, которых следует бояться. Он умел быть хитрым и осторожным, умел притворяться и обманывать. А думать не умел.

Павлуха вырос на улице. Домой он приходил поесть и поспать. Дома было скучно. А на улице много знакомых, есть на что смотреть, что слушать. Павлуха любил играть шумно, озорно, с риском, чтобы показать свою лихость. Он черт-те куда забирался по водосточной трубе, заглядывал в чужие окна на третьем этаже, перебирался с крыши на крышу, мог, не сходя на землю, обойти весь квартал.

Невольными участниками этих забав были взрослые. Они гонялись за ним, он от них удирал. Потом им заинтересовались милицейские работники из детской комнаты, и участковый, и разные тетки из каких-то комиссий. Их увещевания и угрозы тоже стали привыч-

ными. Чтобы выйти победителем, Павлухе нужно было взрослых обманывать, обещать им все, что они хотели, лишь бы поскорее отпустили.

Взрослые его не любили – и дворники, и учителя в школе. Это было понятно. Павлуха всегда обводил их, и они ничего не могли с ним поделать. Зато ребята его любили и боялись. Когда он вставал среди урока, вылезал в открытое окно четвертого этажа и исчезал, нельзя было им не восхищаться. Директор школы приглашал мать, она возвращалась с мокрыми глазами, и, чтобы не глядеть на нее, Павлуха уходил на весь день, а то и на два.

Когда уходишь на день или на два, то все время хочется есть. А еды кругом много, в любом киоске, в магазинах, на рыночных лотках. Забраться через открытую форточку или через чердачное окно и стащить что-нибудь стоящее – это было потруднее, не всегда удавалось. Павлуху ловили, приводили в знакомую детскую комнату. Разговоры были те же.

Взрослые старались внушить ему, что можно, а чего нельзя. Можно было только то, что Павлухе казалось скучным: тихо сидеть на уроках, по улице ходить никого не задевая, есть только то, что сготовит мать. Но он видел, что и сами взрослые не всегда соблюдают эти правила – прогуливают, пьют, дерутся. И в кино люди жили не по правилам.

Делать то, что нельзя, – куда интереснее. Каждое нарушение запрета выглядело как приключение, полное риска. А рисковать, испытывать волнение трудного единоборства со взрослыми Павлуха любил. Обманывая, убегая, скрываясь, он чувствовал себя самостоятельным и сильным.

На комиссии его дело разбирали долго и решили отправить в воспитательную колонию. Там Павлуха познакомился с интересными ребятами. Они были смелее и ловчее Павлухи, знали законы, разные статьи уголовного кодекса и все льготы, которые полагаются малолетним. У них были крепкие связи со взрослыми на воле, но не с теми взрослыми, которые хватали и поучали, а с теми, кто понимал таких, как Павлуха, и помогал им делать не то, что можно, а то, что хотелось.

Из колонии бежать было легко. С новыми друзьями Павлуха убегал на ночь. Очищали один, два киоска, брали что попадалось, а к утру возвращались в колонию. Это было хорошее прибежище от милиции. Днем воспитывались, ходили в мастерские, соблюдали дисциплину.

Продержали в колонии недолго, вернули к матери, Она облила его слезами и повела на завод, где работала подсобницей. Завод был большой, строил корабли, Павлуху определили в деревообделочный цех.

К соблюдению внешнего порядка колония все же приучила, вставал Павлуха рано, с рабочего места не убегал, и многое здесь ему нравилось.

Как-то с бригадой плотников он сколачивал подмости для монтажников на шлюпочной палубе. Стальная коробка на стапеле стояла в лесах, была похожа на недостроенный дом со своими этажами, коридорами, лестницами. Только называлось все иначе. В доме было шумно илюдно. Тишину взрывали пневматические молотки и сверла. Всюду копошились рабочие, каждый со своим делом, своим инструментом. Хотя у Павлухи весь инструмент состоял из тяжелого ручника, а материалом были сырые сосновые доски, он тоже чувствовал себя на своем месте.

На шлюпочной палубе хозяином был ветер. Он хлопывал каждого, подталкивал в спину, тянул из рук – пробовал, крепко ли держишь, выхватывал изо рта слова и отбрасывал в сторону. Хочешь не хочешь, приходилось бороться с бездельником, отжимать грудью его натиск, отнимать кепчонку, сорванную с головы.

Подмости строили крепкие, на рамах. Когда перекинули первую доску настила, ветер ухватился за другой конец, оторвал крепление, оседлал и закачался вверх-вниз. Бригадир с остервенением выругался. Времени до конца смены оставалось самая малость.

А место неудобное. Палуба – одно название, кругом незаделанные лазы, стремянку приткнуть негде.

Павлуха не успел подумать – руки и ноги у него всегда впереди головы – как очутился на пляшущей доске. Бригадир выругался еще яростней, что-то кричал ему, но ветер подбирал слова на полпути. Павлуха шел, балансируя руками, глядел не вниз, а вперед, улыбался ветру и страху, собравшему в комок все, что в груди. С доски был виден весь завод и вся река. Не по таким карнизам ходил Павлуха, никогда не боялся высоты и не понимал, чего бояться, когда под ногами опора. Но на этот раз опора была хлипкой, неверной. Доска пружинила, подскакивала, моталась из стороны в сторону.

Если бы Павлуха не видел краем глаза задранные кверху головы рабочих и одинаковые от испуга лица, может быть, он и повернул бы назад. Но пересилил себя. Даже смешно стало от чужого страха. Дошел. Присел, придавил своей тяжестью конец, достал из кармана все, что нашлось, – гвоздь чуть ли не в палец толщиной, скобу. Пожалуй, только этому и успел научиться – забивать гвозди верным ударом. Обратнo шел как на прогулке. Когда спустился, схлопотал от бригадира по шее, но по его лицу и по лицам других рабочих понял, что ему удивляются и уважают больше, чем прежде.

С первой получки бригадир послал за пол-литром. Он относился к Павлухе хорошо, но водку любил не меньше. До этого Павлуха вина не пил, не находил в кем ничего приятного. Бригадир налил стакан и сказал: «Давай, давай, рабочий класс, обмыть нужно!» Павлуха выдержал, не показал ни тошноты, ни слабости. Все, что осталось от получки, до копейки отдал матери. Вышел на улицу и встретил дружков из колонии. Им до зарезу нужны были деньги. Брать назад у матери никак нельзя было. В голове еще шумело от водки. Решил помочь. Дождались темноты, повел их к знакомому киоску. Вскрывать его было легче, чем консервную банку. И попались.

Был первый суд и первый приговор. Условный. На завод Павлуха не вернулся. Помешал стыд. Ходил без работы, озлился на всех. И снова попался. На этот раз дали срок, послали в трудовую колонию. Срок был небольшой, – пока ждал суда в изоляторе, пока коротал время на этапах, от срока осталось немного. Зато узнал изрядно. Впервые увидел «взросляк» – воров со стажем, привыкших ко всему. Один из них, по кличке Князь, пригляделся к Павлухе, приободрил, разговаривал как со своим, про тюрьмы говорил легко, со знанием дела, как говорят люди о знакомых курортах. На прощанье дал адресок в городе.

Отбыв наказание, Павлуха стал осторожней. По-

шел устраиваться на работу, чтобы не мозолить глаза участковому. Сам для себя еще не решил, как будет жить. Вдаль не заглядывал, но стыд, пережитый на суде, и бессонные ночи на жестких нарах не забывались. Казалось, только так и стоит жить: ходить по улицам без конвоя, заворачивать куда хочешь. А чтобы так жить, нужно было работать. Остановился у первой доски с наклейками: «Требуются». Зашел, протянул паспорт новенький, недавно полученный. У кадровиков глаз наметанный. Посмотрел на стриженую голову, повертел паспорт и вернул: «Погуляй, места пока нет».

Все смотрели косо – и соседи по дому, и прохожие на улице. Может быть, и не смотрели, но так казалось. За материнским столом кусок не лез в рот. Вспомнил слова Князя: «Худо будет, свои не оставят». Пошел по адресу. Домик-развалюха, вот-вот пойдет на слом. За столом парни, каких не раз видел на этапе. Передал привет от Князя. Усадили как родного, еще за водкой сбежали.

Его как будто только и ждали. Недавно подельника посадили, и Павлуха пришелся ко времени. Воры были опытные, все делали не спеша, обдумав. В своем районе не шарили. Ходили по новостройкам. Там и квартиры и замки на один лад. Звонили подряд на этажах. Если откликались, спрашивали: «Смирнов здесь».

живет?» – и, не дожидаясь ответа, звонили в следующую. Если на звонки ответа не было, примечали квартиру, снова приходили в разное время, уточняли, когда возвращаются жильцы, когда уходят.

За короткий срок подобрали ключи ко многим квартирам. Брали что получше, не отяжеляясь, уходили неприметно. Появились деньги, приоделся. Матери сказал, что работает в почтовом ящике, адреса говорить нельзя, «получку» сдавал по числам, как положено.

В эти дни случалось задумываться. Как-то попал к своему заводу, на котором и проработал-то всего месяц. Стоял на набережной, смотрел на стапеля, гадал, сошла ли его коробка на воду или еще стоит, его дожидается. Видел издали, как муравьями ползают рабочие, вспомнил, как раскачивал ветер переходную доску, как шумел в ушах, рвал спецовку, как хотелось смеяться от радости, что люди смотрят на него и ужасаются. Долго стоял, смотрел, думал, завидовал самому себе, тому пареньку, который протягивал в проходной пропуск и шел со всеми на свое место.

Потрогал рукой новый галстук, кашне цветное, чтобы убедиться, что живет лучше, чем раньше. Но понимал уже, что не в галстук дело. Глубоко под галстуком жил страх, совсем другой, чем тот, на пляшущей доске, который захватил его на минуту и потом сра-

зу же отпустил. Теперь страх жил внутри, как червь, и сосал, сосал... Павлуха стоял теперь на твердой земле, а опоры не было. На той доске – была, а сейчас так и тянет оглянуться, прикрыть лицо, спрятаться от провала.

Провалился случайно. Не в свое время вернулся с работы хозяин квартиры, встретил Павлуху на лестнице, узнал свой чемодан и зашумел. Сбежались жильцы. Били по чему попало, пока не пришла милиция, еле вырвала из рук, до того озлобились мужики и особенно бабы. Одна женщина, старенькая уже, все забегала вперед, плевала ему в лицо и кричала: «Фашист! Фашист! Последнее унес!» Отошли синяки, забылась боль, а крик ее помнится.

Почему он стал задумываться сейчас, в камере, он и сам не знал. Как бы там ни было, но Павлуха стал смотреть на себя вроде бы со стороны, как будто отошел шага на два от койки, взглянул на лежавшего заключенного Утина и подумал: «А что ты за человек? Почему ты здесь? Что с тобой дальше будет?»

Наверно, помог Утину взглянуть на себя со стороны и Анатолий. Он заставил задуматься не словами, которые говорил при откровенных разговорах один на один. Слова были знакомые, схожие с теми, которые Утин уже слышал не раз. Но было в голосе Анатолия, в глазах его что-то, чему нельзя было не поверить.

Может быть, поэтому его слова не забывались, как другие, а уходили с Утиным в камеру, жили там с ним, ворочались в голове, отвоевывая более прочное место.

Он менялся, сам того не желая. Даже в актив он пошел из шкурных соображений – надеялся смягчить свою участь рецидивиста. Все, что он делал как участник игры в соревнование, было оправдано этой целью. Проверая, как выполняются условия соревнования, он был строг и непримирим, придирался к пустякам, со злостью отстаивал интересы своего этажа при подведении недельных итогов.

Трудным было первое выступление против своего же воришки, уличенного в драке с соседом по камере. Хотя нарушение называлось мягко – «нетоварищеский поступок», но каралось строго. На это было направлено особое внимание воспитателей – подрубить в корне один из подлейших «законов» уголовного мира: произвол сильного, право глумления над слабым.

Раньше Утин считал бы правильным покрыть виновного, сбить администрацию с толку. Но тут речь шла об интересах всего этажа. Из-за одного провинившегося скинули два балла. Ребята лишились удовольствия поиграть в пинг-понг. Проступок одного ударил по каждому. Это уже было не просто нарушение

дисциплины, установленной сверху, а подвох всему коллективу. За поступки, которые шли во вред всем, раньше наказывали сами – били так, чтобы запомнил надолго. Сейчас такая расправа стала невозможной.

Утин первым выступил на собрании, обсуждавшем драку, и строже других осудил виновного. И меру наказания предложил самую чувствительную. После этого долго не мог заснуть, решал – так ли поступил, как надо было по-честному, или продался администрации за будущую характеристику? Пришел к выводу, что говорил правильно и дело не в характеристике.

Выступать он стал все чаще. К его голосу прислушивались остальные. Ему стали подражать. Шкурные мысли, толкнувшие его на участие в игре, заменились другими. Иногда кто-нибудь из новичков, ошарашенный разговором на собрании, злобно напоминал ему: «Погоди, попадем в одну зону, там тебя поучат». Утин только усмехался. Колонию он знал, и запугать его было трудно.

Особенно часто стал приходить на память один давний разговор на этапе. Случай свел Павлуху на нарах со старым человеком, сидевшим неведомо сколько и неведомо по каким делам. О себе он так ничего и не сказал, а говорил долго. Чем-то ему Павлуха приглянулся, стал расспрашивать, вытянул всю Павлухину биографию и, помолчав, повел разговор неожидан-

ный и странный.

– Выходит, ты вор – так о себе думаешь?

– А кто же еще? – удивился Павлуха.

– Нет, сынок, ты не вор. Ты фраер, малость только подпорченный. А до вора тебе далеко. Воров ты еще не видал и не знаешь.

– Ну да, не видал, окажешь тоже.

– А ты не звони, ты слушай. Воры – те, которые блатари или урки, называй как хочешь. У них свой суд, без прокуроров и адвокатов, кто сильнее, тот и судит. Больше всего бойся под их суд попасть. Ты, может, от кого слышал или в кино смотрел про воров в законе. У них мол, и честь своя, и слово свое. Не верь. И что по любви или по другой причине такой блатарь может завязать и на честную жизнь выйти – тоже не верь. Всей правды о них никто не знает.

– А ты знаешь?

– Не знал бы, не говорил. У настоящего блатаря нет чести, и слова нет, начисто души нет.

– Так уж и нет, – засомневался Павлуха.

– Начисто нет. Блатарь чем живет? Обманом живет. Еще подлостью живет. Он и фраеров жмет, и своих, кто послабее. Все на него работают. У блатаря один друг – нож. Кого хочешь продаст – и бабу, с которой спит, и мать родную. Ты мне поверь. Я их повидал. Видал, как права качали, – глаза живому выкалыва-

ли. Вот таких пацанов, как ты, тоже заставляли ножом расписываться – по мертвому. Блатарь и сына своего в воры готовит, и дочку на улицу пошлет, деньгу защищать.

Странный дядька долго молчал. Павлуха думал, что он заснул, но услышал еще.

– Знали бы судьи все о ворах в законе, они бы другой меры, как расстрел, и не давали бы. Потому как блатарь до смерти блатарь. До смерти враг всем. Ему сколько не дай, он своего дождется, и опять за старое. Его к этому урки с малых лет приучали. Все вышибли – и совесть, и жалость к людям. Они никого не жалеют – ни старух, ни детишек. Ты остерегайся. Поворачивай, пока не поздно. Нет жизни страшнее и грязнее, чем у них. Они и не люди, и не звери – твари вроде глисты. Лучше петлю на себе затянуть, чем самому блатарем стать. Ты мне поверь.

Долго еще говорил сосед по нарам, рассказывал жуткие истории о кровавых расправах, о лжи и коварстве, которые правят преступным миром. В конце концов добился своего – Павлуху затрясло от страха. Он так и не заснул в ту ночь.

Утром их развели, старика он больше не увидел, а разговор ночной застрял не в памяти даже, а поглубже.

Ужас, пережитый в ту ночь, переплетался сейчас с

новыми мыслями, навещавшими Павлуху. Все в нем восставало против судьбы блатаря. Он вдруг почувствовал, что очутился посредине, от одних отстает, к другим не пристал.

Другие перли на него со страниц газет. Смотрели с фотографий, обращались к нему в статьях. Сколько их! Живут, зарабатывают, учатся. Куда как веселее живут, чем Павлуха Утин, который лежит на койке. И не боятся никого. И ездят куда хотят. И танцуют, и выпивают. Сравнивал себя с ними Павлуха и так и этак, выходило, что хуже ему, чем другим. Так плохо, хоть реви. Мысли вытягивались длинные, одна за другой, то обрываясь, то снова всплывая как в тумане и постепенно проясняясь.

Так, наверно, прокладываются первые борозды по целине, как будто случайные, неуверенные, идущие в никуда.

– Генка! Ты чуть школу не кончил, книжки читал. Как ты про себя наперед думаешь?

И Гена, и Шрамов, и Серегин изумленно повернулись к Утину. Таких разговоров они между собой никогда не вели.

– Что значит «наперед»? – спросил Гена, польщенный, что необычный вопрос адресован ему.

– Что ж ты так и собирался всю жизнь фарцовкой прожить?

– Что я, дурной? Фарцовка это так – игра фантазии, несчастная случайность. Кончу школу, пойду в институт, стану горным инженером.

– На три года сядешь, будет тебе институт, – с удовольствием напомнил Серегин.

– Не дадут, скоро я отсюда выйду.

Утин смотрел на гордое, красивое лицо Генки, и опять ему хотелось двинуть фарцовщика по уху.

– Думал, значит, наперед, – сказал он. – В институт собрался. А вором стать не хочешь?

– Грязная работа, – презрительно скривил губы Генка. – Для дураков.

У Павлухи даже кулаки сжались, подвернул под себя, чтобы не дать им хода.

– А фарцовка думаешь – чище? – язвительно спросил он. – Вор он и есть вор, каждому понятно. А у иностранцев клянчить – битте, мол, дритте, без ваших заграничных подштанников жить не могу, за рупь купить, за два продать – это уж последнее дело, все равно что самому себе в харю высморкаться. Ты перед ними на коленки не становился?

– Перед кем? – не понял Гена.

– Перед иностранцами.

– А зачем?

– Чтобы подешевле кальсоны продали, или носки, чем ты там спекулировал.

Вовка Серегин от смеха стал кататься по койке. До сих пор он относился к Генке со злобным уважением, и был рад, что Павлуха так ловко раздел этого маменькиного сынка.

Гена молчал. Презрение воров было неожиданным и оскорбительным. Он сам презирал их, рисковавших свободой ради жалкой добычи. Он был уверен, что его соседи по камере понимают особый, «красивый» характер совершенного им преступления. Вестибюли гостиницы «Интуриста», рестораны, музыка, изящные вещи – разве все это можно сравнить с жалкими хазами, скупщиками краденого, дешевыми попойками. И вдруг...

– Есть воры поумнее тебя, и одеваются чище, – добавил Утин.

– Видал я одного в театре, – вспомнил Генка. – Кому-то в карман залез. Сам в смокинге, рубашка – люкс. А как схватили его, как отодрали галстук вместе с куском рубахи, – позеленел весь и...

– Это хуже нет, когда не милиция, а граждане хватают, – философски заметил Утин. – А ты, Ленька, как ты о себе думаешь?

Шрамов застеснялся, стал ковырять пальцем подушку.

– Я и не думал.

Серегин подпрыгнул от радости.

– Верно, Ленька! Чего нам думать?

– Заткнись, дурак, – остановил его Утин. – Как же это не думаешь? Собака и та думает. О жратве думал?

– Ну, думал.

– А как жить будешь, когда вырастешь, не думал?

– Не...

– А надо бы, – строго сказал Утин и опять уткнулся в газету.

Серегин подмигнул Шрамову и, кивая на Павлуху, повертел пальцем у лба. Поведение Утина было непонятным и удивительным.

Открылась глухая форточка у двери. Привезли обед.

17

По ночам Марат Иванович плакал. Этого никто не знал. Засыпал он быстро, но часа через два без всякого дремотного перехода возвращался в явь, и тут уж никакие таблетки помочь не могли. Мысль работала четко. Память услужливо включала яркие лампы, освещавшие прошлое.

Оба сына, погибшие на войне, приходили к нему во всей осязаемости живой плоти, и он разглядывал их,

то каждого отдельно, то вместе, разговаривал с ними, слушал их голоса. Он вновь переживал их детские болезни, волнения в дни экзаменов, радости семейных праздников. Он улыбался им, они улыбались ему. И какая-то мелочь – зря сказанное обидное слово или мимолетная ласка, оставшаяся без ответа, – вдруг перехватывала дыхание и требовала оскудевших стариковских слез.

Ночь истекала по каплям. Марат Иванович лежал недвижимо, смотрел в одну точку на стенке и перебирал знакомые мысли. С тех пор как он заставил себя не выказывать своего горя и держаться на людях вровень с остальными, его поражало равнодушие, глупость или злая воля тех, кто не ценил великого счастья – иметь живых сыновей.

В подшефных ребятах, в их поведении, в жестах и словах, он подмечал то общее, что роднит, наверно, всех мальчишек на свете и что напоминало ему его сыновей. Он не мог без активного возмущения смотреть, как калечат этих ребят. Незатихающая отцовская боль гнала его из квартиры в квартиру, из одного учреждения в другое, заставляла вмешиваться в семейные отношения посторонних людей. Он знал, что в районных и городских организациях его не любят, считают одним из тех неприятных чудаков пенсионеров, которые от нечего делать беспокоят занятых лю-

дей мелочными жалобами и пустопорожными проектами.

Некоторые должностные лица при его появлении старались отгородиться секретаршами, другие при разговоре с ним еле сдерживали зубовой скрежет. Но в то же время он чувствовал, что в этих учреждениях его побаиваются. Сила его была в том, что он ничего не просил для себя. И говорил он так, что с ним нельзя было не соглашаться, а согласившись, трудно было ему объяснить, почему не все правильные выводы из правильных мыслей можно претворить в жизнь.

В прошлом главный бухгалтер крупного завода, Марат Иванович привык к строгой арифметической логике сбалансированных величин. Какие бы сложности ни возникали в производственной жизни завода, все они в конце концов отражались в подшитых документах и были доступны количественному анализу. Может быть, поэтому так упрямо старался Марат Иванович подчинить проблему детской безнадзорности системе, документам учета и контроля.

Бессонное ночное время топчется на месте. До рассвета далеко. Торопиться со своими мыслями некуда. Можно снова перетряхнуть их, проверить на ясность.

Ни один человек не возражает против его доводов. Все соглашаются, даже этот суховатый воспитатель,

который держит под замком Леньку Шрамова. Соглашается и держит. Он, собственно, ни при чем. В том-то и беда, что никто ни при чем.

Был такой разговор с одним деятелем.

– Поймите вы, дорогой товарищ, что если мы не привлечем к уголовной ответственности родителей Леньки, через месяц-другой попадет в тюрьму еще один мальчонка, его младший брат Валерик.

– На то и общественность, школа, – отвлеките, воспитывайте.

– Я потому и пришел к вам, который раз прихожу, что не может общественность ничего со Шрамовыми поделать. В этом деле без вашей поддержки общественность – одно название.

– Жмите на милицию.

– Да что толку! Приходил участковый, пугал, а им хоть бы что. «Где это написано, спрашивают, что нельзя дома водку пить и в картишки переброситься?» Нет у милиции никакой возможности.

– И у меня нет. Пока они ничего противозаконного не совершили, нельзя их трогать.

– Как же ничего не совершили?! Сына своего воровать научили, под суд подвели, и ничего не совершили?

– Нет доказательств, что они учили воровать.

– Какие вам еще доказательства нужны, если пар-

нишка в тюрьме?

– Свидетели нужны, вещественные доказательства. Вещей ворованных у них не нашли,

– Свидетели их боятся, потому и молчат. А вещи он на стороне продавал, зато деньги ворованные принесли.

– Деньги без примет, опять же не докажешь.

– Значит, будем ждать, пока Валерка проворуется?

– Ставьте вопрос о лишении прав.

– Ставили. И для суда доказательств мало.

– Вот видите!

– Неужели вам неясно, что не может мальчишка виноватым быть сам по себе, что всегда кто-то из взрослых главную вину несет?

– Мне ясно, но для закона такой ясности маловато.

– Значит, жди, пока появится новый преступник.

Уму непостижимо!

– Я понимаю вас, товарищ Антиверов, но нарушать закон нам никто не позволит.

– Какой же это закон? Это безобразие, а не закон. Почему пожарная инспекция штрафует администрацию предприятия за нарушение противопожарных правил до появления огня, а горящего ребенка мы начинаем спасать, когда вся его душа в ожогах?

– Я не пожарный.

На том разговор и кончился. Прав этот Анатолий

Степанович – какой прок от учета, от прогнозов, если все остается по-старому! Вот попасть бы на прием...

Марат Иванович часто представлял себе, что его принимает для откровенной, доверительной беседы кто-нибудь из руководителей партии. Принимает один, без секретарей и референтов, не ограничивая во времени. Сидят они друг против друга, и Марат Иванович силой своих аргументов заставляет собеседника забыть на сколько-то минут о других государственных делах, даже о международной политике, и задуматься над судьбой несчастных подростков.

Прежде всего рассказал бы ему Марат Иванович о проекте охраны морального здоровья, об Ольге Васильевне. «Почему бы, – спросил бы он напрямик, – не ускорить это дело? Чего ждать? Пока вырастет еще одно поколение преступников? Денег жалеете? Так ведь это липовая экономия». И он обязательно привел бы в пример аналогию, близкую ему по прежнему опыту.

Вот работает большой завод. Выпускает отличную продукцию. И тут же рядом течет тонкий ручеек брака. Хоть в общем балансе он невелик, но вред от него немалый. И на фирме – пятно. Есть все возможности избавиться от брака. Нужно только подойти по-серьезному, изучить причины, нацелить людей, затратить нужные средства. А вместо этого строят цехи для

исправления, переплавки и перековки бракованной продукции. Разумно это? А ведь с несовершеннолетними правонарушителями дело именно так и обстоит. Вместо того чтобы бросить все силы на устранение причин, мы тратим деньги на исправление, перевоспитание, наказание... Много предложений высказывает Марат Иванович. Он сам чувствует, что злоупотребил гостеприимством. Но много еще неясного, многое нужно обсудить... Наконец они приходят к полному согласию. Можно уходить со спокойным сердцем... Марат Иванович видит, как посветлели на обоях серебряные завитушки. Пошел седьмой час. Пора вставать.

18

В крошечной передней негде было развернуться. Гости сталкивались, извинялись, впритирку проталкивались вперед, но в комнате тоже было тесно, стулья занимали на двоих. Регулировал движением Илья, чувствовавший себя здесь старожилом. Антошка конструировала условные сиденья из книг и географических атласов. Для Анатолия она приберегла низкий спрессованный пуфик, а сама пристроилась рядом на коврике, поджав ноги и выставив коленки.

Анатолий пришел нехотя, только потому, что очень просила Ольга Васильевна. Времени у него было в обрез, да и ничего полезного для себя от обещанной репетиции он не ждал.

Оглядев собравшихся, Анатолий увидел много новых лиц, в большинстве – молодых, видимо студентов. Пришли и пожилые, по виду – учителя. Ольга Васильевна, сидевшая за маленьким столиком, отодвинутым к окну, поймала его недовольный взгляд и приветливо улыбнулась.

– Начнем, – сказала она. – Сегодня нас почтит своим присутствием представитель педагогической науки Афанасий Афанасьевич Воронцов. По поручению роно он познакомится с нашими замыслами и, надеюсь, выскажет свое мнение. Нам оно бесспорно пойдет на пользу.

Кто-то сдержанно хмыкнул. Мелькнули и исчезли иронические усмешки. Должно быть, многие знали Афанасия Афанасьевича.

Анатолий не сразу узнал своего тестя, – лицо его было в тени. Когда глаза их встретились, они оба удивились, – ни тот ни другой не чаяли этой встречи.

Антошка подтолкнула Анатолия и прошептала: «Красивая у меня мамка. Правда?» Анатолий кивнул. Ольга Васильевна действительно выглядела праздничной, помолодевшей. Ее угловатое нервное лицо,

всегда отражавшее душевную неуспокоенность, сегодня было радостным. Видно было, что ей приятны собравшиеся люди и сам предмет предстоящего разговора.

– Мы исходим из того, – говорила Ольга Васильевна, – что моральное здоровье человека, его мысли, чувства и поведение, в такой же мере зависит от воздействия внешних условий, как и здоровье физическое. Управляя этими условиями, устраняя вредные и создавая полезные, мы смогли бы уберечь всю нашу детвору, всю, без единого исключения, от моральной кори, скарлатины и паралича. Мы всяко обсуждали эту проблему, и фантазировали, и подсчитывали...

– И ругались, – к общему удовольствию добавил Марат Иванович, сидевший среди почетных гостей у стола.

– И это было, – согласилась Ольга Васильевна. – Но в конце концов пришли к некоторому согласию. Вообще, должна заметить, все оказалось гораздо сложнее, чем это нам казалось вначале. И мы не считаем, что все трудности преодолены даже в теории. Но для того чтобы двигаться вперед, нужно не только разговаривать, но и шагать. Мы набросали черновик будущей системы и для проверки решили провести сегодняшнюю репетицию. Вот, пожалуй, и все, что мне хотелось сказать, прежде чем мы приступим...

– Достаточно! Приступим! – нетерпеливо поддержала ее молодежь.

– Да, еще два слова, для непосвященных. Чтобы все выглядело более наглядно, мы выбрали конкретный район нашего города. Итак, слово предоставляется заведующему районным отделом охраны морального здоровья Андрею Симбирцеву. Прошу, Андрей.

Этого высокого сутуловатого парня Анатолий как-то видел у Ольги Васильевны. Симбирцев тогда ни слова не сказал, но его смуглое лицо и пытливые, думающие глаза запомнились. Бывший ученик Ольги Васильевны, он перешел то ли на четвертый, то ли на пятый курс университета.

Симбирцев пробрался к столу, косо взглянул на Ольгу Васильевну, словно бы ожидая подсказки.

– Начинай, Андрей, – ободрила его Ольга Васильевна. – Расскажи, из кого состоит твой отдел, как организована работа?

– Комплектуя штат отдела, – деловым голосом докладчика начал Симбирцев, – мы исходили из того, что органы здравоохранения уступят нам часть своей невропатологической службы, и в первую очередь ту ее часть, которая связана с аномалиями детского и юношеского возраста. Поэтому у нас в штате один психиатр. Далее. Один юрист, психолог, социолог и два методиста-воспитателя. Вот, собственно, и весь

штат.

– А учет?

– Да, есть еще сектор учета. Его штат мы еще не определили. Думаю, двоих хватит.

– Мало!

– Достаточно. Нужно иметь в виду, что хотя на учете у нас состоят все дети района без исключения с момента их рождения, но абсолютное большинство потребует от нас лишь пассивного контроля.

– Все равно двоим не справиться.

– Не будем спорить о частностях, – просительно сказала Ольга Васильевна.

– Огромное большинство ребят растет в морально здоровой обстановке и активного вмешательства от нас не потребуют. Точно так же, как не требуется повседневная медицинская помощь большинству детей. Главная наша задача – своевременно выделить, взять под наблюдение и охрану ту группу, которая еще не стала, но может стать трудной. В этом, по существу, коренное отличие предлагаемой системы от существующей ныне, когда трудными начинают интересоваться после того, как трудность определилась,

– Это очень важно, товарищи! – не удержалась и перебила Андрея Ольга Васильевна. – Вся наша беда сейчас в том, что мы начинаем тратить огромную энергию, большие средства с опозданием. Вместо то-

го чтобы предупредить болезнь, мы начинаем лечить ее в запущенном состоянии. Прости, Андрей, продолжай.

– Сколько бы у нас ни было людей в штате, мы не смогли бы решить эту задачу: выявлять и контролировать своими силами. Поэтому наша служба опирается на широкий общественный актив, тот самый актив, который создан и создается сейчас почти в каждом городе. Но в настоящее время эта общественность работает кустарно, в порядке филантропии что ли, без научного и организационного руководства. Они бесправны и часто беспомощны. Коэффициент полезного действия у них очень низкий. Картина резко изменится, как только ими станет руководить райотдел. Сигналы с мест, информация, полученная из квартир и домов, из детских садов и школ, помогут нам сосредоточить внимание на угрожающих участках, находить очаги аморальной инфекции и принимать экстренные меры, – Симбирцев остановился и обернулся к Ольге Васильевне.

– Хорошо, Андрей, пока достаточно. Садись, – по школьной привычке сказала Ольга Васильевна.

Садиться было некуда, и все рассмеялись. Антиверов попробовал уступить часть своего стула, но из этого ничего не вышло. Симбирцев прислонился к стене.

– Продолжаем. С места поступает сигнал. Прошу вас, Марат Иванович.

На столе перед Антиверовым лежали знакомые Анатолию карточки и исписанные листки. Предложение Ольги Васильевны словно застало старика врасплох. Пальцы его дрожали сильнее обычного. И на лице была взволнованность, как будто он собирался докладывать какому-то учреждению.

– До того как был создан наш отдел... – Пронесся ветерок сдержанного смеха. Антиверов оглядел аудиторию непонимающими глазами и продолжал: – Мне по моему кварталу пришлось вести и учет и контроль самому. Это вам известно. Но сигнализировать было некому. И получился пшик. Сейчас я обращаю ваше внимание на нижеследующие факты. Они у меня изложены на бумажке. Пожалуйста, – Антиверов протянул два листка Ольге Васильевне, но она повернулась к Симбирцеву.

– Принимайте, товарищ заведующий. А вы, Марат Иванович, коротко изложите их содержание, чтобы все слышали.

– Факт первый, – на память стал излагать Антиверов. – Юра Суровцев. Пять лет. Родители молодые, интеллигентные люди. Оба работают. Юра был в детском саду, но вскоре его забрали домой. Он не уживался с ребятами, не слушался воспитательниц,

при малейшем принуждении заливался истерическим плачем. Сейчас он целые дни на попечении бабки – глупой, религиозной старухи. Ребенок растет грубым, капризным, своевольным.

– Достаточно! – остановила его Ольга Васильевна. – Твое решение, Андрей.

– Мы поручили нашему психиатру Тане Коломиной обследовать ребенка. Прошу, Таня.

Пухленькая девушка в очках с толстыми стеклами отрапортовала скороговоркой, как вызубренный урок.

– Я познакомилась с документацией в детском саду и поликлинике. Обследовала ребенка. Никаких расстройств нервной системы у Юры не обнаружено. Чрезмерная возбудимость и некоторая истеричность патологической основы не имеют.

Девушка покраснела и уже собиралась опуститься на свое место, но Ольга Васильевна ее остановила:

– погоди, Таня. А какие твои рекомендации?

– Проверить условия домашнего воспитания. Это дело методиста.

– Хорошо, садись. Что предпринято дальше? Я тебя спрашиваю, Андрей.

– Мы направили к родителям Юры воспитателя-методиста, Алексея Тихоновича.

– Прошу вас, Алексей Тихонович, – с особой почтительностью обратилась Ольга Васильевна к сидевше-

му на отдельном стуле пожилому, болезненного вида мужчине.

– Я посетил родителей Юры. Очень милые люди, но абсолютные невежды в педагогическом отношении. Ребенок избалован до крайности. Воспитание ведется по каким-то диким принципам полного невмешательства. Потворство выдается за чуткость. Наказание считается пережитком варварства. Мы долго беседовали. Кажется, они меня поняли и встревожились. Составили план постепенной перестройки взаимоотношений. Очертили круг обязанностей Юры. Кстати, он произвел на меня неплохое впечатление. Условились, что через две недели я приду снова и договоримся о дальнейшем. Ближайшая задача – нейтрализовать бабку и сделать его контактным для детского сада.

– Благодарю вас, Алексей Тихонович. Какое решение райотдела?

– Держать на оперативном контроле, пока не будем уверены, что ребенок вошел в норму. Потом переведем на общий контроль.

– С сигналом номер один мы закончили, – сказала Ольга Васильевна. – Перейдем ко второму. Прошу, Марат Иванович.

– Второй... Этот случай потруднее. Есть такой Леня Шрамов.

Анатолий ощутил взгляд Ольги Васильевны. Вот почему она так настаивала, чтобы он стал свидетелем репетиции. Она торопила его с вмешательством в судьбу Шрамова. И Антошка надавила локтем, призывая к вниманию. Она отсидела ноги и передвинулась так, что опиралась теперь на колени Анатолия. Из дальнего угла на нее мрачно поглядывал Илья Гущин.

– В первом случае мы имели дело с ребенком, у которого только обнаружены задатки трудного, – говорил Антиверов. – Со Шрамовым хуже. Он ждет суда. Мы решили проверить, как устроилась бы его жизнь, если бы наш райотдел существовал года четыре назад. Именно в это время я познакомился с этим мальчиком, взял его на учет и стал сигнализировать. Куда только ни писал, но толку не добился. Мальчик тонул на моих глазах, а помочь ему я не мог.

– Марат Иванович, – прикоснулась к его руке Ольга Васильевна, – забудем о прошлом. Начнем с того, что вы свой сигнал направляете в районный отдел охраны морального здоровья.

– Так точно. Я пишу в отдел, что в соседнем доме, в квартире шесть, живет семья алкоголиков и распутников, развращающих двух мальчишек.

– Андрей, ты получил заявление. Что предпринимает отдел?

– К такого рода сообщениям мы относимся как к сигналам бедствия. По аналогии можно сказать, что для нас это то же, что для райздравотдела сообщение о случае холеры или оспы. В тот же день по указанному адресу (условно, конечно, поскольку мы этот случай разбираем ретроспективно) выехала бригада, состоящая из социолога, воспитателя, юриста. На месте они привлекли в помощь автора заявления, в данном случае – Марата Ивановича.

– Кто у нас социолог? – спросила Ольга Васильевна.

– Наташа Артемьева.

Совсем молоденькая девушка выдержала направленные на нее взгляды, только прищурила подкрашенные реснички и заговорила с вызывающей серьезностью.

– Уже первое, поверхностное обследование показало, что семья Шрамовых – опасный очаг безнравственности. Оставляя в стороне анализ причин моральной деградации взрослых членов семьи...

– А почему, собственно, вы оставляете в стороне этот анализ? – спросил вдруг Афанасий Афанасьевич.

– Потому что... – Наташа растерялась.

– Потому что мы ограничили функции нашего отдела охраной детей, подростков, юношей, – пришла на

помощь Ольга Васильевна. – Проблема морального оздоровления взрослых имеет свою специфику и требует особой разработки.

– А не от робости вы это говорите? – с улыбкой спросил Афанасий Афанасьевич.

– Именно от робости, товарищ Воронцов. Слишком смелое вторжение в жизнь взрослых может привести к разгулу ханжества и административному произволу. А если мы обеспечим моральное здоровье всего подрастающего поколения, мы тем самым вырастим взрослых, не нуждающихся в такой помощи. Сама проблема отпадет.

– У вас не вяжутся концы с концами, – как бы про себя проронил Афанасий Афанасьевич и что-то записал в маленьком блокнотике, потонувшем в его пухлой ладони.

– Дискуссия в конце. Дадим возможность нашему социологу закончить сообщение. Пожалуйста, Наташа.

– Нам стало ясно: оставить детей в создавшейся семейной обстановке – значит приговорить их к моральной смерти. Мы составили акт и, забрав детей, вернулись в райотдел.

– Какие были предложения?

– Это я скажу, – вмешался Симбирцев. – О таком чрезвычайном случае мы информируем городской от-

дел охраны морального здоровья. В тот же день вопрос был вынесен на объединенное заседание ученого совета и юридической комиссии. Ученый совет состоит из специалистов городского отдела. Наши предложения сводились бы к следующему: немедленно изъять обоих мальчиков из семьи и лишить Шрамовых родительских прав. В порядке частного определения мы рекомендовали бы милиции и горздравотделу применить к ним принудительное лечение.

– Дальше, дальше, – поторапливала Ольга Васильевна. – Нас интересуют ребята. Какие были приняты решения? Где находились мальчики?

– Лене Шрамову тогда было одиннадцать лет. Мы поместили бы его в школу-интернат, находящуюся в распоряжении городского отдела.

– Отобрали бы у гороно? – тихо спросил воспитатель-методист, Алексей Тихонович.

– Наша служба не будет находиться в безвоздушном пространстве, – ответила Ольга Васильевна. – Мы будем работать в контакте с органами и народного просвещения и здравоохранения. Одна из школ и один из детских садов будут выделены специально для наших срочных нужд. Это не значит, что гороно освободится от организации учебного процесса в этой школе, так же как горздравотдел не будет отстранен от охраны физического здоровья школьников.

– Младшего мальчика дошкольного возраста мы поместили бы, – продолжал Симбирцев, употребляя глаголы в разных временах, – в детский сад, о котором только что сказала Ольга Васильевна. Что касается решений, то они были приняты юридической комиссией, а еще через несколько дней их оформили через суд и они получили силу закона. – Симбирцев сделал шаг назад и прислонился к стене.

– Теперь представим себе, что Андрею не пришлось бы докладывать предположительно, а все, что он говорил, произошло в действительности. Стал бы Леня Шрамов вором? Попал бы он в тюрьму?

– Нет! – хором ответили молодые голоса.

– Другой вопрос. Есть у нас уверенность, что младший брат Лени не пойдет под влиянием своих преступных родителей по тому же пути?

– Нет!

– Могла бы надежно оградить его будущее система охраны морального здоровья, если бы такая была?

– Да!

Сама того не замечая, Ольга Васильевна перешла на классную форму разговора, и великовозрастные «ученики» охотно отвечали на ее вопросы.

– Вы улыбаетесь, Алексей Тихонович. Хотя вы работаете с нами, но я вижу, что вас гложут сомнения.

– Дорогая Ольга Васильевна, – с робкой нежностью

ответил старый учитель, – вы забываете о тех изрядных расходах, которые потребуются для финансирования ваших отделов, школ, интернатов...

– Не только школ и отделов, Алексей Тихонович! Предвижу гораздо большие расходы. При министерстве Омза будут свои научно-исследовательские институты. Им предстоит разработать все социологические, психологические, педагогические аспекты науки о поведении человека. Нам не обойтись без науки о нравственном воспитании. От ученых будут ждать рекомендаций, книг, инструкций. Каждый шаг должен быть научно обоснованным. Будут и экспериментальные лаборатории, и факультеты для подготовки специалистов. Как видите, мы не наводим экономии.

– Спасибо за щедрость, товарищ министр, – поклонился Алексей Тихонович под общий смех.

– Это не щедрость, – заторопилась покрасневшая Ольга Васильевна. – Разумное перераспределение средств. Сразу же или вскоре после организации нашей службы отпадет необходимость в детских комнатах, в приемниках и в изоляторах для подростков, в колониях для подростков. А мало ли сейчас в разных ведомствах всяких штатных единиц, которым положено охранять детей и которые практически ничего сделать не могут? Возьмите карандаш и бумагу, прикиньте.

– Не берусь, – признался Алексей Тихонович.

– Это не трудно подсчитать. Значительно трудней другое. Тут уж без счетной машины не обойтись: предсказать, какую выгоду получит государство от того, что вместо воров, хулиганов, тунеядцев оно из года в год будет получать духовно здоровых, полезных обществу граждан. А заглянув лет на пять вперед, мы увидим еще более поразительные результаты. Когда постареют, или исправятся, или вымрут нынешние уголовники, начнут пустеть и колонии для взрослых преступников. Это неизбежно. Ведь пополнения из молодежи не будет. Не вырастет, никогда не вырастет их смена, если душа каждого ребенка будет под охраной.

Голос Ольги Васильевны окрасился той взволнованностью глубоко верующего человека, которая передается другим мгновенно, как электрический заряд. И выражение ее лица тоже передалось многим.

– Пришла пора, – заключила она совсем тихо. – Все созрело, чтобы покончить с преступностью в нашей стране. Это не утопия. Для общества, которое вступает в коммунизм, это закономерный процесс.

Кто-то вздумал аплодировать. Ольга Васильевна сердито махнула рукой.

– Я отвлеклась и злоупотребила правами председателя. У нас по ходу репетиции еще донесения дру-

гих постов. Слово предоставляется учительнице Людмиле Алексеевне Николаевой. Прошу, Людочка.

Поднялась еще одна молоденькая женщина с озабоченным лицом.

– Я хочу доложить об очень тревожном факте. Очень тревожном, – повторила она. – Учится у нас в седьмом «а» Зоя Клинкарева. Сидит в этом классе второй год. Учиться не хочет. Семья у нее неблагополучная, мать... – Людмила Алексеевна замаялась, – непорядочная женщина. Зоя попала в какую-то грязную компанию. Есть данные, что она не только курит, но и выпивает, и еще ужасней – пристрастилась к азартным играм. В общем, девушка гибнет на глазах. Школа старается от нее избавиться, чтобы оградить других от ее влияния. Ей натягивают отметки, чтобы выдать свидетельство и спихнуть куда угодно. Как только она уйдет из школы, будет потеряна последняя возможность контроля над ее судьбой. И судьба у нее будет ужасной...

Людмила Алексеевна села, спрятав лицо за спиной соседей. Очень долгими показались секунды общего молчания.

– Вот перед нами случай, требующий неотложной помощи, – сказала Ольга Васильевна. – Случай показательный для нынешнего положения вещей. Семейный и школьный контроль дал осечку, а бывает это

нередко, и заменить его нечем. Зоя Клинкарева оказалась в одной из мертвых зон... В такие зоны, как правило, нога воспитателя не вступает. Самое печальное, что практически для ее спасения очень мало что можно сделать. Из школы она, конечно, уйдет. А дальше – повезет не повезет. Попадется ей на пути сильный друг, человек добрый и энергичный, может быть, она и выправится. Не попадется – покатится наша Зоя вниз... А как бы ты поступил, Андрей, если бы твой отдел был реальностью и ты получил бы такой сигнал?

Андрей подошел к столу.

– Если бы отдел Омза был реальностью, то и самого факта не было бы. Зоя была бы у нас на контроле. Мы бы давно разобрались в ее отношениях с матерью и уж во всяком случае не допустили бы никакой грязной компании. Такие компании ликвидировались бы в зародыше... Ну, а сейчас... Прежде всего мы провели бы обследование... Затем мы потребовали бы от милиции раскрыть тот притон, где растлевают Зою. Я уверен, что там орудует кто-нибудь из взрослых негодяев.

– Правильно, – поддержала Ольга Васильевна. – Следить за тем, чтобы ни один взрослый совратитель не остался без сурового наказания, – одна из главных задач Омза. Дальше, Андрей.

– Оборвав таким образом вредные связи, мы бы за-

нялись устройством судьбы Зои.

– Конкретней.

– Мне трудно так сразу... Я думаю, что в школе ее оставлять нецелесообразно.

– В интернат!

– На завод, в хорошее общежитие! Предложения посыпались с разных сторон. Ольга Васильевна дождалась тишины и сказала:

– Так, с ходу, не поговорив с девочкой, не поработав с ней, решение принимать нельзя. Вероятно, кроме нынешних школ, будут созданы и другие, промежуточного типа, нечто среднее между нормальной и так называемой специальной. В таких случаях очень важна точная дифференциация. Без помощи ученых тут не обойтись. А пока ясно одно: для Зои нужно найти замену оборванным связям, и прежде всего умного взрослого шефа. Вокруг нас – постоянный резерв сердечных, деятельных людей, опытных воспитателей. Сейчас они рассеяны по белу свету и только случай сводит их с теми, кто в них нуждается. А Омз всех их возьмет на учет. Прикрепив такого шефа к Зое, мы окажем ей моральную поддержку, которая так необходима подросткам в трудную минуту.

– А что мы сейчас можем сделать?

– Я уже сказала – очень мало. Придется попросить Марата Ивановича, хотя Зоя живет не на его участке,

заинтересоваться ее семьей и связаться с милицией.

– Да меня и слушать не будут, – возразил Марат Иванович, – скажут – преувеличиваю, нет оснований, девочка ничего плохого не сделала, никого не убила, не ограбила, вот когда ограбит...

– Ну ладно. Об этом мы поговорим потом. Вернемся к репетиции. Доклад поста из общежития механического завода.

К столу подходили и докладывали посты: о коменданте общежития, выгнавшем в ночь на улицу какого-то паренька за пустяковую провинность; о бригадире, который позволяет ученикам делать на заводе кастеты и гоняет их за водкой; о подростке, который вышел из колонии и не может устроиться на работу; о ватаге хулиганящих парней, не знающих, как убить время. После каждого доклада Ольга Васильевна сравнивала возможности, которые существуют сейчас для того, чтобы выправить положение, с теми, которые будут у органов Омза. Выходило, что будет несравненно лучше. И все радостно улыбались, а иногда хлопали в ладоши.

– Прежде чем перейти к общей дискуссии и подведению итогов нашей репетиции, – сказала Ольга Васильевна, – я попрошу нашего уважаемого гостя поделиться своими мыслями по поводу того, что он здесь услышал. Прошу, Афанасий Афанасьевич.

Солидно помолчав и покашляв, как будто пробуждая голосовые связки, Афанасий Афанасьевич окинул взглядом аудиторию:

– Мне уже пришлось знакомиться с общими идеями, изложенными в одной статье, которая, увы, не увидит света, идеями, так сказать, положенными в основу того представления, которое развернулось в столь блистательном исполнении. Я не буду злоупотреблять вашим вниманием и повторять аргументацию, развернутую мной в рецензии на упомянутую статью, и ограничусь некоторыми замечаниями и мыслями, возникшими у меня в ходе вашей репетиции. Кстати, название для данного мероприятия выбрано, на мой взгляд, весьма удачно (я имею в виду термин «репетиция»), поскольку его действительно можно рассматривать с позиций театральной условности, как некий фантастический спектакль, любопытный по замыслу и не имеющий ничего общего с реальной проблематикой наших дней.

Первые фразы Афанасия Афанасьевича гулко падали в тишину напряженного внимания. Но потом возник шумок, который так и не прекращался, то снижаясь до мушиного жужжания, то поднимаясь до многоголосого гула со звонкими восклицаниями и вопросами.

– Нельзя ли пояснее?

– Ближе к делу!

Афанасий Афанасьевич осекся и недоумевающе посмотрел на Ольгу Васильевну.

– Вы извините, Афанасий Афанасьевич, – сказала она, – я забыла вас предупредить, что на наших репетициях не принято обмениваться речами. Когда у слушателей возникают возражения или вопросы, они прерывают оратора, не дожидаясь конца его выступления. Это экономит время.

– Так разговаривают на базаре, – сказал Афанасий Афанасьевич, удивленно приподняв плечи.

– Может быть, поэтому на базаре всегда деловая обстановка, – заметил Андрей.

– Товарищи, прошу внимания, – постучала пальцем по столу Ольга Васильевна. – Вопросы и возражения тоже должны быть деловыми. Продолжайте, пожалуйста, Афанасий Афанасьевич.

– Хорошо, я буду предельно конкретным. То, что вы здесь надумали, – фантастика, причем фантастика вредная. Игнорируя колоссальный опыт коммунистического воспитания, отвергая испытанные формы и методы идеологического воздействия массовых организаций: профсоюзов, комсомола, пионерской организации...

– Простите, – перебила его Ольга Васильевна, – из чего это видно, что мы игнорируем опыт и отвергаем

воздействие?

– Это вытекает из вашей практики.

– Наоборот! Наша практика только и станет возможной, если мы будем опираться на опыт прошлого и на силу организованных миллионов людей.

– Вы хотите воспитательный процесс подменить административным вмешательством. Конечно, куда проще действовать через суд и милицию, чем кропотливо выращивать человеческую личность и пробуждать те добрые чувства...

– На сколько веков рассчитан ваш воспитательный процесс?

– Как развивать личность Ленки Шрамова и Зои Клинкаревой?

– Кто отвечает за тех ребят, что сегодня ждут суда и сидят в тюрьмах?

Все, что Афанасий Афанасьевич считал нужным высказать на этом сборище, он заготовил заранее. Вникать в детали дела, осужденного им в целом, он не собирался. Проще было встать на позицию искушенного оратора, не позволяющего сбить себя репликами с мест. Переждав град вопросов, он повернулся к Ольге Васильевне и развел руки, изображая горестное изумление.

– Странно и удивительно, что вы, Ольга Васильевна, опытная уважаемая учительница, махнули ру-

кой на проверенное веками духовное воздействие на юную душу и призываете заменить его мерами грубого административного принуждения.

По хорошо знакомому выражению лица своей учительницы Анатолий понял, как трудно ей слушать доцента Воронцова. Лавина гладких слов, так похожих на настоящие, полные смысла слова, грозила смять смысл спора, отбросить в сторону и похоронить те факты живой действительности, которые заставили их собраться в этой квартире.

Как всегда в таких случаях, Ольга Васильевна снизила голос и заговорила, отчетливо выговаривая каждое слово:

– Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хочу напомнить вам, что нет такой благородной идеи, которую нельзя было бы извратить. Можно и проектируемый Омз представить как некий принудительный, карательный орган, призванный ограничивать права граждан и навязывать сверху волевые решения. Как и в любую другую организацию, в Омз смогут затесаться карьеристы, болтуны, невежды. Но разве из страха перед такой возможностью следует отказываться от самой идеи?

– Не вижу нужды в самой идее.

– Погодите. Вспомним, о чем идет речь. Только о том, чтобы от слов перейти к делу. Например... Мы

много рассуждаем об ответственности родителей. Но мы не хотим считаться с тем фактом, что есть родители, которые просто неспособны, не в состоянии воспитывать своих детей. У них нет духовного контакта с детьми, нет и в помине нравственного воздействия. А разве вы не слышали о матерях и отцах, которые просто бросают детей на произвол судьбы? И ни статьями, ни лекциями мы таких родителей не образуем. Хотя бы потому, что они лекций не слушают и статей не читают.

– Нужно привить им вкус и к тому и к другому! – воскликнул Афанасий Афанасьевич. – И мы этого добьемся!

– Вы добьетесь, – подтвердил кто-то иронически, – из кандидатов в доктора пролезете.

– Сейчас же перестаньте! – пристукнула по столу кулаком Ольга Васильевна и поспешила продолжить свой ответ Афанасию Афанасьевичу: – Я не сомневаюсь, что придет время, когда все взрослые будут педагогически образованными и нравственно стойкими людьми, когда все учителя станут искусными воспитателями, а все члены Академии педагогических наук – мудрецами. Но мы не можем ждать. Не можем спокойно взирать на то, как одно поколение преступников сменяет другое. Не можем. Поймите это.

Последние слова Ольга Васильевна произнесла

совсем тихо. Глаза всех собравшихся были требовательно устремлены на Афанасия Афанасьевича. Он снисходительно усмехнулся.

– Утопия, Ольга Васильевна. У вас отличные побуждения, но привели они к беспочвенным мечтаниям.

– Да, мы мечтаем, – согласилась Ольга Васильевна. – Но мечта эта родилась на реальной почве нашего общественного строя. Мы предлагаем план практической работы. Может быть, он плох, наивен, – подскажите другой. Но нельзя топить, пусть даже незрелую, мысль в омуте демагогических обвинений. Мы уверены, что можно помочь сегодня, когда есть и плохие родители, и неважные учителя, и грубые мастера на заводах, и равнодушные чиновники. Уже сегодня можно послать наставника туда, где он необходим. Можно послать специалиста, чтобы распознать начало духовного распада и предотвратить трагедию. Только помощь! И не от случая к случаю, а помощь обязательную, скорую, повсеместную.

– Хороша помощь силами милиции и прокуратуры...

– Вы упрекаете нас в том, что мы рассчитываем на принуждение. Да, мы рассчитываем и на это. Но ведь принуждение принуждению – рознь. Советское государство принуждает посылать детей в школу. Оно

принуждает делать детям прививки от оспы. Оно принуждает платить алименты. Разве в таком принуждении не заложена высшая гуманность? Или вы против и такого принуждения?

– Вы разговариваете со мной как с одним из ваших учеников, – обидчиво заметил Афанасий Афанасьевич.

– А я и с учениками всегда разговариваю уважительно. Я хочу, чтобы вы поняли назначение Омза. В его основе должен быть единый, научно обоснованный и материально обеспеченный план нравственного воспитания. Его исполнителями будут не только добровольцы, хорошие, по существу ни за что не отвечающие люди, а крепкий аппарат специалистов, обладающих всей полнотой прав и несущих полную меру ответственности.

– Откуда у вас эта слепая вера в могущество аппарата?

– А без аппарата нет государства.

– Это не значит, что мы должны увеличивать этот аппарат для решения несвойственных ему задач.

Снова с нарастающей злостью из разных углов комнаты вырвались вопросы:

– Почему охрана морального здоровья – несвойственна государству?

– Почему государство должно заниматься судьбой

ребят, когда они стали преступниками?

– Сколько человек вы исправили своим духовным воздействием ?

Как бы не слыша вопросов, Афанасий Афанасьевич продолжал:

– Преувеличивая значение жалкой горстки преступников, вы собираетесь заменить какой-то высосанной из пальца службой давным-давно налаженную систему воспитания, которая обеспечивает моральное здоровье миллионам счастливых советских детей.

– Минутку! – повысила голос Ольга Васильевна. – Это нужно уточнить. Ничего заменять или отменять мы не собираемся. Органы охраны морального здоровья будут призваны укрепить существующую систему воспитания, сделать ее действительно всеобъемлющей.

– К чему тогда и огород городить? – снисходительно улыбаясь, спросил Афанасий Афанасьевич.

– А к тому, что мы не можем чувствовать себя счастливыми и благополучными, пока хоть один подросток находится за колючей проволокой.

– Это очень благородное побуждение, но нельзя забывать об объективных законах социального развития. Сознание людей всегда отстает от экономики. Процесс преодоления пережитков...

– Слова! Слова!

– По-вашему, детская преступность неизбежна?

– Значит, мы бессильны?

– Я этого не говорил. Ликвидация преступности записана в важнейших партийных документах. И за решение этой задачи все мы в ответе. Все мы должны бороться с равнодушием...

Шум заглушил голос Афанасия Афанасьевича. Только и слышались возмущенные выкрики:

– Старая песня! Слыхали!

– «Не будем равнодушны!», «Не проходите мимо!», «Будем чуткими, добрыми, умными»... Аминь!

– Когда говорят «все», на деле это значит – никто!

– Очень удобная позиция для тех, кто ничего не хочет делать!

Шум не утихал долго. Среди участников репетиции давно стали предметом издевки общие заклинания и безадресные обращения ко всем и каждому. Здесь не терпели рассуждений о проблеме личности и всяких других рассуждений, не отвечавших на конкретный вопрос: «Как спасти сегодня мальчишку, вставшего на преступный путь?»

Афанасий Афанасьевич терпеливо ждал, с невозмутимым видом перелистывая свой блокнотик.

– Можно продолжать? – спросил он Ольгу Васильевну.

– Прежде разрешите мне объяснить вам, почему

ваши слова вызывают такой протест у товарищей. Мы исходим из фактов. Перед вами прошли судьбы нескольких подростков, которым нужна помощь сейчас, немедленно. Что вы предлагаете?

– Конкретные судьбы – не моя область. Для этого существуют комиссии по делам несовершеннолетних и другие, хорошо вам известные организации. Моя задача принципиально оценить вашу затею. И я уверен, что вы отбрасываете советскую педагогику к Спенсеру и Герbartу. Вы игнорируете огромную роль субъективного фактора в нравственном воспитании личности. Вы отбрасываете приемы опосредованного влияния на поэтапное формирование нравственного идеала, этического идеала и общественного идеала. Целенаправленный и планомерно проводимый процесс воздействия воспитателя.

– Бред... ученого мерина.

Как-то так получилось, что непрекращающийся шум на мгновение затих и эти слова, негромко сказанные Ильей Гуциным, прозвучали вполне отчетливо. Афанасий Афанасьевич пресек свою речь, грозно нахмурился и стал пробираться к дверям. У выхода он остановился и сказал, обращаясь к Ольге Васильевне:

– Поскольку меня здесь не только не хотят слушать, но даже не могут оградить от оскорблений, я буду вы-

нужден высказать свое мнение о вашем балагане в другом месте и другим людям.

Хлопнула дверь. Все молчали.

– Нехорошо. стыдно, – сказала Ольга Васильевна, ни на кого не глядя. И пятна, выступившие на ее лице, подтверждали, что ей стыдно.

– Грубовато, – согласился Андрей, – но справедливо. И больше ничего не оставалось. Спорить с ним было бесполезно.

– Он из породы неисправимых.

– С ним никакой Омз не справится.

Ольга Васильевна подняла руку, призывая к порядку.

– Приступим к обсуждению.

Анатолий взглянул на часы. Ему давно нужно было быть в изоляторе. Но уйти сейчас никак нельзя было. Кто-нибудь мог подумать, что он покидает репетицию из солидарности с доцентом Воронцовым. Он остался.

19

Один из телефонных звонков достиг цели. Игоря Сергеевича принял помощник прокурора Юшенков. Звонок был из авторитетного учреждения, и хотя ника-

ких директивных указаний не содержал («выслушайте и разберитесь»), но уже сам по себе имел вес. Юшенков хорошо знал, что разговоры по некоторым телефонам важны не столько своим содержанием, сколько самим фактом состоявшегося звонка. В таких случаях за сказанными словами клубилась загадочная туманность неизвестных связей, переплетение чьих-то неведомых интересов и совсем уж непредвидимых последствий.

Конечно же никто и никогда не посмел бы даже намекнуть по телефону, чтобы он, Юшенков, поступился законом. Формулу «разберитесь» можно было скорее понять как требование соблюсти законность в высшей степени строго. Но Юшенков не первый год пребывал на прокурорских должностях, и ему не нужно было объяснять, что звонившего по телефону интересовал только один вопрос: нельзя ли как-нибудь, с помощью того же закона, на основании которого Геннадий Рыжов сидит в изоляторе, отпустить его домой?

Даже беглого знакомства с делом было достаточно, чтобы настроение у Юшенкова испортилось. Ничего утешительного Рыжову-старшему он сообщить не сможет. Об изменении меры пресечения не могло быть и речи. Папаша, разумеется, останется недовольным. Его недовольство разделят другие.

Теплых чувств к летчику, поставившему его в та-

кое трудное положение, Юшенков не испытывал, но встретил он посетителя сочувственной улыбкой.

Игорь Сергеевич, уверенный, что наконец-то беседует с человеком, который может росчерком пера вернуть ему сына, горячо высказал все, что накопилось за последние дни. Юшенков, хотя и знал заранее все отцовские аргументы, слушал внимательно. По крайней мере никто не сможет его упрекнуть, что он не принял и не выслушал. Только в одном месте речи Рыжова он нахмурился и прервал:

– Вы ошибаетесь. Ваш сын не может сидеть в одной камере с ворами. Это исключено.

– Как же исключено, когда сидит! – возмутился Игорь Сергеевич.

– А я вам говорю, что этого не может быть, – настаивал на своем Юшенков. – У нас предусмотрена строгая дифференциация заключенных, и администрация изолятора не могла нарушить инструкцию.

– Вы говорите – не могла, а я утверждаю, что нарушила.

Услыхав про инструкцию, Игорь Сергеевич еще раз; подивился мелочной жестокости Анатолия, посадившего Гену с ворами.

– Обещаю вам, что этот факт я лично проверю, – сказал Юшенков, – и если так, как вы говорите, то виновные понесут наказание, а ваш сын будет переве-

ден в другую камеру.

Юшенков был очень доволен, что разговор с главной темы переключился на частность, и старался внушить Рыжову, что сделает для него все возможное, не пожалев личного времени. После этого жаловаться на недостаточное внимание этот заслуженный летчик тоже не сможет. Его не только выслушали, но и кое в чем разобрались, помогли.

Когда же Игорь Сергеевич сообразил, что цель его прихода – освобождение Гены – осталась в стороне, было поздно. Юшенков уже встал и, повторяя, что лично вмешается и исправит недопустимое нарушение инструкции, дал понять, что разговор окончен.

– А как же... Я, собственно, пришел просить, чтобы его совсем выпустили до суда, – напомнил Игорь Сергеевич, невольно поднимаясь со своего кресла вслед за Юшенковым.

– Не все сразу, – заулыбался помощник прокурора. – С этим придется повременить. А с ворами он сидеть не будет! Уж будьте спокойны! Не будет. Не будет! – приговаривал он, легонько похлопывая Рыжова по плечу, то ли ободряюще, то ли показывая путь к двери.

Уже спускаясь с лестницы, Игорь Сергеевич обругал себя за то, что некстати заговорил о ворах. Обругал он и улыбчивого прокурора, увильнувшего от пер-

востепенного вопроса. Заодно досталось и Анатолию, который дал повод для этого дурацкого спора: кому с кем сидеть. Как будто им с Тасей станет легче, если Гена будет общаться не с ворами, а с другими подонками.

Вспомнив, сколько унижительных минут пришлось пережить, чтобы добиться этой встречи, и сознавая, что уходит ни с чем, Игорь Сергеевич мог только снова и снова ударять разъяренным кулаком по равнодушным лестничным перилам.

20

Антошку с детства окружали люди, говорившие и спорившие о воспитании детей. Она привыкла к таким разговорам, понимала их важность, но, как все привычное, они ей давно наскучили. У нее было полно своих забот, а студенты, которые ухаживали за ней в университете, уже вышли из того возраста, когда им нужна была помощь общественности.

Она была еще школьницей, когда Анатолий привел к ним Катю и представил как свою жену. Вот тогда еще Антошку резануло такое неожиданное и острое чувство ревности, что она заснула в слезах. После, догадавшись по обрывкам разговоров, что Анатолий в се-

мейной жизни несчастлив, она еще больше возненавидела Катю.

Хотя Анатолий обращался с ней как с девчонкой и не замечал ни ее долгих взглядов, ни тяжелых вздохов, хотя он не ухаживал за ней, не острил, не старался казаться умным и ласковым – он был лучше всех, даже не лучше, а совсем другой, несравнимый.

После объяснения с матерью она замкнулась, при Анатолии почти совсем не улыбалась и не разговаривала, чего он опять же не замечал. А в последнее время то ли Ольга Васильевна ему намекнула, то ли дела у него так сложились, но приходил он совсем редко, и, как назло, когда Антошки не было дома.

Расплачивался за все Илья Гуцин. Разговаривала она с ним как с опальным фаворитом, слова цедила сквозь зубы, щурилась мимо него на каких-то хлыщей. А когда он высказался по поводу коротких платьев, что его смешит «такая примитивная форма завлечения самцов», она подрезала юбку еще на три сантиметра и сказала ему: «Зато ты больно сложен, так и готов распустить свои лапы». А это было совсем несправедливо. Даже за плечи он ее ни разу не обнял, как это походя делали другие, а если и протягивал к ней руки, то только для того, чтобы помочь надеть пальто или посадить в автобус. Он стал ее побаиваться, смотрел издали тоскующими глазами, а до-

ма у них беседовал только с Ольгой Васильевной.

Вскоре надвинулись экзамены, но вместо того чтобы думать о премудростях, заключенных в толстых учебниках, она ломала голову над тем, как встретиться с Анатолием и как держать себя с ним, чтобы этот бездушный чурбан понял наконец силу ее любви.

Заставая иногда Анатолия за беседой с Ольгой Васильевной, она теперь не выражала радости, не требовала его внимания, старалась быть серьезной. Она вслушивалась в каждое его слово, но, по правде говоря, ничего не слышала, думала в это время о своем и только следила, как меняется выражение его лица. Иногда по давней привычке, оставшейся с тех пор, когда она была совсем маленькой, он протягивал руку к ее шее и щекотал ямку на затылке. Она притворялась, что не чувствует его руки, и боялась шевельнуть головой, чтобы не спугнуть его.

Ей хотелось убедить Анатолия, что она, в отличие от Кати, разделяет его интересы, тревожится его заботами и всегда готова прийти на помощь. Но убедить можно было только делом. А какое дело могло приобщить ее к работе Анатолия в изоляторе?

Помог случай. Антошка зашла в комитет комсомола по пустяковому делу и застала Илью за странным занятием. Он сидел над какой-то длинной ведомостью и орудовал конторскими счетами – долго нацеливаясь

в каждую костяшку и потом медленно проталкивая ее толстым пальцем. Трое других копались в бумажках и тоже считали с видом заправских канцеляристов.

– Привет клеркам! – бойко поздоровалась Антошка.

Илья как раз в этот миг заменял на счетах целый столбец единиц одной десяткой и, услышав ее голос, запутался. Они уже дня четыре не виделись, и ее появление Илья принял, как дар судьбы. Шутливое приветствие прозвучало приглашением к примирению. Скрывая радость, Илья поморщился.

– Заела проклятая цифирь. Ты не сильна в арифметике?

– А что вы считаете, мальчики?

– Мы такие же мальчики, как и клерки, – строго заметил один из парней, не отрываясь от записей. – Кстати, рядом есть еще одна комната, там тоже интересно.

Испугавшись, что Антошка обидится и исчезнет, Илья поднялся, расправил спину и потянулся.

– Я, ребята, мозги отсидел, пойду подышу. Скоро вернусь.

Он вышел вместе с Антошкой.

– Лагерные сметы замучили, – сказал Илья, чтобы как-то оправдать грубость своего приятеля. – Считаем, считаем...

– Какой лагерь?

– Я тебе рассказывал – спортивно-трудовой. Для самых отпетых ребят нашего района.

Антошка вспомнила давнишний, не заинтересовавший ее разговор.

– Мамина идея?

– Идея, Антоша, плавала на уровне глаз. Но поскольку мамины идеи дуют нам в спины, можешь считать и ее причастной к этому лагерю.

Илья был рад – они опять шагают рядом, говорят о близких обоим вещах, и Антошка слушает с явным интересом.

– Когда-нибудь все войдет в службу Омза, – продолжал он. – И спортивные лагеря, и детские дома, и пионерские дворцы. Все разрозненные звенья свяжутся в одну цепочку. А пока я буду представлять пост Омза на одном необитаемом острове.

– В Тихом океане есть чудесные острова, могу дать адрес.

– Нет, наш поближе, в ста километрах.

– Ты не можешь высказаться яснее?

– Хорошо. Начнем с азбуки. В конце концов, этих трудных отроков не так много, студентов больше. А студенты в некотором смысле – элита.

– Только в некотором.

– Ты не согласна? Ты отвлекись от своих знакомых и взгляни шире. Что такое студенты? Огромные

коллективы самых напористых, по самой сути своей устремленных в будущее людей. На их стороне королева Молодость со всей свитой своих замечательных качеств. Это раз. Ежегодно нарастающие знания и культура – два. Спаянность общими интересами и традициями – три. Готовность переносить горы с места на место – четыре. Короче говоря, сливки общества.

– Ты и себя считаешь сливкой?

– Сливки, Антоша, единственного числа не имеют. Поэтому даже про тебя нельзя сказать – сливка. А про всех вместе можно – сливки.

– С чего это мы перешли на молочную этимологию?

– Вынужденно. Речь о другом. Политехники решили провести эксперимент. Отряд, уезжавший на целину, взял с собой несколько отъявленных подонков. Они жили вместе в палатках, вместе вкалывали, ели, пели, выручали друг друга. Этим прощелыг не поучали, не искали к ним никаких ключиков. Им говорили просто и твердо: «Делай, как я! Все делим поровну – работу, лишения, опасности, песни и танцы. Ты такой же человек и все можешь». Куда им было деваться?

– Послушай, – перебила его Антошка, – а почему бы нашему факультету не взять с собой таких же? Мы же комплектуем экспедиции?

– Разумно! Толкни идею в комитете, поддержим. Та-

кие эксперименты провели уже многие вузы, и все – с отличным результатом. Вообще, Антоша, ты удивительно быстро соображающий ребенок.

Если бы Илья знал, какие соображения возникли в эту минуту у Антошки, он бы не обрадовался. Для нее это был прекрасный деловой повод связаться с Анатолием, посоветоваться с ним. Может быть, он доверит студентам кого-нибудь из своих, хотя бы того же Леньку Шрамова. Имя этого Леньки то и дело всплывало в его беседах с Ольгой Васильевной и Маратом Ивановичем.

Антошка оживилась, ласково улыбнулась Илье.

– Погоди, а что вы там считаете? Ты тоже собираешься?

– Нет, это другое. Это уже наше. Понимаешь, не все же уезжают с экспедициями. Многие не хотят или не могут. Вот мы и решили создать тут, неподалеку от города, лагерь. Отобрали самых-пресамых, по спискам милиции. Ходили по квартирам, по общежитиям. Уговаривали, обрабатывали. Набрали. Разбили по отрядам. Во главе каждого – командир и комиссар из нас – студентов.

– Ты комиссар?

– И я комиссар. – Илья покосился на нее, не смеется ли. Нет, она была серьезна. – Нашли остров на озере, рядом с одним совхозом. Создаем свое хозяй-

ство, спортивный комплекс.

– Но ты же собирался на каникулы домой.

– Отложил. Это интересней... Вот, сидим составляем сметы. Собираем с миру по нитке. Ниток много. Военные дали палатки и обмундирование, моряки – лодки, Досааф – машину. Все нужно предусмотреть – чашки, ложки. И без денег не обойдешься.

– Ты мне покажешь?

– Что? – не понял Илья.

– Лагерь. Мне интересно. И мама будет рада, ей это знаешь как важно! Я приеду и расскажу.

– Ты меня просто осчастливишь. Добивай экзамены, и махнем. К этому времени в лагере установится кое-какой порядок. Первый отряд уже уехал. Вот будет здорово!

Илья схватил ее за руку и долго не отпускал. Он говорил, захлебываясь от неожиданной радости.

21

Юшенков был человеком слова. В изолятор он поехал. Если бы Игорь Сергеевич увидел его в этих стенах, он не узнал бы любезного помощника прокурора: строго-замкнутое лицо, гневно сжатые губы, начальственный тон. Работники изолятора ему не под-

чинялись, но он имел право надзора за их деятельностью и в случае каких-нибудь нарушений мог доставить немало неприятностей.

А нарушения обнаружались на первых же шагах. Правда была на стороне Рыжова – его сын сидел в одной камере с двумя ворами и хулиганом.

– Что это значит? – допытывался Юшенков, постукивая костяшками пальцев по табличке с фамилиями заключенных. – Кто это додумался посадить мальчишку-фарцовщика с вором-рецидивистом? Пришел ко мне родитель жаловаться, я его высмеял, а он, оказывается, больше меня знает.

– При рассадке мы учитываем не только статьи, по которым они привлекаются, но их характеры, и степень педагогической запущенности.

– Опять! – сердито оборвал его Юшенков. – Как что, так педагогическая запущенность. Придумали отговорку. Это не педагогическая запущенность, а административная распушенность. Произвол!

– Разрешите пояснить, товарищ Юшенков, – вмешался Анатолий, обменявшись взглядом с Георгием Ивановичем.

– Что тут пояснять, когда нарушение налицо?

– Дело в том, что мы часто сталкиваемся с фактом психологической несовместимости. Казалось бы, по инструкции двум парням надо бы сидеть вместе,

а на деле не получается – обязательно перегрызутся или какую-нибудь пакость учинят. Взять хотя бы того же хулигана Серегина. С кем только мы не пробова-ли его помещать. Сразу же создает в камере нетер-пимую обстановку. Мы знали, что нарушаем инструк-цию, когда определяем его в камеру, где сидит реци-дивист Утин. Но другого выхода у нас не было. Мы пошли на этот шаг в порядке опыта, и не ошиблись. При Утине он стал ниже травы. Потому что сам Утин на переломе. Он и сам о своей судьбе задумался, и соседей по камере думать заставляет. Мы поэтому же из всех возможных вариантов и для Рыжова выбрали камеру Утина.

Юшенков умел неожиданно раздвигать губы и сменять начальственное выражение лица умильной улыбкой этакого многоопытного человека, сочувствую-щего слабости своих оппонентов.

– Ты стихов не пишешь? – спросил он у Анатолия. – Или за романы возьми. Развел психологию... Глу-пость все это! Твое дело изолировать до суда, чтобы не смазать дело. А как изолировать, кого с кем, на то есть инструкция, ясная и точная: воры с ворами...

– Наша задача, как политработников, не только изо-лировать, но и воспитывать, – как бы немного стесня-ясь, что приходится такие истины напоминать пред-ставителю прокуратуры, сказал Георгий Иванович. –

Иначе нас разогнать нужно бы.

Улыбка с лица Юшенкова слетела так быстро, как будто он проглотил ее.

– Воспитывайте! Сколько угодно! А нарушать закон, устраивать цирк Дурова, сажать в одну тележку волков и овец – не позволю! Сегодня же пересадить Рыжова.

– Куда? – спросил Анатолий.

– Думайте! Мое дело указать нарушение, ваше – исправлять.

– В любой другой камере Рыжов окажется в более вредном окружении, а здесь в нем заметны перемены к лучшему.

– Это меня не касается. Пересадить!

Георгий Иванович выразительно посмотрел на Анатолия: «Помолчи». Юшенков поднялся и снова, как фокусник, выпустил улыбку из раздвинутых губ.

– Чего надулись? Я же к вам в помощь приехал. Сами спасибо скажете. Пройдем по камерам.

Разговор о рассадке оказался только затравкой. Когда Юшенков увидел на втором этаже комиссию из заключенных, проверявшую чистоту камер; когда заглянул в класс, где шел урок литературы; когда поговорил с подростками и услышал о соревновании, о пинг-понге и телевизоре, – возмущение его вскипело.

Если неправильное размещение заключенных

можно было объяснить легко исправимым недомыслием, то все, что творилось в тюремном корпусе, свидетельствовало о сознательном и продуманном нарушении элементарных требований режима. Нежданно-негаданно Юшенкову попал в руки материал, пригодный для сенсационного доклада прокурору, для громкого расследования, для той административной возни с выделением комиссий, накладыванием резолюций, изданием приказов, которую Юшенков считал самым важным и интересным делом. Как всегда в таких случаях, он прикидывал, как будет выглядеть сам в этой истории, и приходил к выводу, что выглядеть будет хорошо – пронизательным, дотошливым ревнителем законности, непримиримым ко всяким отступлениям от установленных порядков. За единичным фактом, о котором просигнализировали сверху, он сумел увидеть широкую картину вопиющих нарушений.

– Кто вам разрешил нарушать изоляцию? – допрашивал он с еще большей строгостью.

Ему уже рассказали и об эксперименте, и о первых успехах, называли имена, цифры, но вдумываться в них он не хотел, и только раздражался все больше.

– Никакого контакта между однодельцами у нас не было и нет, – напоминал Георгий Иванович. – Не было ни одного случая, когда бы новые условия режима отразились на каком-нибудь деле.

– Повезло! Сегодня нет, завтра будут. Да и не об этом я спрашиваю. Есть разработанные и утвержденные инструкции, кто вам позволил их нарушать?

– Инструкции ведь не вечные, – заметил Анатолий. – Практика подсказывает, как их менять, делать лучше. А если мы не будем пробовать, искать... Неужели мы не имеем права на педагогический эксперимент?

– Просите разрешение. А так, если каждый начнет экспериментировать, мы таких дров наломаем...

– Мы обсуждали у себя на методсовете, – сказал Георгий Иванович. – Все тщательно подготовили. И результаты говорят за нас – количество нарушений в камерах резко сократилось.

– Сами ребята заинтересованы, чтобы все было в порядке, – добавил Анатолий. – А закроем соревнование, откажемся от актива, совсем не будем знать, что делается в камерах.

– Ребята! – вскрикнул Юшенков. – Что это за обращение? Вместо «гражданин заключенный» – Петя, Ваня, ребята. Это ж черт знает что!

– Мне нужно к нему в душу залезть, доверие завоевать, как же я завоюю, если буду мальчишку называть «гражданин заключенный»?

– Так и завоевывай, не панибратством, не сюсюканьем, а твердостью, авторитетом. Классы пооткрыва-

ли. Разве можно допустить, чтобы учителя общались с заключенными? Разве они сотрудники наших органов?

– Сейчас мы можем устраивать встречи подростков со старыми большевиками, с писателями, – как бы в раздумье сказал Георгий Иванович, – а запрем...

– А народных артистов не приглашали? Ансамбль Моисеева? Или филармонию?

Не обращая внимания на ядовитые интонации в голосе Юшенкова, Анатолий спокойно откликнулся:

– Не плохо бы.

– Безобразие! – вспылил Юшенков. – Либерализм развели. Партия и правительство требуют усилить борьбу с преступностью, а они тут дом отдыха устраивают. Преступник ждет суда, а ему условия создают, книжки подсовывают, кино, телевизор.

– Неверно это, – сказал Анатолий.

– Что неверно?

– Все. Во-первых, неверно, что мы устроили дом отдыха. Режим остался режимом, а изолятор изолятором. Неверно и то, что мы своим экспериментом ослабляем борьбу с преступностью. Есть ведь разница между взрослым рецидивистом и свихнувшимся подростком. Одно и то же требование – усилить борьбу – имеет для них разное значение. По отношению к заматерелому преступнику это значит – сделать

режим строже и жестче, никаких поблажек. Для подростков в изоляторе – другое. В запертой камере и при полном безделье они портятся еще больше, еще быстрее скатываются в мир уголовщины. Получается не усиление борьбы, а наоборот – поощрение преступности.

– Ты меня в философию не втягивай, – махнул рукой в его сторону Юшенков.

– Нет, простите, – повысил голос Анатолий. – Разговор слишком серьезный, и я прошу меня выслушать. Вся беда в том, что у нас нет науки о перевоспитании преступников. Поэтому нет и научно обоснованной работы с ними. С одной и той же меркой мы часто подходим и к выродку, у которого руки в крови, и к случайно свихнувшемуся человеку. Мы ждем помощи от ученых, но ждем, не сложив руки, – сами думаем, ищем, экспериментируем. Не случайно сейчас так много говорят о дифференцированном подходе. Самый правильный и мудрый подход. На него и опирается наш эксперимент. И никакие инструкции предусмотреть его не могли.

– Поумней тебя люди продумывали вопрос и составляли инструкции. Твое дело выполнять. Ходи по камерам, беседуй, вправляй мозги.

– Осточертели им эти камерные беседы. Организм подростка требует движения, рукам нужен осмыслен-

ный труд, мозгам – пища для мыслей.

– Хватит разводить демагогию. Скажи, что хочешь облегчить себе жизнь. Доходить до каждого в камере, конечно, потруднее, чем обрабатывать всех гамузом.

– Почему же труднее? – удивился Георгий Иванович. – Отбарабанить в камере и закрыть за собой дверь на два оборота – проще всего. Так испокон веку делалось, и никакого толку не добивались.

– Соблюдайте режим, никакого другого толку от вас не требуют.

– Мы сами от себя больше требуем, – сказал Анатолий.

Юшенков строго на него посмотрел. В реплике этого молодого задиристого воспитателя ему послышались те нотки бескорыстной увлеченности, которых он не терпел в служебном разговоре. Не терпел, потому что не верил в их искренность, и еще по той причине, что они вносили в деловую беседу неуместную чувствительность.

– Хватит! Наслушался! Советую немедленно устранить все нарушения. Это в ваших интересах. Приедет комиссия, разберется во всех безобразиях, которые вы натворили. Если убедится, что исправили, оргвыводы будут полегче.

Юшенков распрощался и уехал. Долго молчали. Анатолий встал и сказал почти официально:

– Я, Георгий Иванович, Рыжова не пересажу. И соревнование закрывать не буду. Или увольняйте. Лучше совсем уеду куда-нибудь, но на такое не соглашусь.

– Уехать – не подвиг. Нашел чем пугать... Юшенков, конечно, сила, шуму будет много. Но есть инстанции повыше.

– Всю ответственность перед комиссией могу взять на себя.

– Зачем же так громко? Возьмем вместе.

22

Ехали на зеленом газике. За рулем сидел комиссар Володя, тот строгий юноша, который выпроваживал Антошку из комитета комсомола. Он и сейчас не одобрял ее соседства, ни разу не повернул к ней головы и крутил баранку, широко расставив бронзовые локти с таким видом, как будто никого больше в машине не было. Зато Илья, устроившийся сзади среди тяжелых мешков и коробок, обеими руками вцепился в металлический поручень переднего сиденья, навис над Антошкиным ухом и говорил за троих. Когда газик подпрыгивал на ухабах, голова Ильи, как притянутая магнитом, касалась Антошкиной прически. Илья

жалел, что ухабы попадаются редко, и старался использовать любой толчок, чтобы подскочить и податься вперед.

– Самая загадочная и коварная категория, Антоша, это время. Старик Эйнштейн не зря перечеркнул его абсолютный характер. Пока человек так занят, что не замечает времени, он счастлив. Но стоит ему остаться с временем глаз на глаз, получить так называемое свободное время, как образуется вакуум, часто заполняемый черт знает чем. Есть даже такое выражение: «убить время». Так говорят о враге. Даже взрослые, весьма умудренные люди, не знают, что с этим временем делать. Отсюда начинается пьянство, картеж и прочие пакости. Скука, тоска, меланхолия, ипохондрия – все, в конце концов, вызывается временем, свободным от настоящего дела, настоящей любви, настоящих заполнителей. Знаешь как будет называться моя диссертация? «Скука как важнейшая философско-психологическая проблема».

– Перейди сначала на третий курс, – заметил Володя.

– Не каркай, я развлекаю нашу спутницу. Ты еще не заснула, Антоша?

Антошка мотнула головой. Асфальтовое полотно то жарко лоснилось под солнцем, разматываясь меж зеленых полей, то мрачнело, пробиваясь сквозь много-

листье подступившего леса. Душистый ветер трепал по лицу. Было покойно, и рассуждения Ильи вызвали только одну мысль: «Побольше бы такого свободного времени».

– Панэм эт цирценсес! – восклицал Илья. – Хлеба и зрелищ! Еще наши предки понимали, что без наполнителя – зрелищ – люди жить не могут.

– Я не знал, что твои предки жили в Риме, – сказал Володя. – Или ты из гусей?

– За такие остроты... Тебе, Володя, на интеллектуальных поединках нужно выступать в легчайшем весе.

– Мальчики, перестаньте! Какое это имеет отношение к вашему лагерю?

– Прямое, – ответил Илья. – Главный элемент воспитания детей – заполнение их свободного времени. Уж они-то наверняка не могут им сами распорядиться. Значит, наша задача – заполнить его до краев интересным делом...

– Вот именно! – перебил его Володя. – Не зрением по-римски, а делом по-советски, интересным, продуманным делом, которое еще называют работой.

– С тобой хорошо пить касторку, – изо рта выхватываешь. Я же говорю: делом, и спортом, и песнями. Чтобы они вертелись в интересном, как белки в колесе, тогда не останется времени на хулиганство и про-

чее распутство.

– А время на раздумье ты им дашь? – спросила Антошка.

– Они его сами найдут, когда духовно созреют для такого сложного процесса. А пока наш лагерь держится на интересных заполнителях. Верно, Володимир?

– Им и воровать интересно, – сказал Володя. – Расскажи, как к твоим часам ножки приделали.

– Было дело, – неохотно вспоминал Илья. – Это в первые дни. Еще только притирались. Я лучше разовью свою мысль.

– Нет, ты расскажи о часах, – попросила Антошка.

– Там у нас воришек несколько. Но один особенно вредный. Подлейшая личность, а для пацанов – авторитет. Он и подбил их. Мы за день устали как лошади, заснули. Будит дежурный. Донесение с поста на мосту: трое наших сбежали с какими-то шмутками. Ну, тревога. Сирена воеет. Стали проверять, что у кого пропало. У меня – часы. И каптерку почистили, консервами запаслись. А главное не это. Кругом леса, заблудиться могут. Бросились в погоню на мотоцикле, на велосипедах. Совхозные парни помогли. Вернули всех.

– А потом?

– Была линейка, дали им жару. Свои же озлились – ночь из-за них не спали, измучились искавши. Было

бы странно, если бы все они в один миг стали пай-мальчиками. Чудес не бывает.

– А Волга куда впадает? – спросил Володя.

– А если хочешь знать, то чудо все-таки происходит. На днях, Антоша, был такой случай. Один шкет за несколько папирос согласился поработать в чужом отряде, вроде батрака. Казалось бы – что тут особенного? Но когда ребята из его отряда узнали про этот бизнес, тут же созвали общее собрание. Говорили примерно так: «Ты продал честь отряда. Для нас работа не наказание». И постановили: «За подлость, выразившуюся в продаже своего времени и силы, за пренебрежение к чести отряда – от всех видов работы освободить». Грандиозно! Не правда ли?

– Ничего грандиозного не вижу, – честно призналась Антошка. – Об этом еще Макаренко писал.

– Спасибо за подсказку – забыл сослаться на первоисточник. Но это никак не умаляет факта: вчерашние воры и хулиганы со стойким отвращением к труду за короткий срок прониклись уважением к своей работе. Для них стала важна честь коллектива. Они прониклись презрением к халтурщику, продающему свой труд за унижительную подачку. И, заметь, наказывают они не дополнительной работой, а освобождением от всякой работы. Да они уже на голову переросли среднего обывателя любой буржуазной страны.

– Илья, не говори так пышно, – попросил Володя.

– Ты прав, Илюша, это очень здорово, – назло не замечавшему ее мрачному шоферу сказала Антошка. – И как ты это объясняешь?

– Очень просто! Пока человек находится в окружении подонков, ему кажется, что все люди такие. Это своеобразная абберация психологического зрения. Они ведут себя соответственно. Но как только они попали в нормальную обстановку, они убедились, что в лагере все держится на честности, дружбе, взаимной выручке. Их начальство, комиссары не только руководят ими, но и работают лучше всех. А работа осмысленная, результаты ее зримы. Мы построили кухню, столовую, стадион, боксерский ринг, купальни. В совхозе капитально отремонтировали конюшню...

– На очереди Большой театр, – вставил Володя.

– Ты, Антоша, не думай, что Володя такой циник-скептик, каким рисуется. Это он перед тобой, а на деле – комиссар лучшего отряда. Ребята его на руках носят.

Последние слова Ильи Володя заглушил ревом клаксона, хотя шоссе было по-прежнему пустынным. Пока они ехали, все золотивший закат погас. Белая июньская ночь сгладила переходы от света к тени. Антошка вытянула ноги, откинула голову назад, почти на плечо Ильи. Его голос звучал рядом, дышал теплом

и лаской. Хотелось дремать и слушать все равно что, лишь бы не заснуть, не оборвать той тонкой ниточки, которая еще связывала ее с машиной, дорогой, с этими славными парнями, и говорившими, и молчавшими в угоду ей.

– Ты не думай, что у нас какой-то детский сад. Дисциплина! Ни один проступок не проходит безнаказанным. Но все справедливо. Это главное – чтобы все справедливо. Поэтому и ребята стали относиться к нам с доверием. И в себя они поверили, в свои силы. Ничто так не портит людей, как несправедливость. Ты со мной не согласна? – спросил Илья, чтобы услышать ее голос.

Слов Антошка не расслышала, уловила вопросительную интонацию и ответила наугад:

– Ну конечно, Илюша.

– Ты спишь. Поспи, скоро приедем.

Проснулась Антошка, когда газик стал по-козлиному прыгать через горбатые сосновые корни, пересекавшие лесную дорогу. Она умыла сухими руками лицо, поглядела в зеркальце и, не оборачиваясь, спросила:

– Володя, я вас во сне не толкала?

– Пытались, но я не остался в долгу, – ответил Володя, впервые посмотрев на нее пересохшими глазами. При этом он улыбнулся, как бы извиняясь за преж-

нюю суровость.

Они выехали из леса и покатали по мягкой грунтовке, огибая большое озеро. Было около трех часов утра. Далекие сонные облака, подкрашенные розовым, предвещали близкий рассвет.

– Доброго утра! – напомнил о себе Илья.

– Мальчики, я начинаю бояться. Вы меня завезли в какие-то дебри. И почему нужно было ехать на ночь глядя?

– Ты помнишь, какое сегодня число?

– Двадцать второе.

– Вот именно! Через два часа наступит та минута сорок первого года, когда немецкие бомбы начали рваться на нашей земле.

– Ну?

– Ребята решили отметить этот час торжественной линейкой.

– Интересно, – сказала Антошка, поняв, что комиссары придавали этому мероприятию большое значение и потому не следует высказывать свое истинное суждение. А она очень сомневалась, стоило ли не спать ночь, чтобы любоваться какой-то линейкой.

– Вот это и есть наше озеро, – пояснил Илья. – А те далекие кусты – наш остров, полученный взаймы у совхоза. Мы еще не дали ему название, собираемся объявить конкурс, можешь принять участие.

Одним боком остров подходил к самому берегу. Через протоку был перекинут мост с надежным, еще не потемневшим настилом. Откуда-то с верхотуры донесся пронзительный свист. Антошка высунулась, попыталась разглядеть свистуна, но ничего, кроме густых сосновых крон, не увидела.

– Хорошо замаскировался, – одобрительно сказал Володя. – Это наша кукушка надзирает за озером,

Из кустов на свист выбежал мальчишка лет пятнадцати в коротких штанишках и в ватнике. Жестом регулировщика он издали приказал машине остановиться. Подбежал, едва расклеившимися от сна глазами обвел пассажиров и обрадовался.

– А мы думали – вы уж не приедете.

– Нельзя так плохо думать о комиссарах, – настаивательно сказал Володя. – Был ли хоть раз случай, чтобы комиссары не выполнили своего обещания?

– Не было, – засмутился дозорный.

– То-то же! В лагере порядок?

– Все спят.

– Значит, порядок. Сними кукушку, и бегите согреться. Пока никого не буди.

Машина тихо въехала на территорию острова, обогнула два ряда палаток и остановилась под дощатым навесом.

С озера тянул холодный туман. Антошка, скосив

глаза, видела кончик покрасневшего носа и от этого дрожала еще больше.

– Сейчас, потерпи чуток, – крикнул Илья, вбегая в большую палатку, стоявшую в стороне.

Что он там делал, Антошка не видела, но под пологом палатки как будто разбушевался ураган: закачались стены, натянулись крепления, донесся шум возни. Не прошло и двух минут, как Илья откинул входное полотнище и церемонно провозгласил:

– Прошу вас, географинюшка, совет комиссаров рад вас видеть.

В палатке было тепло. Кроме нескольких наспех прибранных коек, здесь еще помещались стол, тумбочки и ящики, заменявшие стулья. В зеленоватом сумраке Антошка не сразу разглядела парней, приветствовавших ее сонными голосами. Они тут же выскальзывали с полотенцами в руках и возвращались умытые, причесанные. Они грубовато разыгрывали роль гостеприимных хозяев, но Антошка чувствовала, что они рады ее приезду, как всегда радовались студенты, когда она попадала в их мужскую компанию.

Очень хотелось прилечь на любую койку и вытянуться. Но нужно было улыбаться, отвечать на вопросы: «Как доехали?», «Надолго к нам?» Илья примчался с большой кружкой черного горячего чая, бросил в него несколько кусков сахара, нарезал хлеб и придви-

нул все к Антошке.

– Пей, мигом согреешься.

Осилив кружку, Антошка не только согрелась. Ей стало жарко и весело. Спать расхотелось.

– Мальчики, простите, товарищи комиссары, я приехала к вам не развлекаться, а с научно-практической целью. Мне нужно будет доложить маме и еще одному специалисту по трудным все, что увижу. От этого зависит судьба некоторых ребят. Поэтому расскажите подробнее, как у вас тут все организовано. Общее представление я уже имею, мне Илья воспевал вас всю дорогу.

– Братцы! – воскликнул кто-то с притворным ужасом. – Илюшка ревизора привез!

– Ребята, – сказал Илья, – времени у нас мало, не будем трепаться. К тому же нашей гостье сегодня уезжать. Поэтому, Андрей, – обратился он к сидевшему на койке парню, – изложи, пожалуйста, в двух словах. Это наш начальник лагеря, – добавил он для Антошки.

Она пригляделась и узнала «заведующего районным отделом охраны морального здоровья», докладывавшего на репетиции. Антошка почему-то решила, что он математик. Она считала математиков самыми умными студентами.

Андрей посмотрел на часы и заговорил без насмешки, скорее даже уважительно.

– Как все устроено, вы увидите, когда походите по лагерю. Комиссары вам покажут, познакомят с нашими питомцами. Я скажу только то, что считаю главным и что вы можете передать своей маме, хотя она и в курсе дела.

Антошка покраснела, сообразив, что ее ссылка на маму не очень удачно придумана, но Андрей продолжал как ни в чем не бывало:

– Есть такая песня: «Если бы парни всей земли...» Так вот, если бы студенты всей нашей державы пришли на помощь той службе по охране морального здоровья, которая будет создана, то проблема была бы решена в кратчайший срок. Пока мы работаем в порядке кустарного энтузиазма, но и наш опыт пригодится. В таких лагерях, в экспедициях можно кого угодно приучить к труду и культурным навыкам. Можно вскрыть затаенные способности человека и ускорить процесс нравственного созревания.

Андрея прервал шум подъехавшей машины. Он подождал, пока кто-то из комиссаров вышел из палатки, и, вернувшись, доложил:

– Морячки приехали.

– Давайте, ребята, пора, – сказал Андрей.

Комиссары ушли, Андрей снова посмотрел на часы и заторопился.

– Личный пример – великая сила, девушка. В этом

весь фокус. Нас сотни тысяч, а их... единицы в поле зрения. Возможности огромные. Если бы, например, каждый выпускник педагогического института, прежде чем получить диплом, вывел бы на дорогу жизни одного искалеченного подростка, тоже эффект был бы немалый. А то будущие учителя выходят не педагогами, а обучающими машинками, иногда еще среднего качества.

– А после лагеря, после экспедиции? – спросила Антошка, думая о Леньке Шрамове. – Они опять же вернутся в те же семьи.

– Плохо, конечно. Вот тут бы и нужно вмешательство Омза, но пока можно поддерживать контакты и зимой через спортивные секции, студенческие клубы.

– Но бывает, что у родителей просто жить невозможно. Я хотела с вами поговорить об одном мальчике, который ждет суда, если бы вы взяли его на поруки...

– Об этом попозже, сейчас мое время истекает. У нас есть уже похожий экземпляр, вы его увидите. Для него мы собираемся выделить койку в общежитии. Будет жить со студентами, будет учиться в вечерней школе и работать под нашим контролем. Сын университета. Плохо ли?

– Чудно!

– Простите, но мне нужно собраться с мыслями пе-

ред началом линейки.

Андрей пересел за тумбочку, вытащил записи, задумался. Его сосредоточенность передалась Антошке. Она вдруг поразилась. Сколько людей думает все о том же! Сколько дельных предложений! Если бы все это соединить. Наверно, все дети выросли бы счастливыми.

После палатки все показалось ослепительно ярким. Пронзительно зеленела трава, искрилось озеро, отливали начищенной медью стволы сосен. Лагерь преобразился. Строились колонны ребят. Отдельной стайкой шли музыканты с трубами и барабаном. И на другом берегу стояли машины. Они привезли взрослых и ребят из совхоза. Пылали пионерские галстуки, пестрели букетики цветов,

Про Антошку все забыли. Она видела издали, как Илья, Володя и другие комиссары суетились у своих отрядов, выстраивали мальчишек, выравнивали шеренги. Солнце принесло много света, но до тепла было еще далеко. Ребята в своих коротких штанишках и тонких рубашках зябли. Многие еще не проснулись как следует и спотыкались на ровном месте. Антошка еще сильнее стала сомневаться, стоило ли устраивать этот неурочный парад.

Наконец все построились. Командиры отрядов отдали рапорта. Потом колонна двинулась к выходу с

острова. Только теперь Антошка увидела, что у каждого мальчика в руках факел – длинная палочка, обмотанная на конце горячей тряпичей. Ветер раскачивал прозрачные, еле видимые огоньки и серые ленты дыма.

На другом берегу, у опушки леса, остановились. Здесь, на расчищенной полянке, горбилось какое-то сооружение, покрытое простыней. Кроме лагерных подростков, полянку обступили еще деревенские школьники с пионерским знаменем. За ними стояли мужчины и женщины, одетые строго, как на праздничное гулянье. Строгой была и тишина неразбуженного леса, заставлявшая детей приглушать голоса и сдерживать порывистые движения.

Антошка не могла не проникнуться торжественностью необычного митинга, оторвавшего разных людей от сладкого предутреннего сна. Так же, как все, она ждала чего-то значительного, хотя и была уверена, что ничего особенного произойти не может.

Пошептавшись с военными моряками и с каким-то штатским, на черном пиджаке которого сверкали ордена и медали, Андрей вышел вперед, оглядел всех и, дождавшись полной тишины, сказал:

– Ребята! Товарищи гости! Двадцать четыре года назад, вот в такой же тихий, безоблачный час, на советскую землю обрушились бомбы и снаряды гитле-

ровцев. Началась Великая Отечественная война. Ни я, ни вы, ребята, не видели войны. Мы не видели врагов, которые жгут, убивают, угоняют в рабство. Нам с вами досталась мирная жизнь. Нам кажется, что так всегда и было.

Говорил Андрей неторопливо. Негромкий голос его заставлял вслушиваться в каждое слово. Антошка видела, как меняются лица мальчиков, как сползает с них сонливость, уступая место настороженному вниманию.

– Мы нашли на этой поляне останки неизвестного воина, – продолжал Андрей. – Он лежит в этой могиле. Мы не знаем, был ли он пехотинцем или танкистом, летчиком или сапером. Мы не знаем, кто оплакивал его смерть, в каком селении нашей великой страны хранят о нем память родные. Каждая мать, не ведающая, где похоронен ее погибший сын, может считать этот холмик его могилкой.

Вскрикнула и захлебнулась в слезах женщина. Ее взяли под руки, отвели в сторону. Андрей как бы прислушался к ней, помолчал и снова заговорил:

– Мы знаем, что он хотел жить, хотел увидеть свою семью, хотел трудиться, и радоваться, и растить детей. Но он не отступил перед врагом, не испугался смерти. Он пролил свою кровь на этой поляне, и мы в ответе перед ним. Мы в ответе перед миллионами

солдат, павшими в борьбе с фашизмом. Мы в ответе перед теми, кто погиб в дни революции и в годы гражданской войны. Потому что они страдали и умирали от ран ради нас. Они умирали, чтобы мы жили. Жили не рабами и не паразитами на чужом горбу, а хозяевами своей судьбы, честными, сознательными строителями лучшего общества на земле. Будем помнить о нашей ответственности перед павшими в боях. Будем каждым своим шагом равняться на героев. Будем жить так, чтобы не стыдно было перед могилой этого солдата.

Андрей склонил голову. Комиссар Володя поднял руку. Мальчишечий оркестр заиграл траурный марш. Двое ребят сбросили покрывало с невысокой бетонной пирамиды. К ней потянулось опущенное пионерское знамя, факелы. Школьники покрыли холмик цветами.

У подножия могилы была вырыта ямка. Облицованная цементом, она стала похожа на чашу. К ней поднесли факел, и вспыхнул, потянулся вверх еще один огонек.

Оркестр затих. Андрей сказал:

– Пока мы будем жить в лагере, этот огонь не погаснет. Поддерживать пламя почета будет лучший отряд. А сейчас слово участнику Великой Отечественной войны агроному совхоза Василию Игнатьевичу

Коломятину.

Выступал Коломятин, украшенный орденами. После него, громко выкрикивая слова, говорил молодой моряк со значками отличника боевой службы на синей форменке. Они высказывались не так складно, как Андрей, чаще употребляли газетные обороты, запинались. Но их слушали так же внимательно.

Антошке было стыдно. Она сердилась на себя и спряталась за чью-то спину, чтобы не встречаться с радостными, искавшими ее глазами Ильи.

Оркестр заиграл «Интернационал». Несколько голосов сначала робко, потом все громче стали напевать слова. К припеву присоединились все. И хотя ребята играли плохо, сбиваясь и обгоняя друг друга, никому это не мешало.

Снова построились в колонну и пошли на остров. Илья отстал, нашел Антошку.

– Сейчас всех уложим, пусть мальчики поспят часа четыре.

– Разве они смогут спать? – удивилась Антошка.

– Заснут. Сегодня трудный день – полный набор соревнований. Даже скачки на колхозных конях.

– А мы что будем делать?

– У нас работы много. Нужно все подготовить. А ты... Знаешь что, ложись-ка тоже, отдохни.

– Я вовсе не хочу спать! Мне еще многое нужно уви-

дочь.

– Все увидишь и узнаешь. А сейчас все равно с тобой некому заняться. Палатка свободная, ложись, ты даже осунулась.

Последнее замечание расстроило Антошку. Она нехотя вошла в палатку и, чтобы остаться одной, согласилась лечь на койку Ильи. Она вовсе не собиралась спать. Но как Илья накрывал ее одеялом, она уже не слышала.

23

Анатолия вызвали к городскому телефону. Говорил Игорь Сергеевич, просил принять по срочному делу. Выразался официально: «Товарищ капитан, обращается отец подследственного Геннадия Рыжова». У Анатолия хватало других срочных дел, но этому звонку он обрадовался. Он не только сердился на славного летчика за родительскую ограниченность, но и жалел его. Анатолия подкупала душевная прямота этого человека, глубина его переживаний, неспособность хитрить и притворяться. После ссоры из-за глупой записки, обнаруженной в передаче, они друг друга избегали. Разговаривать при Воронцовых не хотелось, но оба чувствовали потребность объясниться.

Анатолий принял Игоря Сергеевича в одном из свободных кабинетов административного корпуса, – не хотел, чтобы вели его мимо тюремных камер. Поздоровались они с деловитой сухостью, как люди мало знакомые и не доверяющие один другому.

– Я, товарищ капитан, пришел по поводу того письма.

– Слушаю вас, товарищ полковник.

– Есть у меня такое опасение – не повредит ли этот инцидент моему сыну?

– Не понимаю.

– Я ваших порядков не знаю... Не будет ли хуже Геннадию от того, что мы, взрослые, нарушили, так сказать, существующие правила? Можешь на меня жаловаться, в парторганизацию пиши, если считаешь нужным, но сын тут ни при чем. Его это касаться не должно.

Анатолий смотрел на гостя, удивляясь, как глупеют люди под бременем несчастья. Игорь Сергеевич и внешне изменился. Вместо боевого задора в глазах его появилось выражение пришибленности.

– Кто же вам подсказал такие опасения? Не иначе – Ксения Петровна. Вряд ли вы сами до такой мудрости додумались.

– Хорош ты гусь, как я посмотрю, – без злости сказал Игорь Сергеевич, – с бабами поругался, а на маль-

чонке характер показываешь.

– А ты ничего умней придумать не мог, – ответил Анатолий, принимая «ты» как залог доверия.

– Чем тебе Генка насолил, что ты его сгноить хочешь?

– Послушай, Игорь Сергеевич. Я вот смотрю на тебя и не могу понять, разумный ты человек или такой же дуб, как мой ученый тесть? Ты что хочешь – спасти сына, сделать его честным человеком или любыми средствами избавить от наказания?

– А по-твоему, чтобы спасти, его нужно обязательно в колонию послать?

– Куда его пошлют, не нам с тобой решать. Не об этом сейчас думать нужно.

– Тебе легко об этом не думать. Вот обзаведешься своими, тогда поймешь, от чего у отцов голова болит.

– Больная голова не лучший советчик. У меня за Геннадия не голова, а сердце болит.

Игорь Сергеевич с удивлением заглянул в глаза Анатолия.

– Не веришь? Убеждать не буду... Забудь на минутку, что Генка твой сын. Забудь. Поговорим о чужом мальчишке, попавшем в беду. Можешь ты думать не только о своем, но и о чужих?

– К чему ты это?

– Поймешь, если захочешь. Попал мальчишка в бе-

ду. Остался без отцовского глаза, без твердой руки, связался с плохой компанией, совершил преступление, сел за решетку. Тут все родные всполошились, наняли адвоката, денег не жалеют, всех знакомых подняли на ноги. И стоит мальчишка на перепутье. Два стана перед ним: милиция, прокуратура, суд – враги. И другой: любящие родители, тетка, дядька, адвокат. Чего хотят враги? Чтобы мальчишка понял всю опасность того пути, на который он встал. Чтобы осознал свою вину и раскаялся. Чтобы твердо решил для себя: никогда больше не идти против закона, честно жить и работать. Вот чего хотят враги. Понятно я излагаю?

– Давай, давай.

– А чего хотят доброжелатели? Как можно скорее вернуть его домой, преуменьшить его вину в глазах судей, помочь ему соврать, затаиться, прикинуться обиженным мальчиком. Лишь бы поскорее обнять его, накормить сладким, заставить забыть о перенесенном страхе и лишениях. А то, что мальчишка выйдет с растленной душой, что он будет чувствовать себя героем, надувшим правосудие, что задатки тунеядца и хапуги у него окрепнут и проявятся еще с большей силой, – на это родным наплевать. У них голова болит за родного сыночка, им думать не под силу. Так?

Игорь Сергеевич слушал, подперев кулаком ску-

лу. Анатолий словно натянул невидимую узду, и его мысль, все эти дни работавшая в лихорадочном темпе над одним вопросом: «Как вызволить сына?» – круто свернула в сторону. Он еще не понял, чего добивается Катин муж, но уже верил ему и чувствовал себя виноватым перед ним. Он только сейчас разглядел худое, с ранними морщинами лицо Анатолия и представил себя на его месте. В изоляторе не один Генка, и о каждом он должен думать, обязан думать, – такая уж у него проклятущая работа.

– Как ты Гену считаешь? – спросил Игорь Сергеевич. – Пропацией он, по-твоему?

– Вернемся к Генке. Влез он в болото глубоко, гораздо глубже, чем ты думаешь. Но и пропащим его только дурак назовет. Для него сейчас решающие дни. В душе у него борьба: признаваться во всем, что он знает, рвать навсегда все связи с подлецами, затащившими его в трясины, или попытаться выкрутиться, заслужить благодарность тех, кто пока ушел от милиции, остаться кандидатом на новые преступления. Как ты думаешь, ты и Ксения Петровна, в каком направлении вы работаете, как на Генку влияете?

– А ты уверен, что у него есть что скрывать?

– Уверен. Главного своего учителя по грязным делам он укрывает. Точно известно, что они встречались, что через Генку он проводил свои операции, ку-

да более опасные, чем торговля рубашками. А Генка отрицает, И ты, хочешь того или не хочешь, помогаешь ему, внушаешь, что лучшая тактика – отпираться, а если признается, то и наказание будет больше.

– А действительно больше дадут?

– Не об этом тебе заботиться нужно, больше или меньше. А о том, чтобы он очистился полностью, чтобы честным вышел, вот главное. А если хочешь знать мое мнение, то думаю, что наоборот, чистосердечное признание всегда помогает суду смягчить наказание. И если он будет вести себя на суде как искренний, раскрывший душу человек, уверен, что многое ему простится.

– Погоню я его к чертям собачьим.

– Кого? – спросил Анатолий.

– Адвоката.

– Этого делать не нужно. Умный адвокат на процессе всегда может пользу принести. Ты с ним по-свойски поговори, скажи, что хочешь от сына полного раскаяния. Что тебе не все равно, каким он домой придет – изловчившимся или с чистой совестью. А может быть, тебе все равно, лишь бы скорее?

– Ладно... В этом ты прав.

– Сына хочешь повидать? – спросил Анатолий неожиданно для самого себя.

– Когда?

– Сейчас.

Не сразу, словно проверив и собрав силы, ответил Игорь Сергеевич:

– Позволь.

Анатолий встал, но, прежде чем выйти, сказал:

– Сейчас его приведут, а я вернусь минут через пятнадцать.

Как ни готовился Игорь Сергеевич, но когда Гена вошел, он с большим трудом сдержал себя, не поддавшись чувству жалости. Чужой и страшной показалась ему остриженная голова на длинной мальчишеской шее. За оттопыренными ушами торчали клочья волос, небрежно оставленных парикмахером. Кисти покрасневших рук вылезали из коротких рукавов и не знали, куда деваться.

Игорь Сергеевич пошел навстречу, протянул руку, но не обнял, не дал ни одному мускулу на лице отразить теплоту отцовского чувства. Усадив сына рядом, он сказал:

– Утешать я тебя больше не буду. И винить не буду: сам виноват. Прошу тебя об одном – помоги мне снова стать счастливым отцом. Не заслужил я такого наказания – иметь сына-преступника.

Всего ожидал Гена от своего отца. Иногда думалось, что он при встрече собьет с ног в приступе ярости, или горой встанет за любимого сына, обрушит

гнев на милицию и прокуратуру. Не ждал он только таких слов. Он всегда им гордился, своим отцом, его ростом, силой, орденами, портретами в газетах. И как в далеком детстве, захотелось ему прижаться щекой к твердому плечу, чтобы орденские ленточки были рядом, у глаз.

– Что случилось, того не зачеркнешь, – непривычно тихим, как будто больным голосом продолжал Игорь Сергеевич, – замаран ты с головы до ног. Нужно очиститься. Все до последнего пятнышка снять с себя. Пусть знают все, и судьи пусть знают, что сын Игоря Рыжова хотя и оступился, но способен и подняться. Хватит у тебя на это смелости. Верно?

– Да, папа.

– Все в твоих руках – и твоя жизнь и мое честное имя. Слышишь ты меня?

– Слышу, папа.

– Пока не расскаешься, не сможешь людям в глаза смотреть, и я не смогу... – Игорь Сергеевич помолчал, как будто нечаянно положил руку на костлявую коленку сына. – Как суд рассудит, не знаю. Верю, что строго не накажут. Если в искренность твою поверят, не должны за проволоку упрятать. Не должны. Увезу я тебя на Север. И мать увезу. Школу там кончишь, и работу интересную найду. Будешь при мне. Хочешь?

– Хочу, папа.

В комнату вошел Анатолий. Гена по привычке вскочил. Игорь Сергеевич горько усмехнулся.

– Потолковали? – спросил Анатолий.

– Ты вот что, – обратился Игорь Сергеевич к сыну, – ты ему, Анатолию, верь, как мне. Понял? Как мне!

– Понял, папа.

– Что матери передать?

Гена пожал плечами, закрыл рукавом глаза. Заикаясь, по-детски сказал:

– Скажи, что б-больше не буду.

Игорь Сергеевич длинной своей ручищей охватил плечи сына, сжал, отпустил и кивнул Анатолию.

– Можешь идти, – сказал Анатолий Гене.

24

Антошка не раз звонила Воронцовым. Звонила, когда заведомо знала, что Анатолия нет дома. Не называя себя, она нежнейшим голосом справлялась, когда можно застать Анатолия Степановича. Цель была невысокая – позлить Катину родню и отвести душу. На этот раз она позвонила поздно вечером. Сначала подошла Катя, потом Анатолий.

– Мне очень нужно тебя видеть, – сказала Антошка, – срочно.

– Приезжай, пожалуйста.

– Можно?

– Почему же нельзя?

Никто из знакомых Анатолия к Воронцовым не заходил, встречался с ними Анатолий на стороне. Он привык к тому, что все дела, занимавшие его мысли, и люди, имевшие отношение к его делам, были за пределами этой чужой квартиры. Сюда он сам приходил по инерции, ругая себя и не находя сил осуществить давно принятое, единственно разумное решение.

Все правильные выводы, которые приходили на ум, когда он наедине с собой или в беседах с Ольгой Васильевной обсуждал свою нескладную жизнь, теряли силу в присутствии Кати. Он видел в ней жертву родительской глупости, терялся, когда она плакала, верил, что она его любит. Обдуманная твердость казалась ему в такие минуты недопустимой жестокостью, и окончательное решение снова отодвигалось в будущее. Ничто так легко не откладывается до бесконечности, как правильные, но трудные решения.

Когда Антошка спросила, можно ли приехать, он действительно не понял, почему бы ей этого не сделать. Ему и на ум не пришло, что ее приход может не понравиться Кате. Предвидеть такое он был не способен.

– Кто это? – спросила Катя.

– Антошка, дочь Ольги Васильевны.

– Забавно, – протянула Катя. Она узнала голос, досаждавший ей по телефону, но только сейчас поняла, что он принадлежит Антошке. В ее представлении Антошка была еще маленькой девчушкой, которую она когда-то видела, навещая Ольгу Васильевну. – Что ей нужно?

– Не знаю, наверно мать что-нибудь поручила. Придет, расскажет.

Вечер выдался благополучный. Они сходили в кино, счастливо избежали в разговоре больной темы и мирно занимались каждый своим делом. Анатолий писал и перечеркивал отчет о ходе педагогического эксперимента, запрошенный начальством, а Катя перелистывала комплект польского журнала мод. Стариков дома не было, отбывали повинность на каком-то юбилее, где обязательно нужно было показаться.

Антошка выглядела необычно. Уголки глаз были оттянуты черным карандашом чуть не до ушей. Новая прическа придала ее мальчишескому лицу залихватское выражение. Пестрая кофточка была стянута до полной узости на тонкой талии. Анатолий не знал, что она явилась в полном вооружении на поединок с Катей: «Смотри и сравнивай, кто из нас лучше».

Она вошла размашистым шагом, ничем не выдавая

своего смущения, говорила в полный голос, протянула Кате руку, как старой знакомой, и уселась в первое попавшееся кресло, как будто бывала здесь запросто. Она не удостоила взглядом обстановку продуманного уюта, созданного Катей, и сразу же приступила к подробному рассказу о поездке в спортивно-трудовой лагерь.

Антошка впервые видела Анатолия в семейной обстановке, видела рядом женщину, которая имела право называть его «мой муж», и ей захотелось зареветь, броситься вон из этой квартиры. Поэтому она чересчур звонко и весело, не к месту смеясь, рассказывала о комиссарах, об испорченных мальчишках, ставших такими славными спортсменами и музыкантами. При этом она смотрела на Анатолия, улыбалась ему, как будто никого больше в комнате не было.

Анатолий слушал с интересом, но не понимал, какая срочность в этом рассказе, почему Антошке потребовалось примчаться к нему именно сегодня вечером. Что-то в ее поведении показалось ему искусственным, неискренним, но разобраться в ее чувствах он и не пытался. Антошка сама сообразила, что пора как-то оправдать свой поздний визит.

– Понимаешь, нужно срочно решить с Леной Шрамовым. Это мысль Марата Ивановича, и ребята ее поддерживают.

– Какая мысль и какие ребята?

– Комиссары хотят взять его на поруки. Но не так, как берут обычно, лишь бы взять, без всякой ответственности. Они подадут в деканат заявление по всей форме. В случае, если их порученец – ну, не порученец, а тот, кого они берут, – сорвется и совершит какое-нибудь преступление, то пусть с них удержат месячную стипендию. Со всех комиссаров. Молодцы, Толя. Правда? Скажи, разве не молодцы?

– Не возражаю.

– А у себя в общежитии они выделяют койку и будут жить вместе, помогут учиться. Вот я и договорилась, что они Шрамова возьмут.

– За всех распорядилась, – рассмеялся Анатолий, повернувшись к Кате и приглашая ее принять участие в разговоре. – И за прокурора, и за судью, за всех.

Катя продолжала перелистывать журнал, как будто ее совсем не интересовала эта взбалмошная девчонка.

– Я потому и пришла, – тоном обиженного ребенка сказала Антошка, – чтобы ты распорядился.

– Как я могу распорядиться, чудачка, это дело следователя.

– Но ты же сам говорил, что он паренек неплохой и дела за ним не такие страшные. Говорил или не говорил?

– Но решение-то зависит не от меня.

– Не будь, пожалуйста, чиновником. Что значит не от тебя? Мальчики пойдут к следователю, подадут нужные бумаги, но ты им помоги, и следователю скажи свое мнение. Это ты можешь?

– Могу, разумеется.

– Что и требовалось доказать! Знаешь, как Марат Иванович обрадуется! И мама. Так я завтра скажу комиссарам. Ладно? Тут времени терять нельзя, а то его осудят, и тогда все очень осложнится.

Разговор был исчерпан. Анатолию хотелось угостить Антошку чаем, но он почувствовал, что Катя сердится. Из коридора донеслись голоса Ксении Петровны и Афанасия Афанасьевича. Катя вышла к ним и не возвращалась.

– Я давно Ольгу Васильевну не видел, чем она занята?

– Все пишут. Объяснения в роно, еще куда-то.

Теперь, когда Кати не было в комнате, Антошка потеряла взвинченную оживленность. Она робко оглядела комнату, и ей стало стыдно, что она проникла сюда под придуманным предлогом.

– Почему ты стал так редко приходить к нам?

– Утонул в делах. Тоже пишу объяснения... На днях обязательно зайду, соскучился.

Антошка долго не отводила от него глаз, усмехну-

лась каким-то своим мыслям и встала.

– Я пойду. Извинись перед женой за мое позднее вторжение.

– Ну что ты, я очень рад... и она, – сказал Анатолий, не уверенный, что говорит правду. – Передай привет маме. А комиссары твои пусть позвонят.

В передней никого не было. Из столовой тянуло стужей выжидающего молчания. Анатолий открыл дверь, подождал, пока Антошка вошла в лифт и помахала ему рукой.

Прошло много времени, прежде чем Катя вернулась в комнату. Анатолий уже забыл об Антошке и не сразу понял, о ком с такой яростью говорит его жена.

– Отвратительно! Гнусно! – чужим, шипящим голосом выкрикивала Катя. – Дрянь! Как она посмела?!

– Что ты, Катюша? – испуганно спросил Анатолий. Он никогда не видел ее такой озлобленной и некрасивой. Лицо ее разбухло от злости.

– И ты еще спрашиваешь! Притворяешься незнайкой. Мало того, что ты пропадаешь у этой твари целые вечера, так она еще сюда пожаловала. Какой стыд! Какой стыд!

– Катя! Сейчас же перестань психовать. Объясни, в чем дело?

– Мне теперь все понятно. Все, все, все! Ты думаешь, я не видела, как она на тебя смотрела, как вы-

ставляла колени, как улыбалась? Ты думаешь – я слепая? Хватит! Прозрела. Если ты живешь с этой шлюхой...

– Катя! – громко, как никогда не кричал, оборвал ее Анатолий. – Ты с ума сошла! Как ты смеешь оскорблять эту девочку!

– Хороша девочка! По десять раз звонит женатому человеку, скрывает свое имя. Мало ей, что она встречается с ним на своей квартире, так она еще сюда вваливается. Ты думаешь, я не знаю, зачем она приходила? Ошибаешься. Все эти разговоры о лагере – выдумка. Ей нужно было посмотреть твою квартиру, твою комнату.

«Это она не сама придумала. Это ее мамаша придралась к случаю, чтобы подлить масла в огонь. Но как она могла поверить? Какая дура! Какая злая дура!»

Если бы Катя умела читать письма, проступающие на лице возмущенного человека, она испугалась бы и опомнилась. Но она безошибочно прочла другое – откровенное кокетство Антошки, оскорбительную нежность ее взглядов, ее голоса. Она знала теперь, что эта девчонка влюблена в ее мужа, и не верила, что Анатолий ни в чем не повинен. Если раньше все беды их семейной жизни можно было объяснить ее нерешительностью, ее любовью к родителям, то

сейчас пришло другое объяснение – более понятное и снимавшее с нее вину.

– Когда мы тебя всей семьей просили помочь Гене, ты пальцем о палец не ударил. А стоило этой твари попросить за какого-то хулигана, как ты сразу же согласился. Какая я была дура! Я доверяла тебе, доверяла этой старой сводне – Ольге Васильевне.

– Катя! – предостерегающе спокойно сказал Анатолий.

– Сводня! Сводня!

Анатолий встал. Все прежние доводы рассудка, которые обычно теряли силу в этой комнате, приобрели ясную четкость окончательного решения. Больше оставаться здесь невозможно. Он уйдет. Немедленно. Он вышел, достал из чуланчика свой старый чемодан и стал неторопливо укладывать вещи, книги, бумаги.

Катя на мгновение замолкла, уставилась на чемодан ошалелыми глазами и еще визгливей запричитала:

– Спешись к ней! Стыдно стало вести двойную жизнь! Бежишь в свой вертеп! Беги, беги! Лицемер! Жалкий лицемер!

Анатолий закрыл чемодан и сказал очень спокойно:

– Сюда я больше не вернусь. Если ты опомнишься и поймешь всю глупость и низость того, что тут наговорила, позвони. Только от тебя зависит, расходимся

ли мы временно или навсегда.

Он ушел. С истошным криком Катя повалилась на тахту. Ксения Петровна и Афанасий Афанасьевич бросились к ней, как к утопающей.

25

Вовка Серегин вернулся из суда с видом победителя. За «умышленное тяжкое телесное повреждение» уголовный кодекс грозил ему лишением свободы «до восьми лет». Ребята, обсуждавшие с ним возможный приговор, предсказывали «пятерку». А судьи, растроганные жалким видом этого недоростка, слезливо шмыгавшего носом на скамье подсудимых, проявили нежданную милость.

Если бы, кроме медицинских справок, подшитых к делу, в зале суда находилась больничная койка с неподвижным телом юноши, изрезанного Вовкой, надо полагать, что добрые чувства судей нашли бы иной выход. Но подобного рода доказательства процессуальным порядком не предусмотрены, поэтому на весах правосудия забота о Вовке Серегине перевесила бумажки, написанные невыразительным медицинским языком.

Из трех лет, записанных в приговоре, Вовка, если

умно себя поведет, отбудет в колонии меньше года. Это ли не удача! Вернувшись в камеру, он даже лихо сплясал на одном месте, встав на руки и подпрыгивая ногами в воздухе. Теперь ему хотелось поскорее выбраться из надоевшего изолятора и попасть в зону, где ни разу не бывал, но о которой наслышался немало. Еще на свободе бывалые приятели подготовили его к порядкам в колонии. Вовка был уверен, что найдет там веселых дружков и сумеет извлечь пользу из недолгого пребывания за проволокой.

Настроение у него испортилось, когда он узнал, что Леньку Шрамова выпускают на поруки. В изолятор приходили какие-то студенты, беседовали с Ленькой, и он не сегодня-завтра выйдет на волю. Вовке стало обидно. Он всегда чувствовал себя обиженным, когда кому-то другому выпадала удача. А обида влекла за собой злость.

Вообще-то Вовка недолюбливал всех своих соседей по камере. Но Ленька особенно раздражал его своей неприязнью к хулиганам. Научился он этой неприязни у Павлухи Утина. Павлуха в первый же день их знакомства высказал Вовке все, что о нем думает. А думал он о нем плохо и говорил с презрением. Для Утина воровство было делом – одним из способов добывать деньги, чтобы прожить. В воровстве он находил смысл. А на хулиганов, причинявших лю-

дям страдания просто из жестокости, ради потехи, он смотрел как на бешеных собак.

Утину Вовка прощал, потому что ничем ему повредить не мог. Вовка его боялся. А Леньке Шрамову, повторившему самые злые Павлухины слова, простить не мог. Он все надеялся, что они попадут в одну колонию, и там собирался выдать Леньке сполна. И вдруг этот Ленька выходил на свободу, не дождавшись суда. Вовке это показалось возмутительной несправедливостью.

За работой они сидели втроем. Утина вызвал следователь, привез обвинительное заключение. Клеили плоские коробочки для цветных мелков. Вовка в который раз рассказал, как он ловко обвел толстую тетку, сидевшую в мягком судейском кресле, и передразнивал прокурора. Но его не слушали. Ленька думал о своих делах и улыбался своим мыслям. А Генка тоже не интересовался судом, а расспрашивал Леньку о студентах: кто они? знакомые или родственники?

Камерная фантазия разукрасила предстоящее Ленькино освобождение на скорую руку придуманными подробностями. Говорили, что у Леньки объявился какой-то родич профессор, который устраивает Леньку в институт, что он будет получать стипендию и плевать в потолок. Ленька уверял, что студентов видел в изоляторе первый раз и понятия не имеет, откуда о

нем узнали. Все это казалось Генке очень странным. Он знал, что у Ленкиных родителей никаких влиятельных знакомств нет, значит, никто на следователя не давил, и все-таки его выпускают, хотя он и вор.

Вовка ковырнул кисточкой клейстер так, что во все стороны полетели брызги.

– Перестань, – сказал Генка.

– А чего? – огрызнулся Вовка. Но не вскочил. С двумя связываться не хотел.

Немного поработали. Вовка надавил на свою кисточку и переломил ее пополам. Стал пользоваться Ленкиной. Потребовал, чтобы кисточка лежала ближе к его руке. Ленка не возражал. Это озлило Вовку еще больше. После приговора он чувствовал себя в изоляторе гостем, не связанным жесткими требованиями, обязательными для других. Правда, еще нужно получить характеристику. Но распиравшая его злость пересиливала всякие разумные соображения. Было одно сильное желание – избить счастливчика Ленку.

– Не трожь! – крикнул он, когда Ленка потянулся за кисточкой.

Ленкина рука повисла в воздухе. Он понимал, что Вовка ищет повода для драки. А драться ему сейчас, накануне освобождения, никак нельзя. Любое нарушение дисциплины могло испортить ему жизнь. Но и подчиниться Вовке, признать, что струсил, не позво-

ляло самолюбие. Ленька взял кисточку. Вовка вскочил и ударил его кулаком по руке. Ленька оттолкнул его. Вовка схватил чашку. Он ощущал горячую тяжесть клейстера и норовил попасть в глаза. Ленька успел прикрыть лицо локтем. Клейкая слизь расползлась по голове. Ленька вскрикнул не столько от боли, сколько от страха.

Раздирая на себе рубашку, Вовка побежал к дверям звать дежурного. Уже на бегу он повернулся к Генке и показал кулак – молчи, мол. Размазывая слезы и задирая порванную рубаху, Вовка кричал:

– Гад Шрамов набросился. Мне, говорит, ничего не будет, меня на поруки взяли.

Такого происшествия в изоляторе давно не было, Анатолий не сомневался, что зачинщиком драки был Серегин. Он корил себя за то, что сразу же после суда не пересадила хулигана в другую камеру. Можно было предвидеть, что Серегин после приговора сорвется. Для таких, как он, мягкий приговор – поощрение, залог безнаказанности на будущее. Не трудно было предсказать, что свою удачу он отметит какой-нибудь гнусной выходкой. Огорчение и радость проявляются у него одинаково – в буйном стремлении нарушить чей-нибудь покой.

Но как мог ввязаться в драку Шрамов? Это уже совсем непостижимо. Анатолий не раз создавал в сво-

ем воображении сглаженный, подогнанный под определенную схему образ того или другого подростка и потом убеждался, что схема неверна, а сам он обманывался. Неужели и Шрамов совсем другой, не такой, каким показался?

Ввели Генку. Анатолий еще не разговаривал с ним по душам после его свидания с отцом. Не хотел торопить события, видел, что Генка думает. У него и лицо стало другое. Можно изобразить любое чувство. Труднее всего подделать печать напряженной, углубившейся мысли.

– Садись. Ты был свидетелем драки?

– Был, Анатолий Степанович. Все видел. Шрамов не виноват.

Он говорил без пауз, готовыми фразами. Наводящих вопросов не потребовалось, он рассказал все, как было.

– Сегодня соберемся, и ты расскажешь, так же как мне, – сказал Анатолий.

– Конечно, – подтвердил Генка.

Они смотрели друг другу в глаза и читали в них больше, чем было сказано: «Я не боюсь ни Вовки и никого другого, можете на меня положиться». – «Молодец! Ты меня обрадовал».

Среди «актива», собравшегося в воспитательской, в большинстве были новички. Опять ушли многие из

тех, кто привык к соревнованию, к взаимной требовательности, к гласным разговорам о тайных мыслях и делах. Из тех, на кого можно опереться, остались одиночки. С их помощью нужно приниматься за обработку новеньких, опять подбирать соседей по камере, искать нужные слова, придумывать новое, ощупью пробираться сквозь потемки чужих душ. Когда? Когда остановится этот конвейер, выйдут последние и навсегда опустеют камеры?

– Мы собрались сегодня по чрезвычайному поводу, – сказал Анатолий. – В рабочей камере произошла драка. Серегин, расскажи.

Вовка нехотя встал. Говорил, как обиженный.

– Известно, как было. У дежурного записано. Пристал этот из-за кисточки, рубаху порвал. Вон Рыжов видел.

– Врешь! – громко сказал Генка.

Серегин повернулся к нему, затряс сжатыми кулаками, завопил.

– Сговорились! Падлы! Гниды!

– Серегин! – одернул его Анатолий. – Сейчас же замолчи, или тебя выведут. За оскорбление товарищей получишь дополнительное наказание. Садись... Рыжов, подойди, расскажи, как было.

Генка повторил все, что говорил Анатолию.

– Шрамов! Так было дело, как рассказал Рыжов?

Можешь что-нибудь добавить?

На голове Леньки синели пятна какой-то мази. Он долго стоял, но ничего не мог поделаться с прыгавшими губами. Казалось, что он сейчас заплачет.

– Садись, все ясно. Кто хочет оценить поведение Серегина?

Новички хмуро поглядывали на Генку. Он выглядел доносчиком, прислужником начальства. Но и Шрамова было жалко. Они молчали.

– Дайте мне, Анатолий Степанович, – поднял руку Утин.

– Говори.

– Меня в камере не было. Но Серегина я знаю. И Шрамова знаю. Как Рыжов тут говорил, так оно и было. Только вот чего он не сказал. Про то, что Шрамову выходить на волю. На поруки его берут. А этот... нарочно, чтобы сорвать ему выход, чтобы под приказ подвести, полез в драку. За такую подлость против своего... – Утин подумал, но должной кары не нашел. – Раньше в зоне за такие дела... – Договаривать он не стал. Вернулся на свое место.

Новички слушали Утина разинув рты. Урок, на который рассчитывал Анатолий, созывая это собрание, состоялся. Это выступление авторитетного вора запомнится крепко, крепче многих бесед воспитателя. Они поймут, что Генка вел себя правильно, а Сере-

гин – пакостник, которому нет пощады и от своих. А главное – перед ними во всей наглядности предстала самая невероятная истина: интересы администрации могут полностью совпадать с их личными интересами.

– Как будем наказывать Серегина? – деловито спросил Анатолий.

– В штрафную на полную, – без промедления откликнулся Утин.

– Может быть, у кого-нибудь есть другие предложения? .. Нет? Согласен. Еще несколько слов. Серегина сегодня судили. Срок дали самый малый. Судьи посчитали, что он раскаялся, и пожалели его. Администрация изолятора не согласна с этим приговором. Мы полагаем, что Серегин одумается не скоро, для этого ему нужно поработать в колонии подольше. Вместе с прокуратурой мы опротестуем приговор народного суда и будем добиваться большего срока. Всем понятно, почему мы это делаем?

– За то, что подрался, – высказал догадку кто-то из новичков.

– Нет. За то, что он дрался, его отправят в штрафной изолятор. А приговор мы опротестуем, потому что убеждены – Серегин не только не раскаялся, но продолжает оставаться опасным для общества хулиганом. То, что он здесь для вида проявлял активность,

никакого значения не имеет. Нам не вид важен, а искренность, настоящее желание исправиться. Выпустить Серегина через год-два – значит дать ему возможность ударить ножом еще какого-нибудь хорошо человека. Этого мы допустить не можем. Пусть проживет в зоне несколько лет, одумается, там видно будет. Ясно?

– Все правильно, Анатолий Степанович, – вызываясь громко, за всех ответил Утин.

Серегин вскочил со своего места. Лицо его было искажено злобой. Руки, казалось, искали, кого бы ударить. Размахивая кулаками, он завопил:

– Права не имеете, падлы! Нету права!

– Выведите его и сдайте дежурному, – спокойно приказал Анатолий.

Соседи Серегина подхватили его под руки и выволокли в коридор.

– У меня еще одна информация, – продолжал Анатолий. – Утин уже сказал, что Леня Шрамов выходит на свободу. Это верно. Выходит он потому, что прокуратура нашла возможным не отдавать его под суд. Учли и то, что в изоляторе он вел себя хорошо, товарищей не подводил, воспитателям не врал. Видно, он действительно решил бросить старое. Поэтому, когда общественность одного института стала просить Ленью на поруки, администрация изолятора поддержала

их ходатайство. Леня начнет жить по-новому, и я хочу пожелать ему... Ну, чего тебе пожелать, бывший заключенный Шрамов?

Леня смотрел на всех счастливыми глазами и бормотал что-то чуть слышное. Раздался смех. Потом захлопали.

26

Катя совершала очередной обход магазинов. Она в этом никому не признавалась, но была уверена, что никакая картинная галерея не могла соперничать с хорошим универмагом яркостью красок и силой впечатления. Катя не верила, что голая мраморная статуя может так же заинтересовать человека, как манекен на витрине, демонстрирующий новую модель вечернего платья.

В универмаге все дышало жизненной достоверностью, все было близко, понятно, будило мысль, разжигало мечты. Разве пробиваются даже к самым знаменитым картинам, как к заветному прилавку? Сколько любознательности в глазах покупателей! Какой живой обмен мнений! Какая искренность чувств и переживаний!

После ухода Анатолия минула неделя. Катя знала,

что он живет в офицерском общежитии, и ждала его возвращения. Без него стало совсем тоскливо. Поразмыслив, она пришла к выводу, что никакого романа у него с Антошкой не было, что все это ей померещилось. Но снять трубку, позвонить ему, признать себя виновной не могла. Надеялась, что он позвонит первый. Не могла поверить, что его решение окончательное. Как ни уговаривала ее Ксения Петровна, что все идет хорошо, что нужно думать о разводе, Катя не соглашалась. Она стала грубить матери, вечерами сидела запершись в комнате и ждала.

Приходил Игорь Сергеевич. Убеждал ее переехать с Анатолием в квартиру, которую он забронирует и оставит им. Он снова разругался с ее родителями, и на этот раз, видимо, всерьез.

От дурных мыслей Катя отвлекалась с помощью магазинных витрин. Покупки она делала редко, без мамы не решалась. Но всяких интересных соображений накапливалось столько, что хватало на длинный разговор в любой компании. И сейчас она уходила ни с чем, так же как уходят из музея, но уставшая и обогащенная. Перед тем как выйти на улицу, она остановилась перед зеркальным простенком, окинула себя контрольным взглядом, осталась довольна и застыла на полуобороте. Из зеркала на нее смотрело знакомое улыбающееся лицо.

– Здравствуйте, Кэт!

– Здравствуйте, Олег! Где вы пропадали?

– Только что из экспедиции. Шел, думал о вас и даже не удивился, когда увидел.

– А ну вас, – отмахнулась тоненькой перчаткой Катя. – Всегда врете.

С Олегом Катя случайно познакомилась у Таисии Петровны. Это он ввел ее в мир киноискусства, познакомил с режиссерами, заставил потеть на массовках и пережить еще одно разочарование. Но она не сердилась на него. С ним всегда было легко и весело. Он привлекал взгляды других женщин. Он ничем не был похож на Анатолия.

Олег взял ее под руку так нахально и бережно, что отстраниться никак нельзя было.

– Поднимемся.

– Куда?

– Наверх. Посидим в кафе. Мне вам многое нужно рассказать.

По дороге он уверил ее, что режиссер Кордебовский не забывает о ней ни на миг. Он напоминает при каждой встрече: «Олег, не упускай из виду ту крошку! Я ее вижу. Она станет звездой». Кордебовский работает над новым сценарием. Ему очень трудно. Чиновники из худсоветов и комитетов не понимают его дерзких замыслов, душат его, но он не сдается. Он идет

своим путем. Как только сценарий будет готов и пройдет все рогатки, Катя без всяких проб будет зачислена на картину. Нужно ждать, осталось немного.

Катя недоверчиво улыбалась. Ей хотелось верить. Олег, не запинаясь, называл сложные фамилии итальянских и французских кинорежиссеров, которых вскоре заткнет за пояс Кордебовский, вспоминал имена актеров и актрис, подобранных вот так же, как Катя, при случайном знакомстве и известных сейчас всему миру. Он говорил, наклонившись к порозовевшему Катиному уху, говорил увлеченно, как бы стараясь передать ей свою веру в ее блестящее будущее. И все теснее прижимал к себе ее руку, захватив и локоть, и пальцы.

Это ей было знакомо. В свое время Олег уже пытался ввести ее в список своих побед. Как-то в перерыве нудной репетиции он завлек ее в тупичок за декорациями и без всякой подготовки изобразил приступ неудержимой страсти. Он прижал Катю к фанерной колонне и стал тискать согласно лучшим кинообразцам, ожидая, пока она размякнет и сама одурееет от вожделения. Но Катя не одурела и довольно сильно ударила его коленкой. Он отскочил и удивился ее лицу. Никаких признаков нежных эмоций, которые после такой атаки проявлялись даже у самых неуступчивых женщин. Ничего, кроме испуга и брезгливости.

Катя не притворялась недотрогой. Ей действительно было неприятно. После этого уязвленный Олег потерял к ней всякий интерес, а в разговоре с приятелями называл ее рыбьим именем «барабулька».

Мамина школа воспитания включала особый курс обращения с мужчинами. Когда Катя была школьницей, Ксения Петровна провела с ней несколько санитарно-гигиенических бесед, водила ее в музей со страшными муляжами и привила ей стойкий страх перед легкомысленными знакомствами и случайными связями. Ксения Петровна убедила ее, что женщине для счастья нужен не мужчина, а обеспеченный муж. А все эти страсти-мордасти, которые заставляют женщин страдать и совершать безумства, придуманы психопатками и раздуты писателями, которым больше не о чем писать.

Прилив нежности у Олега она встретила спокойно, но с затаенным удовольствием. Ей очень хотелось, чтобы кто-нибудь из ее приятельниц увидел ее за столиком кафе с этим эффектным молодым человеком, смотревшим на нее влюбленными глазами.

– Ездили знакомиться с объектами съемки. Адски устал. Оторвался от цивилизации. Впервые за целый месяц вижу милое интеллигентное лицо. Я счастлив, Кэт. Разрешите вашу ручку.

Олег болтал без остановки, оттягивая тот вопрос,

ради которого он целый день выслеживал эту курицу. Наконец решился.

– Как поживают мои друзья – Таисия Петровна, Гена?

– Вы ничего не знаете? – Катя испуганно расширила глаза. – Гена арестован.

Олег откинулся на спинку стула. Рука его, приподнявшая чашку кофе, застыла, как в стоп-кадре.

– Не нужно так шутить, Кэт.

– Уверю вас! Я была уверена, что вы знаете.

– За что?! – трагическим шепотом спросил Олег.

– За спекуляцию тряпками... ну этими, которые продают интуристы.

– За это не могли арестовать.

– Как же не могли, если арестовали.

Олег изобразил крайнюю степень потрясения и задумался. Катя рассказала о приезде Игоря Сергеевича, об адвокате, о попытках выволить Гену, которые кончились ничем. Только о том, что Гена находится под надзором Анатолия, она хотела умолчать, но Олег сам об этом спросил:

– Кэт, дорогая, я еще не могу освоиться с этой мыслью. Гена в тюрьме! Какой-то бред. Скажите, он, наверно, содержится там, где служит ваш муж?

– Да

– Так неужели он ничего не может сделать для Ге-

ны?

– Нет.

– Невообразимо! В таком случае я уверен, что Гену обвиняют в чем-то более серьезном. Убежден. Вы не слышали от своих, может быть, им что-нибудь известно?

Катя покачала головой.

– Вы поймите меня правильно, Кэт. Я испытываю слишком хорошие чувства к этой семье, чтобы ограничиться сочувствием и соболезнованием. Я должен действовать. Тем более что к этим тряпкам, о которых вы говорите, я сам имел некоторое отношение. Но я ни капли не боюсь. Это мелочи быта, за которые судить человека ни у кого не поднимется рука. Но ответственность за Гену я чувствую и готов сделать все. А сделать я могу многое. Вы еще не знаете, какие связи у киношников! Но мне нужно знать точно, в чем его обвиняют. Может быть, его запугал следователь и он по неопытности что-нибудь взвалил на себя... Помните, Кэт, таких разговоров не было? Это очень важно.

И лицо Олега и голос были глубоко взволнованными. Он не притворялся. Судьба Гены его беспокоила. Катя не ожидала от него такого горячего сочувствия, Она была растрогана.

– Я точно не знаю... Игорь как-то говорил, что Гена не хотел в чем-то признаваться, но в чем именно, по-

нятия не имею.

– Как он говорил? Не хотел или не хочет?

– Я не помню. И какое это имеет значение?

– Огромное. Может быть, он раньше что-то скрывал, а потом признался, или, вернее, его заставили наклепать на себя. А может быть, он и сейчас стоит на своем, а следователь только из упрямства держит его в тюрьме. Мне нужно действовать наверняка, поэтому я должен знать, как обстоит дело сегодня.

Катя пожала плечами.

– Давайте договоримся, Кэт. Вы постараетесь сегодня же или завтра узнать у Таисии Петровны, у Игоря, а еще лучше – у вашего мужа, признался ли Гена в чем-то еще, кроме этих несчастных тряпок, или нет. Все, что можно, узнайте: предъявлено ли ему обвинительное заключение, когда суд, виделся ли он с отцом – все, что касается этого дела. А послезавтра в это же время мы с вами встретимся у того же зеркала внизу. Договорились?

– Не знаю, – замялась Катя, – вряд ли я что-нибудь узнаю новое.

– Обязательно узнаете, если захотите. Если вы любите Гену, вы это сделаете.

Катя почувствовала себя неловко, – постороннему человеку приходится упрашивать ее помочь ее же двоюродному брату. Она согласилась.

– Я постараюсь.

– Отлично! Да... – Словно вспомнив чуть не забытую мелочь, Олег добавил: – Одно обязательное условие. Вы никому не расскажете, что видели меня и спрашиваете по моей просьбе. Никому! Ни одному человеку. Успех моих действий зависит от этого условия. Я втяну в это дело очень крупных лиц, и они должны остаться в полной тени. И я вместе с ними. Стоит об этом узнать вашей матери или Таисии Петровне, и все лопнет. Если все будет в тайне, Гена через несколько дней явится домой.

Катя не поняла, почему Олег должен остаться в тени вместе с какими-то крупными лицами, но задавать вопросы постеснялась. Олег выглядел мудрым и всемогущим. Как хорошо, что они случайно встретились. Потом, когда все утрясется, она расскажет, какую благородную роль сыграл этот, такой, казалось бы, легкомысленный человек.

– Послезавтра я, возможно, принесу вам приятные вести и от Кордебовского, – для прочности подкинул Олег. – Будем двигать оба дела сразу.

бумаги, совсем еще чистый, белый лист, который можно сложить вдвое, вчетверо, так ничего на нем не написав. Слова теснились в черном носике пера. Между ним и бумагой был совсем маленький просвет. Чуть-чуть нажать – и они выбегут на белое поле. И тогда – конец, конец всему, что было.

Обвинительное заключение, составленное следователем и утвержденное прокурором, Утин читал с увлечением. Все было верно: адрес, время, квалификация преступления. До этого они долго дурачили друг друга. Следователь делал вид, что имеет гораздо больше доказательств, чем было их в действительности, и хотел заставить Павлуху признаться в других кражах, совершенных в том же районе за короткий срок. Слишком уж был схож объединявший их воровской почерк. Но прямых улик у следователя не было. Поэтому он по-разному пытался расколоть Павлуху, пробиваясь к его сознательности и затаенным чувствам,

Но Павлуха твердо стоял на своем, уверял, что влип случайно, что чемодан ему подбросил какой-то незнакомый мужчина, что сам он давно завязал, короче говоря, травил, не особенно изощряясь, лишь бы позлить следователя. Он знал, что суд все равно признает его виновным в последней краже, примерно представлял себе, что ему грозит, и заранее с этим

примирился.

В изоляторе разговоры о явке с повинной начались исподволь. Говорили об этом воспитатели, доказывали, что от повинной ничего, кроме пользы, подсудственному не бывает, что суд учитывает чистосердечное признание и лишнего срока не дает, а на душе становится легче, и в колонии больше доверия, и шансы на досрочное освобождение повышаются. Утин считал эти разговоры продолжением следовательских уловок, на посулы не клевал и о своем душевном спокойствии не беспокоился.

Но как-то вернули из колонии в изолятор давнего Павлухиного знакомца Гошку Чугунова, по кличке Зараза. Судили его незадолго до этого за грабеж, дали срок, а теперь потянули за прошлое. Поймали кого-то из Гошкиных поделщиков, и те запутали Заразу в других делах. Новый суд не обещал ему ничего хорошего, и он ходил мрачный. «Мне бы сразу заодно взять на себя все, что имел, – сокрушался он при Павлухе, – был бы сейчас чистым. А теперь как подвешат, будь здоров... Говорил мне Анатолий Степанович, предупреждал, все так и вышло».

Это признание было лишней каплей в сомнения Утина, и без того не дававшие ему покоя. Водоворот соревнования втягивал его все глубже, заставлял думать, делать и говорить совсем не то, что полагалось

бы уголовнику. И когда приходила мысль о повинной, он задерживался на ней не потому, что боялся, как бы не продали поделельники, оставшиеся на свободе. Хотя и полной уверенности не было, – спасая свою шкуру, любой может свалить на другого, но не в этом дело...

Утин мог врать, да и то не ахти как изобретательно, когда боролся со следователем. Но юлить, раздвигаться среди своих, обещать одно, а делать другое он не умел и не любил это уменье у других. Жизнь в изоляторе по новым правилам, соблюдение которых он сам отстаивал, пришлась ему по нраву. С тех пор как привычное воровское бездумье сменилось размышлениями о другой жизни, груз затаенных преступлений давил все сильнее. Это было последнее, что связывало его с прошлым.

По глазам Анатолия Степановича Утин видел, что тот не верит в его искренность, так же как не верил следователь. И не верит только потому, что твердо знает: есть за Павлухой гораздо больше краж, чем это значит в обвинительном заключении. Сознать это было обидно, – во всем другом Павлуха душой не кривил.

Анатолия Степановича он никогда не считал своим врагом. И если поначалу относился к нему с недоверием и не вслушивался в его беседы, то скорее по привычке, поскольку воспитатель был в другом лаге-

ре и зарплату получал за то, что помогал прокурорским работникам держать, изобличать и наказывать таких, как Павлуха.

Сейчас, перед судом, Павлуха уже не сомневался, что Анатолию Степановичу можно и нужно верить.

Потому и сидел он над чистой бумагой, нацеливаясь на нее пером, то уже совсем наметив точку для начала, то отодвигаясь как от огня.

А когда начал писать, вспомнил все, каждую кражу, где, когда. Даже давние киоски, о которых все давно забыли, – все вспомнил. Поднимал голову, смотрел в далекое небо за двойной решеткой, проверял день за днем, адрес за адресом и приписывал новое.

Потом, когда по следу Утина пошли другие и заявления с повинной стали обычным делом, никто этому не удивлялся. Сами же ребята, принимая новеньких, советовали им признаваться во всем, очистить совесть и заслужить доверие воспитателей. Но когда пришел Утин и положил на стол свои дополнения к обвинительному заключению, Анатолию трудно было сохранить обычную невозмутимость. Этот листок бумаги значил для него слишком много. Можно было сомневаться в искренности заключенных, пока они ревниво проверяли выполнения обязательств по соревнованию, пока они подпевали администрации ради пинг-понга и положительной характеристики. Все

это могло быть формой приспособления, временным притворством, вовсе не говорившем об успехе педагогического эксперимента. Другое дело – повинная. Ее мог написать только человек, много передумавший и твердо решивший сменить жизненную колею.

Утин не уходил, ожидая, пока прочтут его заявление. Он ждал вопросов.

Анатолий долго водил глазами по бумаге, будто пересчитывая буквы, поднял глаза, улыбнулся, показал на стул.

– Садись. – Опять уткнулся в бумагу. – Порядочно наворочал. Следовательно за голову схватится, всю работу ему переделывать. Здесь все?

– Все.

– В каком смысле? Только во всем повинился или подвел черту подо всем, что было?

– Завязал, – твердо сказал Утин.

– Имей в виду, срок тебе дадут, опять в зоне будешь. Выдержишь?

– Теперь мне назад пути нет.

– Это верно. Но знаешь как бывает... Здесь одно, а там другие нажимать начнут. Пугать кое-кто будет.

– Меня не напугаешь.

– Верю. Мне бы очень хотелось, Павел, не обмануться в тебе. Хороший человек из тебя получится. Крепкий. Только выдержи, найди в себе силы, не под-

давайся. Сумел круто повернуть, сумеи выдержать направление. Выйдешь досрочно, прямо ко мне приходи, я помогу, с работой помогу, всем, что нужно, – помогу. Ты об этом помни.

– Спасибо вам, Анатолий Степанович.

– Рано спасибо говоришь. Вот вернешься, встанешь на ноги, тогда... Иди.

28

Киностудию Игорь Сергеевич представлял себе только по описанию Ильфа и Петрова и несколько смутился, когда попал в строгий малолюдный вестибюль. Он думал, что узнает Олега в толпе бегущих по лестнице помрежей и администраторов, возьмет его за шкуру и отведет куда надо. Он хотел сам, своими руками задержать этого негодяя. Теплилась надежда – а вдруг заслугу отца учтут, когда будут судить сына.

После свидания с Генкой он перестал звонить друзьям и бегать по учреждениям, чаще сидел дома и старался больше думать о Севере. Одолевали его и домашние заботы. Таисия Петровна хворала. Она слегла, придумав себе болезнь, чтобы смягчить гнев мужа, но вызванный врач долго ее выслушивал, потом предложил лечь в клинику на обследование, и

кончилось тем, что Игорь Сергеевич испугался за жизнь жены, а она почувствовала себя совсем слабой.

Хотя Ксения Петровна часто навещала сестру и назойливо предлагала свои услуги, Игорь Сергеевич предпочитал обходиться без ее помощи. Он сам ходил по магазинам и аптекам, сам варил и разогревал еду. Обжигая руки о кастрюльки и сковородки, он чертыхался и даже самые трудные экспедиции в Заполярье вспоминал как приятные прогулки.

Постепенно ярость первых дней растворилась. Трезво рассудив, Игорь Сергеевич решил, что виноват не меньше Таси. В конце концов, за воспитание взрослого сына больше отвечает отец, чем мать, и ему не следовало оставлять семью на долгие месяцы. Вернулась прежняя нежность и помогла полностью обелить жену. Представив себе ее переживания в день ареста Гены, он увидел в ней страдальицу. Ему стало стыдно за несдержанность при встрече. Он пообещал возместить все загубленные вещишки. Таисия Петровна поплакала на его груди и в порыве откровенности рассказала об Олеге. Игорь Сергеевич чуть было опять не взорвался, но сдержал себя без усилий. В качестве трофея он отнес следователю Марушко телефон Олега, сохранившийся в памяти Таисии Петровны. Марушко никакой радости не проявил,

но телефон записал, и расстались они теплее, чем прежде.

Мысль самому задержать Олега возникла, когда пришла эта дуреха Катя и стала, краснея и завираясь, выпытывать подробности Генкиного дела. Когда Игорь Сергеевич напрямик спросил, для чего это ей нужно, она совсем запуталась, сослалась на каких-то заинтересованных людей, которые берутся освободить Гену. Тут уж Игорь Сергеевич взял ее в клещи и не отставал до тех пор, пока она не рассказала о встрече с Олегом.

Таисия Петровна, услышав это имя, вскрикнула и схватилась за сердце, а Игорь Сергеевич, запретив Кате выходить из их квартиры, пока он не вернется, помчался на киностудию. Наконец-то у него появилось настоящее дело, – не унижительные переговоры и бесполезные раздумья, а дело, требовавшее мужской энергии, решительности и физической силы. Он покажет этим чиновникам из прокуратуры, как нужно искать и ловить преступников.

Девушка, сидевшая у окошка бюро пропусков, улыбнулась Игорю Сергеевичу, как улыбались ему все девушки, потом озабоченно почесала тупым концом карандаша свои кудряшки и повторила:

– А фамилии его вы не знаете? Впопыхах он забыл спросить у Кати фамилию Олега, пришлось выкручи-

ваться.

– Забыл, понимаете. Знаю, что работает то ли директором картины, то ли администратором. Он мне очень нужен. Молодой такой, высокого роста, блондин. – Это были главные приметы, полученные у жены.

– Подождите немного, – сказала девушка, закрыла окошко и сняла телефонную трубку.

Минут через десять в вестибюль вышел парень со скучающим лицом. Он подошел к Игорю Сергеевичу и сказал вахтеру: «Пропустите». Они пошли по длинному коридору, потом свернули в тупичок и оказались в маленькой, ничем не примечательной комнате. Усадив Игоря Сергеевича, парень долго раскуривал папиросу и после первой затяжки спросил:

– Вы к кому хотите пройти?

– Я же объяснял девушке. Работает у вас такой Олег, как назло забыл его фамилию, длинный такой.

– Зачем он вам понадобился?

– Станный вопрос. Поручение есть к нему, от знакомых. И какое вам дело? Хочу повидать человека, а тут разводят бдительность, смешно прямо.

– Смешно, – согласился парень скучным голосом. – Вот что, товарищ полковник. Я вам сейчас дам адресок, вы поедете, получите пропуск и попадете к одному товарищу, который хорошо знает этого вашего зна-

когого.

Не дожидаясь ответа, парень стал писать что-то на маленьком листочке. Игорь Сергеевич рассердился.

– Послушайте, мне нужен Олег, а не какой-то товарищ, который его знает. Я, кажется, ясно выражаюсь.

– Очень ясно, – охотно подтвердил парень. – Вот, возьмите эту бумажку и поезжайте. Вас ждут. Пойдемте, я вас провожу.

Только на улице, прочитав адрес учреждения, куда ему надлежало ехать, Игорь Сергеевич догадался, что вел себя по-мальчишески и влип в какую-то историю. Но отступить было поздно, этот паренек сказал, что его ждут.

Пока ему выписывали пропуск, пока он поднимался на лифте, а потом шагал мимо одинаково высоких, темных дверей, его тревожила одна мысль – не навредил ли он Генке?

Навстречу из-за стола вышел лысоватый майор. Он дружески улыбался, протянул руку и подвел Игоря Сергеевича к мягкому креслу.

– Рад вас видеть, товарищ полковник. Присаживайтесь, курите.

– Так это ваш товарищ выпроводил меня со студии? – непринужденно откинувшись на спинку кресла, спросил Игорь Сергеевич.

– Все люди – наши товарищи, – не сгоняя улыбки,

сказал майор, – хорошие люди, я имею в виду. Вот вы – разве не наш?

– Пока служу по другому ведомству.

– Вот именно. А сегодня попытались работать не по специальности... Могли бы хоть нас предупредить.

– А что же вы спите? Гад, который моего сына со-
вратил, жену шантажировал, ходит себе на свободе,
на всех плюет, а мой – в тюрьме. Разве не безобра-
зие?

– И вы поехали на студию, чтобы исправить неспра-
ведливость и задержать преступника. Так вас нужно
понять?

– Точно так!

– И как это вам рисовалось? Предположим, пропу-
стили бы вас. Вы ходили бы из комнаты в комнату и
у каждого спрашивали бы: «Не видали Олега, такого
длинного блондина?» Так, что ли?

– Уж как-нибудь нашел бы!

– Предположим. Нашли бы. А дальше? Вы бы веж-
ливо пригласили его следовать за вами, или прямо в
морду?

– Взял бы и повел.

– А если бы он послал вас куда-нибудь подальше,
что бы вы сделали? Скрутили бы ему руки? Подняли
бы шум? Вызвали бы милицию?

– Какая разница? Главное – задержал бы.

Майор перестал улыбаться и неожиданно спросил:

– Скажите, товарищ полковник, как бы вы поступили, если бы к вам, в пилотскую кабину, когда самолет на высоте, вошел бы пассажир, по профессии сапожник, оттолкнул бы вас и крутанул бы штурвал. Понравилась бы вам такая самостоятельность?

– Вы тоже на высоте?

– Вроде того. Мы рады, когда нам помогают. Спасибо вам за беседу с сыном. Но проводить операции позвольте уж нам.

– А беседа с сыном вам помогла? – обрадовался Игорь Сергеевич.

– Конечно. Теперь он готов изобличить этого Джека-Олега на очной ставке. Это нам пригодится.

– А долго ему, этому гаду, ходить на свободе?

– Столько, сколько мы ему позволим. Он еще должен встретиться с нужными людьми. Нужными ему и нам. Пусть походит. А вы уж, пожалуйста, не мешайте ему.

– А пока он запутывает честных людей.

– Вы имеете в виду Екатерину Воронцову? Встреча в универмаге ничем ее не запятнала.

Игорь Сергеевич всегда уважал мастерство людей, работающих в неведомых ему областях. То, что этому майору известен каждый шаг Олега, даже случайная встреча с Катей, – произвело на него впечатление.

– Каюсь, товарищ майор, виноват.

– А мы вас ни в чем не виним. Просто посчитали нужным сдержать ваш напор. Надеюсь, вы понимаете, что наш разговор разглашению не подлежит?

– Я воевал, товарищ майор.

– Ну, лишнее напоминание не повредит... Разрешите дать вам совет?

– Слушаю вас.

– Уехали бы вы на место службы, до суда по крайней мере. Изведете вы себя здесь.

– Вы думаете, там я буду меньше думать о сыне? Ошибаетесь, хуже мне будет.

– Вам виднее.

– Вы мне лучше скажите, неужели Генка будет сидеть на одной скамье с этим прохвостом?

– Что вы! – громче обычного сказал майор. – Дело вашего сына выделено, идет по другой статье, к нам отношения не имеет. Нам он был интересен только как свидетель.

– Неужели его осудят на заключение? – Этот вопрос вырвался как стон. Он торчал занозой, тесня все остальные мысли.

Майор смотрел в большое окно. Лицо его стало сухим и невыразительным.

– Трудно в таких случаях гадать. Дело суда. Скажу только, сидел бы я на месте судьи, с легким сердцем

ограничился бы условным осуждением.

Игорь Сергеевич посидел еще, пока волнение перестало давить на горло, и встал.

– Благодарю вас, товарищ майор.

– Рад стараться, товарищ полковник, – снова улыбаясь, с шуткой в голосе отрапортовал майор. – Разрешите ваш пропуск, я подпишу.

29

Как всегда, после рабочего дня, Анатолий шел пешком неторопливым прогулочным шагом. Хотя резкая смена обстановки стала привычной, он всякий раз переживал нечто схожее с возвращением из дальней поездки. Жаловаться было не на кого. Он сам обрек себя на каждодневное, бессрочное заключение. Сам взвалил на себя ношу чужих бед и чужого отчаяния. Завтра за ним опять на целый день закроется железная дверь, а пока можно идти, куда ведут глаза.

Он не сразу узнал поравнявшуюся с ним Антошку. Она долго сидела в скверике, ждала его, а когда увидела, обежала квартал, чтобы выйти навстречу, и запыхалась.

– Ты что? – встревоженно спросил Анатолий. – Мама здорова?

– Ну конечно здорова. Чего ты испугался? Случайно проходила мимо, вижу – ты идешь. Или мне нужно было сделать вид, что я тебя не заметила?

По Антошкиному лицу ничего нельзя было понять. Не было на нем ни радости, ни печали, – только волнение, неизвестно чем вызванное. Анатолий не видел ее после памятного вечера у Воронцовых и сейчас снова испытал стыд за грязные Катины слова.

– Ты говоришь неправду, Антоша. Встретила ты меня не случайно. Что-то стряслось.

– Хорошо. Стряслось! – Антошка крепко взяла его под руку и пошаркала туфлями по асфальту, приставляя к его шагу. – Стряслось удивительное происшествие. Мне захотелось пройтись с тобой, вот так, погулять. Имею я на это право?

– Допустим.

– Мы с тобой еще ни разочка не ходили по улице, не ходили в смысле – прогуливались.

– Что-то темнишь, Антошка. В университете порядок? Как экзамены?

– И в университете порядок, и дома порядок, и в городе порядок. А ты меня любишь?

Обычная Антошкина манера – ни с того ни с сего озадачивать собеседника несуразными вопросами.

– Терпеть тебя не могу.

– А я могу.

– Что можешь?

– Терпеть могу. Тебя. Хотя это нелегко. Ты иногда бываешь такой... – Антошка не нашла слова и не закончила фразу.

После объяснения с Катей Анатолий часто вспоминал ее грубые, несправедливые обвинения. Они по-прежнему возмущали его и укрепляли в принятом решении. Он удивлялся женской фантазии, способной так извратить невинную привязанность девчонки, оставшейся без отца, к старому другу семьи. Но в то же время Катя заставила его перевероршить в памяти Антошкины слова и поступки за последние месяцы. Шевельнулось было подозрение, что все не так просто, как ему казалось. Но он легко отмел его.

Вполне естественно, что Антошка относится к нему с нежностью, и улыбается ему ласково, и ведет себя с ним как с близким человеком. Ведь она выросла на его глазах. Он был ее старшим братом, которого она обнимала при встрече, кому доверяла свои тайны, с кем делилась радостью. Как же ей вести себя иначе? Может быть, она сама запуталась и не может разобраться в своих чувствах? Так это же так просто распутать... Глупости, ей такое и в голову прийти не могло.

– Как твой Гена? – спросила она.

– Завтра суд.

- Посадят?
- Не думаю.
- Ты доволен?
- Да.
- Ты куда идешь?

Анатолию не хотелось говорить ей, что он живет в общежитии. Хотя Ольга Васильевна уже в курсе событий и Антошка, наверно, тоже знает.

– Мне еще нужно зайти в одно место.

– А потом?

– Что потом?

– Куда пойдешь?

– Ты какие-то странные вопросы задаешь. Потом, потом... Потом пойду к себе спать.

Антошка посмотрела на него сбоку, даже вытянула вперед голову, чтобы увидеть все его лицо, и замолчала. Рука ее вздрогнула.

– Когда уезжаешь в экспедицию? – спросил Анатолий.

Антошка не ответила. Анатолий остановился, повернул ее лицом к себе, поднял обеими руками ее опущенную голову.

– Ты чего?

Антошка послушно держала закинутую голову в его ладонях. Глаза смотрели страдальчески. Сжатые губы дрожали.

– Что с тобой, Антоша?

– Ничего, – сказала она, освободившись, и снова взяла его под руку.

– Ты мне загадок не задавай, и без того тошно, – сердито сказал Анатолий.

– Пойдем к нам, Толя, – чуть слышно сказала Антошка.

– Поздно, Антоша, завтра постараюсь выбраться пораньше.

– Совсем пойдем.

– Как это совсем?

– Там тебе плохо. Будешь у нас жить.

«Вот оно что, – обрадовался Анатолий, – это она из жалости считает меня бездомным и прибежала на помощь. Ольга Васильевна прислала или сама додумалась?»

– Спасибо, милая, зачем я вас буду стеснять? У меня в общежитии вполне терпимые условия.

– Ты нас совсем не стеснишь. Мы будем так рады. И мама...

– Ни к чему это, совсем ни к чему. Спасибо тебе и маме за приглашение, но поверь, что мне так удобнее. И от работы близко. И это ненадолго.

– А потом?

– Опять «потом». Потом мы переедем с Катей в свою комнату.

Антошка всхлипнула, быстро-быстро достала из сумки платочек.

– Ты плачешь или сморкаешься?

Антошка долго вытирала нос, глотала слезы, чтобы не мешали говорить.

– Она тебя не любит.

– А ты откуда знаешь?

– Знаю. Она плохая, она тебя не любит.

– Ну, Антошка, это ты уж вовсе глупости говоришь.

Мы с ней любим друг друга, и все у нас наладится.

Он уже догадывался, что слезы не от сочувствия к его бездомности, но еще надеялся, что ошибается. Опять остановился, хотел посмотреть ей в глаза. Но она не далась, отвернулась, потянула вперед. Свободной рукой Анатолий погладил ее пальцы.

– Скажи... Это ты хочешь, чтобы я жил у вас, или мама?

– И мама.

– Но прежде всего – ты?

– Я.

– Интересно, – сказал он, не зная, как подступиться к решающему вопросу. – И как ты себе это мыслишь?

– Ничего я не хочу мыслить. Я думала... ты меня любишь.

– Конечно же люблю. И тебя люблю, и маму.

– А я тебя люблю не так, как маму.

Больше спрашивать было не о чем. В одном Катя оказалась права. Антошка в него влюблена, страдает по его вине. Его охватило чувство растерянности, и жалость к этой девушке, и страх за нее.

– Антоша... Ты заблуждаешься. Ты одно чувство приняла за другое. Ты мне тоже дорога, как самый близкий человек, но... понимаешь, это другое. Ты слышишь меня?

Антошка шла как слепая, цепко держась за его руку.

– Все это тебе кажется. Ты еще полюбишь по-настоящему – молодого, веселого. Какой я для тебя муж? Смех один.

– Перестань, – прошептала она.

– Я серьезно. Все это у тебя пройдет. Помнишь стихи: «...Как с белых яблонь дым»? Вот так и пройдет. Выбрось все эти пустяки из головы.

Анатолий сам с отвращением прислушивался к своим словам. Он смотрел на ее спутавшиеся волосы, на тонкие перекладинки ключиц, и чувство жалости к ней все росло. Если бы он знал!.. А что изменилось бы?

Они сидели на пустом бульваре. Случайные прохожие как будто догадывались, что им нельзя мешать, и скорым шагом обходили их скамью. Анатолий продолжал говорить, сам себе не веря.

– Ты уедешь в экспедицию и вернешься другой. И все будет хорошо, вот увидишь.

Антошка слушала, сжав на коленках руки, глядя куда-то мимо него, не отвечая ни слова.

– Давай забудем этот разговор. Будь мне сестрой, как прежде. Ладно?

Антошка вскочила и уже на бегу крикнула:

– Не хочу!

Она бежала, как будто боялась, что он станет догонять ее своими пустыми словами. Анатолий следил за ней, пока она не скрылась в толпе.

Глухое дело

1

С начальником районного уголовного розыска Колесников встречаться не собирался. Приехав в Лихово, он хотел сразу пересест в автобус, чтобы в тот же день начать работать в Алферовке. Но кто-то сказал ему, что Лукин сам партизанил в этих местах, и он решил задержаться.

Затейливая, с завитушками подпись Лукина красовалась под многими документами дознания. Колесников познакомился с ней еще у себя, в областной прокуратуре, когда сидел над разбухшими папками, с раздражением перелистывал сотни никому не нужных страниц и удивлялся, как обрастает бумагами всякое дело, даже когда оно ни на шаг не продвигается вперед. Никаких заочных симпатий владелец красивой подписи у него не вызывал. Впечатление от работы местных органов расследования было самое безотрадное. Оставалось только дивиться, как умудрились районные криминалисты запутать такое простое дело.

Особенно возмущали Колесникова протоколы до-

просов многочисленных свидетелей. Удручающе однообразные (просматривая их, Колесников чуть не заснул), они отражали поразительное равнодушие допрашивавших и тупое упрямство допрашиваемых. Как будто и те и другие выполняли формальную процедуру, одинаково неприятную обеим сторонам.

Когда Колесникову приходилось исправлять чужие промахи, у него всякий раз возникало чувство собственного превосходства и тщеславная готовность показать, как нужно работать. С таким чувством вошел он в кабинет Лукина, предварительно договорившись по телефону. Лукин встретил его радушно. Никакого смущения не выказал. Когда Колесников спросил, где именно воевал его партизанский отряд, на лице начальника угрозыска отразился дружеский интерес к собеседнику. Он плотно уселся в своем вместительном кресле и начал издали, с того дня, когда по заданию райкома ушел в подполье.

Но Колесников не был расположен выслушивать очередной рассказ о партизанских подвигах. К воспоминаниям ветеранов он относился со снисходительной иронией и терпел их только, когда нельзя было отвертеться. Он был уверен, что все ветераны по человеческой слабости привирают, что о войне уже все рассказано, написано и ничего нового не услышишь. В таких случаях его тянуло похлопать по пле-

чу увлекшегося рассказчика и вставить какую-нибудь охлаждающую фразу вроде того, что «да, было дело под Полтавой...»

Колесников родился и вырос за Уральским хребтом и до конца войны не вышел из допризывного возраста. Было когда-то чувство зависти к старшим, ушедшим на фронт, но потом и оно стерлось. Война перешла в учебники истории и на экраны кино. Читатели и зрители знали теперь о действительном ходе военных действий больше и лучше, чем иной окопный боец сороковых годов. Те шесть лет разницы, которые позволили Лукину воевать, пока Колесников ходил в школу, стали обычными шестью годами, не идущими в счет между взрослыми людьми.

– Простите, – сказал Колесников, – меня интересует только Алферовка. В ней вам бывать не приходилось?

Лукин осекся. Он угадал настроение следователя, и дружелюбное выражение на его лице сменилось обычной должностной внимательностью.

– Нет, в Алферовке не бывал, а по соседству хаживал.

– Так вы, может быть, и про Чубасова слышали?

– А как же! Персона известная... Он у нас в списках состоял.

– В каких списках?

– В предателях. На уничтожение.

При этом Лукин улыбнулся каким-то своим воспоминаниям. Колесников задержался взглядом на его крепких белых зубах и не сразу нашел следующий вопрос.

– Понятно... Значит, лично вам с ним встречаться не доводилось?

Лукин закурил, словно давая себе время на раздумье, и очень доверительно сказал:

– Если бы довелось, наверно, и этого дела не было бы.

Много позднее Колесников догадался, что после этих слов и нужно было вызвать Лукина на откровенность, к которой тот был готов. Но сейчас психологические переживания бывшего партизана казались лишними, отвлекающими от ясной задачи, ради которой пришлось выехать в этот дальний район. Он поспешил задать один из тех вопросов, которыми, как железнодорожной стрелкой, переводят беседу на другую колею.

– А сегодняшняя Алферовка вам хорошо знакома?

– Разумеется.

Лукин толково рассказал о колхозных делах, кратко и не без юмора охарактеризовал некоторых старожилков Алферовки, а когда увидел, что Колесников делает пометки в блокноте, подсказал еще несколько

фамилий, которые могут пригодиться. Они долго вели разговор, как будто условившись не касаться главного – неудачи проведенного расследования. Лукин ждал прямых вопросов, а Колесников хотел сохранить независимость своих суждений, сложившихся за письменным столом.

Колесников поинтересовался, как Лукин попал в милицию, и с удивлением узнал, что оба они одновременно окончили один и тот же институт с той лишь разницей, что Лукин учился на заочном отделении, не бросая оперативной работы. Этим и объяснялось, почему речь Лукина, простая грубоватая речь человека, привыкшего иметь дело с жителями глухих деревень, неожиданно, но к месту, переплеталась с точными юридическими формулировками. Он был совсем непохож на того доморощенного криминалиста, который виделся сквозь строки протоколов. Чувствовалась в нем и большая физическая сила, и лукавый ум, и профессиональная сноровка.

– Скажите, почему вы остановились на единственной версии: «месть»? – спросил вдруг Колесников.

– А других и быть не могло. Драки не было, грабежа не было, и ревности не было.

Колесников хмыкнул.

– Вы мне напомнили анекдот, судебные медики придумали: холеры не было, чумы не было, и тифа

не было. Значит, помер человек от любви. Так рассуждать нельзя. Может быть, и мести не было?

Лукин подпер ладонью высокий лоб, утопил длинные пальцы в откинутых назад черных волосах и не ответил.

– Кстати, – продолжал Колесников, – по вашим вопросам не понять, чего вы, собственно, добивались.

Лукин решил, что наконец начался тот разговор, ради которого и должен был прийти к нему следователь областной прокуратуры. Он приготовился к этому разговору давно.

– Я на вашем месте тоже попытался бы объяснить неудачу следствия умственной ленью районных работников. Но поверьте мне, что дело сложнее, чем кажется. Я имею в виду не сложность сбора и фиксации доказательств.

– А разве это не главное?

– В данном случае возникли сложности совсем иного порядка. Например, имя человека, убравшего Чубасова, известно всему району. Фамилия его – Кожарин, зовут Алексеем.

Лукин достал папиросу, долго разминал ее над пепельницей и даже не взглянул на Колесникова, чтобы полюбоваться его изумленным лицом.

– Я вас не понимаю, – сказал Колесников.

– Приедете в Алферовку, это имя услышите. А до-

казательств нет и не будет.

Колесникова рассердил снисходительно-поучающий тон Лукина. Вместо того чтобы признать свою вину за бездарно проведенное расследование, этот капитан милиции держался чуть ли не победителем. И что за витиеватость! «Человек, убравший Чубасова». Не преступник, не убийца, а «убравший».

– Во всех случаях, когда органы дознания обнаруживают свое бессилие, они оправдываются исключительной сложностью дела. А какое дело не бывает сложным, пока оно не раскрыто?

Чем явственней слышалось раздражение в голосе Колесникова, тем спокойней и тише становился голос Лукина.

– Не подумайте, что я хочу навязать вам свою точку зрения. Просто считаю полезным подготовить вас.

– К чему?

– К той обстановке, которая сложилась в Алферовке.

– Спасибо, но в такой подготовке я не нуждаюсь. Картина и без того ясная. Когда нужно было по горячим следам собирать доказательства, вы занимались никчемной писаниной.

Лукин смел в кучку рассыпанные по столу крупинки табака и стряхнул их в пепельницу. Не поднимая глаз на Колесникова, он сказал:

– Вот познакомитесь поближе с обстоятельствами дела и тогда... Сами увидите, как мала ценность формальных доказательств. В данном случае, конечно.

– Послушайте, товарищ Лукин. Вы со мной разговариваете не как работник милиции, а как древний оракул – так же многозначительно и невразумительно. Я приехал сюда, чтобы раскрыть преступление и отдать виновного под суд. Никакие обстоятельства не могут ослабить силы доказательств. А доказательств не может не быть.

– Спасибо за разъяснение, – улыбнувшись, сказал Лукин и совсем тихо добавил: – Убили-то предателя. Гада раздавили.

– Знаю. Это имеет значение для эмоциональной оценки происшествия. А для закона всякое убийство есть убийство. Или вы считаете, что убийца предателя не подлежит наказанию?

– То, что я считаю, вам неинтересно.

– Пожалуй, вы правы, – сказал Колесников, поднимаясь.

Лукин не стал его удерживать. Протянув на прощанье руку, Колесников спросил:

– Из дела не ясно, кто первым сообщил об убийстве?

– Участкового на месте не было, выезжал в соседний колхоз. Позвонили нам: «Приезжайте, уберите па-

даль». Дежурный спросил: «Какую падаль?» – «Прикончили тут одного, лежит, не пройти, не проехать». – «Кто говорит?» – «Кто знает, тот и говорит». И повесил трубку. Мы и выехали.

– Так и не узнали, кто звонил?

– Не узнали.

– Чудеса...

2

Асфальтовый пяточок, на котором разворачивались автобусы, прибывавшие из Лихова в Алферовку, оказался тем местом происшествия, с осмотра которого и полагалось начинать работу. Протокол осмотра, составленный Лукиным, был полным и точным. Колесников узнал деревянное здание продовольственного магазина, за которым открывались убранные поля. Узнал и скамейку, на которой сидел Чубасов, допивая свой последний стакан водки. Только ближайший дом, попавший на фотоснимок уголовного розыска, изменился: тогда стоял недостроенный, а сейчас – под добротной крышей.

Колесников прошелся по улице. Скамейка действительно хорошо видна, откуда ни взгляни. Лукин не преувеличивал, когда записал, что возможных оче-

видцев было никак не меньше двадцати человек. У продмага вечно толчется народ, кто в ожидании автобуса, а кто и просто так – гуляет. В этом и заключалась самая удивительная несуразность дела: двадцать очевидцев – и ни одного свидетеля! Ни одного! Как будто все они в тот ясный, солнечный день внезапно оглохли и ослепли.

Все обычные вопросы, на которые следователь ищет ответа на месте происшествия, потеряли смысл. Вместо того чтобы искать следы и приметы преступника, придется искать и уличать свидетелей.

Скамейка стоит впритык к глухой стене продмага – широкая, побитая дождем и солнцем доска на вколотенных в землю тумбах. Подобраться к ней сзади невозможно. Да и по характеру ранения видно, что удар нанесен спереди. Убийца Чубасова стоял перед ним, не таясь, лицом к лицу. Оба они находились на виду у всех. Можно было проглядеть самый момент убийства. Но когда раздался предсмертный крик Чубасова, рухнувшего у этой скамьи, невозможно было не заметить человека, нанесшего удар.

Куда он мог побежать? Или через площадь на улицу, или мимо автобусной остановки в открытое поле. Больше некуда. И в том и в другом случае его должны были видеть многие. Почему же они его не видели? Почему не задержали?

Колесников сел на скамью и попытался представить себе, как все происходило. Но картина преступления никак не складывалась. Внимание отвлекали всякие пустяки. Мысли рассеивались.

Из открытой двери магазина пахло хлебом и сеledками. Несколько женщин с мешками дожидались автобуса и крикливо переговаривались, оправляя после каждой фразы платки и вытирая губы. По разъезженной дороге проехал на мотоцикле длинноногий парень, рыжий, как подсолнух. Сзади, обеими руками вцепившись в его ремень, сидела девушка. Она все норовила натянуть подол на оголившиеся коленки, но мотоцикл то и дело взбрыкивал, и девушка испуганно хваталась за парня. А он, повернув к ней красное лицо, говорил что-то смешное и ногами в кирзовых сапогах помогал мотоциклу сохранять равновесие.

Вполне вероятно, что и они были очевидцами, и могли стать свидетелями. Почему же эти люди не хотят изобличить преступника? Боятся его? Ерунда. Бояться может один, но не десятки людей. Не хотят связываться с судебной канителью? И это исключено. Такие преступления заставляют любого человека прийти на помощь следствию.

Колесников еще в студенческие годы увлекся наукой о расследовании и раскрытии преступлений. Головоломки, постоянно возникавшие в следственной

работе, были близки складу его ума и характера. Потом он как-то очень быстро научился подавлять непрофессиональные эмоции: ужас, возмущение, жалость, казалось бы неизбежные при столкновении с жестокостью и бесчеловечностью. Он даже гордился той бесстрастной деловитостью, с которой приступал к анализу доказательств. Со спортивным азартом вел он единоборство с преступником, часто еще безымянным, но уже обреченным на поражение.

Было несколько дел, проведенных им с блеском – последовательно и методично. Об одном из них ему даже предложили написать статью в ведомственный журнал. Статья была опубликована, и областное начальство тепло о ней отозвалось. Хотя прошло лишь восемь лет после окончания института, он уже занимал в прокуратуре заметное место, и никто не удивился бы, узнав о его повышении.

Колесников не преувеличивал научных достоинств криминалистики. Но он крепко верил в могущество методики, разработанной многими поколениями юристов. Он был убежден, что всякое преступление в главном схоже со многими другими, случавшимися ранее. В хаосе человеческих страстей и пороков – свой порядок. Разве мотивы убийств, по существу, не остались без изменения за обозримую историю человечества? Наверно, и первобытный человек уби-

вал из корысти, из ревности, мести, в приступе ярости или безумия, обороняясь от нападения или преследуя врага. Менялись только средства и орудия преступления. Да и то не очень. Так ли уж велика разница между каменным топором и стальным? А поэтому и ключ к раскрытию преступления не нужно вытачивать заново, — он обязательно найдется в старой, испытанной связке.

Колесников спросил у проходившей мимо девушки, как пройти к правлению колхоза, и не спеша зашагал по главной, самой широкой и самой пыльной улице.

Алферовка своим парадным краем выходила к оживленному шоссе. Здесь, на виду у сновавших легковых машин, стояли новые, обнесенные аккуратным штакетником дома. Отодвинувшись в глубь дворов, затененные коротконогими яблоньками и кустами сирени, они смотрели на проезжавших то загадочно черными, то раскаленными на закате, пылающими окнами. Но чем дальше от шоссе уходила улица, тем чаще попадались одряхлевшие, еще довоенной стройки избы, огороженные кривым частоколом и густо зачерненные гарью прошедших лет.

Колесников впервые попал в эту деревню, похожую на многие другие, где ему приходилось бывать. Он присматривался к ней глазами стороннего наблюдателя. Еще в поезде пришло к нему обычное для

командировки чувство высвобождения от служебной лямки. Служба продолжалась, но теперь он один был хозяином своего времени. Важен был только результат его деятельности – то последнее заключение, которое он положит на стол своему начальнику. А как он придет к этому результату, сколько часов будет работать в день, никого не касалось.

Можно снова присесть на лавочку у забора, подставив лицо незлому сентябрьскому солнцу. Торопиться некуда. Можно сидеть, наслаждаться тишиной и сколько угодно думать о вещах и людях, оставленных в городе. Он знал, что сегодня же, как только это странное дело столкнет его с жителями Алферовки, все его мысли, и знания, и воля соберутся в кулак, и он уже ни о чем другом думать не сможет.

3

Похоже было, что Сударев подвернулся случайно. Председатель колхоза, человек в Алферовке новый, встретил следователя из области с открытым беспокойством. Но когда узнал, что Колесникова интересуется происшествием давнее, не имеющее прямого отношения к колхозным делам, повеселел. В это время и приоткрыл дверь Сударев. Он заглянул, увидел по-

стороннего и, не торопясь, подался назад.

Председатель обрадовался ему и крикнул:

– Заходи, Иван Лукич! – И, обратившись к Колесникову, добавил: – Вот это будет для вас полезный человек – старожил и секретарь нашей парторганизации. – И снова к Судареву: – Знакомься, Иван Лукич, товарищ из областной прокуратуры. Окажи содействие.

Познакомив их, председатель не стал задерживаться в кабинете. Сударев сел на председательское место, сложил на столе увесистые руки и уставился на Колесникова с простодушным ожиданием. На правой руке у него не хватало трех средних пальцев. Кожа на старой ране хотя и загрубела, но местами сохранились розоватые следы хирургических швов.

Не только по этой беспалой руке догадался Колесников, что перед ним бывалый солдат, испытавший все, что можно испытать на войне. Сударев явно оберегал свою гвардейскую выправку и опрятность. Даже аккуратно подстриженные седоватые усы на чисто выбритом лице выглядели ухоженными для парадного смотра.

Услышав, какое дело привело следователя в Алфоровку, Сударев удивился.

– Заново? Ездили тут, разбирались.

– Плохо разбирались, Иван Лукич, – наставительно сказал Колесников. – Разве можно такое преступле-

ние оставить нераскрытым?

Сударев возился в кармане, доставая пачку папирос. В его молчании Колесникову почудилось недовольство.

– Бывают такие дела, – объяснил он, – которые сразу не поддаются. Иногда следствие годами тянется. Но вы не беспокойтесь, убийство в Алферовке мы раскроем. А вам, конечно, неуютно жить, когда рядом ходит неразоблаченный преступник.

– Уютности мало, – согласился Сударев. – Да кто ж его знает, где он ходит...

– И это узнаем. Главное, выйти на след, найти свидетелей, улики. А поймать – поймаем. Это не проблема.

– Не проблема, – задумчиво повторил Сударев, по-прежнему вглядываясь в следователя.

– Я рассчитываю на помощь общественности, в первую очередь – коммунистов. Может быть, потребуется собрать колхозников.

Сударев предложил Колесникову папиросу.

– Спасибо, не курю.

Ответ Судареву не понравился. Смягчая улыбкой грубоватость слов, он сказал:

– У нас говорят: кто не любит табачок, тот хреновый мужичок. – И, чтобы предупредить возможную обиду, добавил: – Шутят, понятно.

– И моя бабушка шутила-приговаривала: затынись табачком – станешь круглым дурачком.

Оба посмеялись, Сударев даже громче Колесникова.

– А вы устроились в смысле ночлега?

– Мне председатель обещал тут комнатку для работы.

– То – для работы. А спать? А пить-есть надо? У нас еще гостиниц не завели. И в ресторанах нехватка.

– Найду добрых людей.

Сударев потрогал усы одиноким мизинцем и, будто пересилив колебание, предложил:

– А чего их искать! Прошу ко мне.

Заглянув в блокнот, Колесников сказал:

– Спасибо, но не хотелось бы вас стеснять. Мне рекомендовали обратиться к Даеву, отставнику. Есть у вас такой?

Сударев сразу согласился.

– Можно к Даеву Петру Савельичу, можно. У него места хватит.

Из правления вышли вместе. На крыльце Сударев остановился в нерешительности.

– Мне бы до коровника дойти. Всего и делов минут на десять. А оттуда к Даеву. Познакомлю вас с хозяином, отдышитесь с дороги... Пройдемте, тут близко.

– С удовольствием, – искренне сказал Колесников.

Они прошли до конца улицы и свернули на полевую дорогу.

Колесников, как всегда, когда приходилось бывать в деревне, дышал глубоко, со вкусом, задерживая в груди каждый глоток воздуха. Всю жизнь проживший в городе, он не знал названия трав и цветов, но стеснялся выдать свое незнание наивными вопросами. Он молча радовался свежести неведомых запахов и тому ощущению полной раскованности, которое приходило под огромным, растянутым во все стороны небесным пологом.

Сударев шагал впереди, чем-то озабоченный, не глядя по сторонам. Был он пониже Колесникова, но спину и голову держал как по отвесу и потому казался рослее сутуловатого следователя. Дорога вела прямо к видневшимся вдали скотным дворам, однако Сударев вдруг свернул на узкую тропинку, тянущуюся к небольшой, по-осеннему нарядной рощице.

Когда подошли поближе, Колесников увидел старые, покосившиеся кресты, безымянные холмики, осевшие под тяжестью годов, и кой-где хозяйственно огороженные недавние могилы.

Сударев шагнул на пригорок и остановился у красной фанерной пирамидки, окруженной рослыми тополями. Он словно забыл о своем спутнике и стоял, как в строю, убрав подбородок и вытянув руки по швам.

На ребре пирамидки Колесников увидел массивную латунную доску, обрубленную нехитрым инструментом. Буквы на ней выводились нерасчетливо, но зато она сияла, как только что начищенная. И цветы у пирамидки лежали свежие, принесенные щедрой рукой.

Колесников хотел расспросить о братской могиле, но не решился нарушить ту требовательную тишину, которая бывает только на кладбищах. Он перечитал фамилии погребенных, и в его памяти шевельнулось беспокойство: просилось на свет какое-то воспоминание. Но, только остановившись на крупно вырезанной дате: «8.X.1942 г.», он сообразил, что видел фамилии, выведенные на доске, и эту дату в старом судебном деле Чубасова.

Сударев со всех сторон осмотрел могилу, как будто только для того и пришел сюда, чтобы проверить ее сохранность.

– Партизаны? – спросил Колесников.

– Наши, алферовские, – вполголоса подтвердил Сударев.

– Если не ошибаюсь, они были как-то связаны с этим убитым Чубасовым.

– Связаны, – зло повторил Сударев. – Сам он их вязал, сам пытал и сам вешал. Крепко связаны. – И он круто повернул к дороге.

Прошли несколько шагов. Сударев остановился и совсем по-другому, с тоской в голосе сказал:

– Знали бы вы, что за люди там лежат! Памятники им в Москве ставить. А за нашей околицей никто о них и не знает. Приезжают вот, как вы, даже не взглянут. Зато о Чубасове и в районе, и в области забота. Закон! Мать вашу!.. – неожиданно выругался он и размашистым шагом пошел к скотному двору.

Колесников с недоумением смотрел в сердитую спину Сударева.

– Постойте! – крикнул он. – Товарищ Сударев! Что ж вы так, выругались и пошли.

Видимо досадуя на себя за несдержанность, Сударев неуклюже извинился:

– Не на ваш счет ругань. Надоела больно эта канитель.

– Не в моей обиде дело. Тут какое-то недоразумение. Мне важно разъяснить его с самого начала. Вы ненавидите убитого Чубасова, и это естественно. Но нельзя же забывать, что убит человек.

– Не человек он!

– Погодите. Он был скверным человеком, подлым, но человеком.

– Только что в штанах ходил, а больше ничего в нем человеческого не было.

– Все равно. Жизнь любого человека находится под

охраной закона. Иначе и быть не может. Если каждый будет сам судить, приговаривать и приводить приговор в исполнение, общество превратится в сумасшедший дом. Вы согласны с этим?

Колесников старался говорить спокойно, внятно, как бы растолковывая азбучные истины тупому ученику. Он теперь был уверен, что главная причина того противодействия следственным органам, которое проявилось в Алферовке, – в юридическом невежестве колхозников. Ни Лукин, ни местная прокуратура не смогли просветить их и логически доказать им неправомерность их поведения.

Сударев слушал молча, никак не обнаруживая своего отношения к доводам следователя.

– Вы говорите, – продолжал Колесников, – «забота о Чубасове». Разве об этом речь? Не о Чубасове, а о законности забота, о правопорядке, на котором держится государство.

– И тот, кто порешил его, за порядок боролся.

– Нельзя таким способом укреплять правопорядок. Разрушать можно, а укреплять нельзя. И вы это прекрасно понимаете. Какими бы благородными чувствами вы ни руководствовались, оправдывая убийцу, вы не можете отрицать, что он нарушил закон. Нарушил ведь?

– Ну, нарушил.

– А если нарушил, – радуясь первой победе логики, подхватил Колесников, – значит, должен перед законом отвечать. Не так ли?

Сударев мотнул головой, как будто отгонял комара, даже шлепнул по шее мякишем беспальной ладони и нетерпеливо оглянулся на скотный двор. Колесников торопился закончить мысль, чтобы старому солдату все стало ясно.

– Если я хочу установить личность убийцы, то это не значит, что я сожалею о Чубасове. Это мой служебный долг, а долг каждого человека помочь мне, как представителю закона.

Последние слова он бросил уже в затылок Судареву, входившему в раскрытую дверь коровника.

4

Дача Петра Савельевича Даева стояла на отлете, в дальнем, начисто выгоревшем конце деревни. К ней вела бывшая улица, с обеих сторон отмеченная холмиками заросших руин. Разбежавшиеся кусты и деревья захватили проезжую часть, образовав тенистую аллею. Думал ли Даев, что эта улица еще отстроится, или нарочно отодвинулся в безлюдье, никто не знал.

Еще не было видно ни дачи, ни забора, когда Ко-

лесников услышал натужное шарканье рубанка. На этот звук они и шли. Колесников пробовал возобновить разговор, но повторять сказанное не хотелось, а Сударев отмалчивался и повода для новых разъяснений не давал.

Стандартный щитовой домик с шиферной крышей затонул в густой зелени. Сударев привычно откинул изнутри крючок калитки. Рубанок продолжал свое дело, пока они не подошли к распахнутым дверям сарая.

– Принимай гостей, Савельич! – крикнул Сударев, с хрустом шагая по свежей стружке.

Из сарая вышел сухой старичок с морщинистым небритым лицом и редкими седыми волосами, прилипшими к впалым вискам. В обвисших холщовых штанах и вылинявшей спецовке он был похож на старого работягу, всю жизнь не выпускавшего из рук рубанка. Только очки в тонкой золотой оправе, уверенно сидевшие на хрящеватом носу, как бы предупреждали, что торопиться с выводами не следует.

Даев протянул клейкую от соснового сока руку Колесникову, потом Судареву.

– Чем могу быть полезен?

– Товарищ из области, – показал Сударев на Колесникова, – следовательно.

– Мне рекомендовали обратиться к вам с просьбой о жилье, – сказал Колесников.

– Кто рекомендовал?

Колесников назвал фамилию своего начальника.

Даев кивнул.

– Повезло вам. Только вчера дочка с внучкой уехали.

– Так я пойду, Петр Савельич, – вопросительно сказал Сударев.

– Погоди, Фомина видел?

Они поговорили о какой-то сводке, называли еще другие фамилии, и видно было, что понимают друг друга с полуслова.

– Ладно, иди, – сказал Даев, – я к тебе вечером загляну.

Сударев ушел.

– Пойдемте, покажу апартаменты.

Через просторную застекленную веранду они прошли в большую комнату, заваленную книгами и журналами. Даже из-под низкой железной койки армейского образца выглядывали корешки книг. У стен до самого потолка высились самодельные стеллажи. Некоторые еще были в работе, – стояли боковые стенки без полок. Колесников понял, над чем трудился хозяин у верстака.

Коротенький коридор привел их в другую, узкую комнату с одним окном. На березовых чурбачках лежал матрас, покрытый солдатским одеялом. Стол и

табуретка тоже выглядели как сколоченные любителем – без затей, но с излишней прочностью.

– Вот, чем богат, – сказал Даев. – Ход у вас отдельный, через кухню. Елизавета Глебовна!

В комнату неслышными шагами вошла, как вплыла, старушка, которой поначалу можно было дать все семьдесят, а потом, приглядевшись, – все меньше и меньше, так живы были ее глаза и легки движения полной фигуры.

– Моя хозяйка, – представил ее Даев. – Знакомьтесь. А это, Елизавета Глебовна, наш постоялец, в Машинной комнате поживет. – Повернувшись к Колесникову, он добавил: – Договаривайтесь, как кормиться будете, и располагайтесь, а я пойду урок кончать.

Еще в городе от своего начальника Колесников узнал, что Даев в прошлом – крупный военный юрист, года три назад вышел в отставку то ли по болезни, то ли по возрасту, городскую квартиру отдал замужней дочери, а сам построил дачу на колхозной земле и живет там круглый год. Начальник Колесникова когда-то служил в подчинении Даева и сохранил с ним добрые отношения – прошлой осенью приезжал к нему на охоту. В то же время о деятельности Даева в деревне он высказывался иронически и обозвал его «колхозным стряпчим».

Елизавету Глебовну начальник тоже помянул, на-

звал «простой душой» и говорил о ней тепло. Родственница Даева, она всю жизнь прожила в соседнем районе. В молодости была знатной дояркой, ездила в Москву на съезд колхозников-ударников и вернулась оттуда с орденом. К старости, потеряв на войне мужа и сына, осталась одинокой. Перебравшись в деревню, Даев пригласил ее к себе вести хозяйство.

Пока Колесников потрошил портфель, доставая всякую дорожную мелочь, составлявшую «малый командировочный набор», Елизавета Глебовна успела постлать свежие простыни и на лету взбила пышную подушку. При этом она тихим, журчащим голосом, сама над собой подшучивая, сокрушалась, что не умеет готовить по-городскому, и просила Колесникова не поминать ее лихом потом, когда вернется к своим домашним разносолам. Сама себя успокаивая, она заключила: «Вареному-жареному век не велик».

Ее мягкое, все еще красивое лицо излучало доброту так же естественно и постоянно, как солнце излучает тепло. Смотрела она ласково, всегда готовая и к ответному смеху и к мимолетной слезе сочувствия. Даже морщинки, процарапанные годами, как-то сами собой складывались в доброжелательную улыбку. А когда она смеялась, нельзя было не засмеяться самому.

Заметив, что Колесников устался в папки с бума-

гами, она заторопилась.

– Занимайтесь, я мешать не буду. Пойду сготовлю чего, покушаете с дороги.

– Спасибо, Елизавета Глебовна. Вы не беспокойтесь, пожалуйста.

– Какое беспокойство! Незванный гость легок, это званный – тяжел.

– Почему так?

– Званный приема ждет, а незванный загодя спасибо говорит.

Она уже повернулась к дверям, когда Колесников остановил ее.

– Елизавета Глебовна, у вас весной человека убили. Слыхали, наверно?

Старушка, только что ходившая с улыбкой на лице, чего-то испугалась и погасшим голосом сказала:

– Ничего я не знаю, милый человек, только и знаю, когда ночь, когда день.

– Так уж и ничего? Не может быть, чтобы вам про убийство не рассказывали. И про того, кто повинен в этом, наверно, слышали.

– На одного виноватого по сту судей, – скороговоркой ответила Елизавета Глебовна, – а еще и так бывает – на деле прав, а на бумаге виноват.

– А на деле он прав?

– Про кого спрашиваете?

– Про того, кто убил.

Слезы на глазах Елизаветы Глебовны выступали легко от любого волнения, и радостного и горького. Зная эту свою слабость, она еще до слезы крепко зажимала веки кончиками вытянутых пальцев, пережидая, пока отойдет от сердца.

– Ты, сынок, воевал аль нет?

– Нет, молод был, совсем мальчишка, в армию не брали.

Старушка понимающе кивала головой.

– То-то тебе и трудно. Не понять.

– Чего не понять-то?

– Про войну хорошо слышать, да не дай бог видеть, – сказала она и вышла, неслышно ступая.

Она не упрекнула Колесникова, наверно, даже была рада, что война обошла его. Она просто, как само собой очевидное, отметила: мол, не может он понять того, что понимают люди, опаленные войной. Не может, и все!

Колесников толкнул створку окна, и комната мгновенно заполнилась шорохом листвы, щебетом птиц. Рубанок Даева двигался реже, со старческим кряхтением.

План работы, составленный Колесниковым, был расписан чуть ли не по часам. Прежде всего – свидетели. Десятки имен и фамилий. Свидетели, испорченные торопливыми допросами первых дней дознания. Свидетели, успевшие за прошедшие месяцы основательно забыть все, что они не хотели помнить. Свидетели-молчальники, болтуны, фантазеры...

Председатель колхоза выделил Колесникову маленькую комнатку в правлении колхоза с выходом на черное крыльцо. Кроме письменного стола, усеянного чернильными пятнами и ожогами от погашенных папирос, в комнате еще стояли два стула и черный клеенчатый диван такого вида, как будто по нему проехала пятитонка с полным грузом.

Стол освещала чуть покосившаяся лампа с зеленым абажуром. С одного бока абажур потерял добрый ломоть и был залатан прогоревшей бумагой. Этот расколотый бок Колесников и направлял на свидетеля. Делал он это по старому рецепту в расчете на то, что свидетелю в ярком пучке света труднее будет скрывать свои мысли. Но и лампа не помогала. Только что ушел последний из вызванных на сегодня свидетелей, а дело обогатилось еще одной стопкой испи-

санных листов, вполне пригодных для растопки.

Даже когда человеку ничего не грозит, вызов к следователю заставляет его волноваться. Даже на коротком допросе раскрываются черты его характера. Уже по первым шагам свидетеля, по тому, как он открывает дверь, как входит, как смотрит, Колесников угадывал его душевное состояние. Чаще всего догадка укреплялась, иногда опрокидывалась.

Когда Тимофей Зубаркин вошел в комнату и уже на пороге стащил с головы армейскую фуражку, потерявшую форму и цвет, угадывать было нечего. На вздувшемся грязно-сером лице свидетеля Колесников прочел четкий медицинский диагноз: «Хронический алкоголизм с явлениями психической деградации». Одетый в тряпье, которое уже невозможно было обменять даже на кружку пива, Зубаркин заторопился к столу и предъявил повестку, плясавшую в его трясущейся руке.

Это был главный свидетель обвинения. Он сидел рядом с Чубасовым на скамейке у продмага. На его глазах Чубасова убили.

Зубаркина уже допрашивали и Лукин и районный прокурор. Обоим он врал одно и то же. Приготовился врать и на сей раз. Отвечал теми же словами, притворялся более дурашливым, чем был на самом деле.

Колесников подготовил еще одну серию вопросов.

- Кем вам доводился Чубасов по родственной линии?
- Которая линия?
- Чубасов ваш родственник. Я спрашиваю: кем он вам доводился?
- Евонная мамаша, значит, тетя Лукерья, с моей мамашей сестры. Вот и считайте.
- Двоюродный брат?
- Выходит, так.
- Прежде чем приехать сюда, он советовался с вами. Что вы ответили ему на письмо?
- А чего мне? Захотел и приехал.
- Вы были рады его приезду?
- А чего мне радоваться?
- Вы кому-нибудь говорили, что он собирается приехать?
- Не помню... Может, говорил...
- Постарайтесь вспомнить, кому вы говорили. Зубаркин свесил синюю губу и молчал.
- Может быть, когда выпивали, хвастались – вот, мол, приезжает брат богатый, с деньгами. Вспомните, был с кем такой разговор?
- Может, был... Не запомнил.
- Вспомните, что говорили люди, когда узнали, что приедет Чубасов.
- Чего?

– Я спрашиваю, что говорили люди, ваши знакомые, когда узнали, что приедет ваш двоюродный брат?

– Какие знакомые?

– Вы что, в деревне никого не знаете?

– Всех знаю.

– Тем более. Что они при вас говорили? Может быть, радовались, просили привести Чубасова в гости?

Зубаркин уловил насмешку и поднял на следователя заплывшие глаза.

– Никуда мы в гости не ходили.

– Это я знаю. Я спрашиваю, что было до его приезда. Если в гости не приглашали, то, может быть, наоборот, – сердились, угрожали расправиться с Чубасовым. Не слыхали таких угроз?

– Всяко болтали.

– Кто болтал?

– Не запомнил.

– Вы Шулякова Семена знаете?

– Ну, знаю.

– Вот он сам признается, что говорил: «Приедет твой – убью!» Значит, был такой разговор?

– Шуляк не убивал.

– А кто убил?

Зубаркин умел молчать, как тумба.

– Я вас спрашиваю, Зубаркин, если вы твердо говорите, что Чубасова убил не Шуляков, значит, вы знаете, кто убил. Назовите имя.

– Не видал.

– Зубаркин! Я еще раз напоминаю вам об ответственности за ложные показания.

Колесников полистал дело, чтобы вернуть ускользающее самообладание.

– Вы знали о преступлениях, которые совершил Чубасов во время оккупации?

– Какие преступления?

– Те, за которые он был осужден. Он служил старостой у немцев, предал партизан.

– Мало чего брешут.

– Значит, вы считали его хорошим человеком?

– А чего мне считать, не булгахтер.

– Ну, приехал он к вам, поселился. О чем меж вами разговор шел?

– Какой еще разговор?

– Говорили вы о чем-нибудь с Чубасовым?

– А чего говорить. Поставил пол-литру, опосля добавил, и весь разговор.

– Он жил у вас пять дней. Два дня никуда не выходил. Не говорил он вам, почему не выходит, кого боится?

– Не говорил.

– Послушайте, Зубаркин. Убили вашего двоюродного брата. Вы считаете, что он ни в чем не виноват. Значит, убили его ни за что. Так?

– По злости убили.

– Почему же вы не хотите помочь следствию? Как по-вашему, нужно убийцу наказать или пусть гуляет?

– Не видал.

– Не могли вы не видеть. Вы сидели рядом с Чубасовым у продмага, на одной скамейке. Сидели или не сидели?

– Ну, сидели.

– Расскажите, кого вы видели, когда пили на скамейке водку, кто проходил мимо?

– Всякие ходили.

– Назовите их.

– Бабы ходили.

– Какие бабы? Назовите фамилии.

– Наши бабы.

– Как их зовут?

– Ну, Нюшка ходила.

– Как ее фамилия?

– Ну, Нюшка, известно какая – Савельева.

– Очень хорошо. У вас отличная память. Еще кого помните.

– Никого больше.

– Как же вы не запомнили, если Чубасов приглашал

проходящих выпить с ним. Кого он приглашал?

– А я почему знаю? То его дело, кого хотел, того звал.

– Но вы же сидели рядом.

– Ну, сидел.

– Тут же у скамейки его убили. Куда же вы смотрели?

– За угол пошел оправиться. Выхожу, а он лежит.

– Это вы придумали. Все равно должны были видеть убийцу.

– Вижу – Лавруха лежит. Чего мне по сторонам смотреть?

– Получается, что вы с убийцей заодно. Придется и вас привлекать к ответственности.

Зубаркин вытер рукавом глаз и с интересом спросил:

– А меня за что?

– Следствие покажет, за что. Или за пособничество, или за укрывательство. А может быть, никого, кроме вас, и не было. Может быть, это вы его с пьяных глаз пришибли.

Колесников знал, что подозрение против Зубаркина отпало сразу же. Множество свидетелей, хотя и не видевших преступника, твердо показывали, что Тимоха со своего места не вставал, ничего, кроме стакана, в руках не держал и на Чубасова не нападал. Хотя те же свидетели отзывались о Тимохе презрительно, как

о ничтожном человеке, но мысль, что он мог убить Чубасова, вызывала у них смех. Им даже обидно было, что такое можно придумать.

Теперь, увидев Зубаркина, Колесников сам понял, что у этого истощенного пьяницы не хватит сил и для обычной драки. Но не мог же он не видеть преступника. Не мог! Как же заставить его говорить? Колесников перебирал в уме все известные приемы допроса и ничего не находил, кроме запрещенного законом. Ему хотелось обругать Тимоху, постучать кулаком по столу, нагнать на него страху, а еще бы лучше – посадить хотя бы на сутки, наверняка не выдержал бы и заговорил. От собственного бессилия Колесников еще больше злился на себя и на Тимоху.

– Зубаркин! Может быть, вы кого-нибудь боитесь и потому молчите? Может быть, вам пригрозили? Было такое?

– Кто грозился?

– Я не знаю кто. Я спрашиваю: требовал от вас кто-нибудь, чтобы вы говорили неправду?

– Не было.

– Чего же вы боитесь?

– Не видал.

– Не могли не видеть. Понимаете – не могли! Давайте вспомним. Мимо скамейки, на которой вы сидели, проходил человек с гаечным ключом в руках. Он

стоял перед вами. Что он сказал?

Допрос начинался сызнова.

Долгие часы длился такой поединок. Десятки раз приходилось повторять одни и те же вопросы, по-разному их поворачивая, в надежде, что свидетелю надоест врать. Колесников менял тактику допроса. То он обращался к элементарной логике. Мало-мальски развитому и разумному человеку становится стыдно, когда он убеждается, что вранье противоречит простейшим доводам здравого смысла. Никому не хочется выглядеть идиотом. Зубаркин этого не боялся. Ему было все равно: идиот так идиот.

Колесников знал, что у каждого человека, даже у закоренелого преступника, есть свой предел сопротивления. Не раз в тех случаях, когда отказывала логика, он находил уязвимую точку в душе допрашиваемого, которая помогала резко изменить всю картину допроса. У Зубаркина не было ни самолюбия, ни совести, ни родственных привязанностей. Какая-то непонятная сила заставляла его скрывать все, что он видел и знал.

Четыре дня потратил Колесников на изнурительную борьбу со свидетелями. Его уже знала вся деревня, и, когда он проходил по улице, многие с ним почтительно здоровались. А кое-кто и посмеивался. Не в лицо, стороной. Молодые девушки, узнав его, шеп-

тали и смеялись на ухо друг дружке. Или это ему казалось? У девчонок бывает такая форма кокетства. Но когда кажется, тоже плохо. Если чувствуешь, что над тобой могут смеяться, значит, сам понимаешь, что есть для этого основания.

Эти свидетели хоть кого могли вывести из равновесия.

Пожилая женщина, которую случай привел к продмагу как раз в момент убийства, даже не вслушивалась в вопросы и говорила лишь то, в чем сама себя убила.

– Я только из продмага вышла, леденцов брала по руп двадцать. То все не было, а тут выбросили, дай, думаю, граммов триста возьму.

– Вы, когда в магазин входили, видели Чубасова?

– Не, не видала, некогда мне было по сторонам глядеть. Видала – сидят, а кто – не разглядела. Где тут было глядеть, дома ребята ждут, поросенок некормленный.

– Хорошо. А когда вышли из магазина, что вы увидели?

– Нюшку увидела. Я ей про леденцы, а она мне: «Лаврушку убило».

– А кто убил, не сказала?

– Никто, говорит, не убивал.

– Как это «никто»?

– Пьяный был, может, сам на железяку напоролся, а может, она с крыши свалилась, кто знает?

– А вы видели Чубасова убитого?

– Я-то? Видела – лежит, а живой или какой, мне ни к чему.

– А человека, который от скамейки убежал, видели?

– Не, никто не бегал. Это я побегла, у меня поросенок некормленный.

– Как же так, Варвара Тихоновна? Узнали, что рядом убит человек, и даже на секунду не остановились. Или у вас тут каждый день кого-нибудь убивают?

Свидетельница сразу отбросила тон бестолковой бабы и ответила с достоинством:

– Грешно вам такое говорить. С самой войны у нас и не слыхали, чтоб человек человека убил.

– Не могу понять! Среди бела дня совершается убийство, а вас даже не заинтересовало: кто преступник, почему пошел на такое дело?

– А потому как зверь он, палач распроклятый.

– Вы о ком говорите?

– Известно, о ком – о Лаврушке.

– А я не о Лаврушке спрашиваю, а о том, кто его убил.

– Я и говорю, кто? Кабы я своими глазами не видела...

– Что вы видели?

– Как он петли затягивал, табуретку ногой вышибал.

– Вы опять о Чубасове?

– А о ком же еще? Что Лаврушка, что немцы – из одной кучи золото. Вы Авдотью Клушину спросите. Пусть расскажет, как ее сапогами топтали, всю нутренность отбили. Еще Настю Мигунову, про ее сироток запишите. И Фросю Куликову. И Пашу Мартыниху. И Ефросинью Судареву. Почитай, в каждой избе память осталась.

Нюшка Савельева, единственная, кого свидетели охотно называли по имени, бойкая ясноглазая девушка лет восемнадцати, говорила с пулеметной скоростью.

– Мне в его сторону и смотреть-то было противно. Я когда и на улице видела – отворачивалась. Отвернусь, плюну, и все. Это надо же! Сам вешал и сам приехал! И где у него совесть была? Своими руками убила бы его, палача проклятого! Ей-богу, не вру, убила бы.

– Где вы находились, когда произошло убийство?

– У продмага была, от Фроськи шла, мы с ней в хоре поем. Вы нашего хора не слышали? Такого и в Лихове нет.

– Кого вы видели у скамейки, на которой сидели Чубасов и Зубаркин?

– Какой еще Зубаркин?

– Тимофей Зубаркин.

– Это Тимоха-то? А он разве Зубаркин?

– Я вас спрашиваю, кого вы видели у скамьи, кроме Чубасова и Зубаркина?

– Никого не видела.

– Но кто-то убил Чубасова.

– Кто убил?

– Об этом я вас и спрашиваю: кто убил?

– Сам он себя убил, змей ядовитый.

– Кто стоял с ним рядом? Кто его ударил?

– Ничего не видала. Слышала, как ой смеялся, противно так: «га-га-га» – пьяная морда. От одного смеху душу воротило. Мне в его сторону и смотреть тошно было.

– Что вы еще слышали?

– Ничего больше не слышала. Еще как захрипел, ровно боров колотый, слышала, а больше ничего не слышала. Еще как повалился, слышала.

– А крика или спора между Чубасовым и кем другим не слышали? Должны были слышать, если даже хрип запомнили.

– Был крик. Это когда он уже лежал. «Собаке собачья смерть», – кричали.

– Кто кричал?

– Народ кричал.

- Расскажите, как выглядел человек, который подошел к Чубасову.
- Зачем мне его видеть? Так он меня и дожидался.
- Видели вы его или не видели? Если будете говорить неправду, придется мне привлечь вас к уголовной ответственности. Видели или не видели?
- Не видала я никого.
- Не могли не видеть. Вы в трех шагах стояли от скамейки.
- Здравсьте! Откуда вы три шага считали? Я же на крыльце была.
- А с крыльца еще лучше видно.
- Кому, может, лучше, а мне ничего не видать было. Тимоху видала. Сидит, на своего дружка смотрит, а у самого из стакана водка ручьем. Смех один, чтоб у Тимохи водка зря проливалась.
- Какой же смех, если рядом убитый человек лежит?
- Это Лаврушка-то человек? Может, по-вашему, он и человек, а для нас не человек и не зверь даже. Мне и зверя убитого жалко, а палача этого вот ни столечки не жалко, хоть в тюрьму сажайте – не жалко.

Женщины ввали легче, бездумнее мужчин. Старый колхозник Николай Гаврилович Тузов, один из тех, кого Чубасов пытался угощать водкой из своей послед-

ней бутылки, говорил неправду хотя и твердо, но стеснительно, как бы извиняясь, что иначе не может.

Да, само собой, он видел на скамейке Чубасова и Тимоху. Они пили водку и приглашали его разделить компанию. Но он не хотел иметь дело с предателем и отошел поближе к шоссе. Нет, как ударили Чубасова, он не видел. Да, какой-то человек проходил мимо скамейки. Вполне возможно, что он и ударил. Нет, лица его Тузов не приметил. Как одет? Неброско одет, вспомнить трудно. Как будто в пиджаке, а может, и в рубашке, точно не сказать. Какого роста? Обыкновенного. А может, и повыше, хотя скорее пониже. Пусть товарищ следователь не гневается, но издали не разглядел, глаза не молодые. Что на голове? Вроде бы кепка, а может, и картуз, сзади не разберешь. Куда девался? А кто его знает? Ушел, должно быть. Много народу ходило туда-обратно, и он прошел. Смогу ли узнать? А как его узнаешь, если личности не видел?

Колесников посмеивался над собой, вспоминая, с каким чувством перелистывал протоколы допросов, которые вел Лукин. Конечно, идти по затертым следам труднее. Если бы эти же свидетели попали к нему в первые дни, все могло быть иначе. Теперь у них стойкая, привычная позиция, попробуй столкни.

И все же он пробовал, снова и снова вызывал людей, со спокойствием автомата выслушивал нелепые

ответы, не позволяя себе даже малых проявлений раздражения или уныния. Он был уверен, что именно допросы принесут успех, и набирался терпения.

6

На свою квартиру Колесников возвращался поздно. Он мог бы приходить раньше, но нарочно оттягивал время. Никакого душевного контакта с Даевым у него не получалось. Они встречались за завтраком, разговаривали о последних новостях, услышанных по радио, но ни одного сердечного слова друг другу не сказали. Сидели за столом, как два пассажира в железнодорожном купе на коротком перегоне.

У Колесникова давно сложилось высокомерно-презрительное отношение к старым юристам, делавшим карьеру еще в довоенные годы. Время, когда представления о законности и правосудии были вывернуты наизнанку, казалось невообразимо далеким. Но статьи в газетах, встречи с людьми, возвращавшимися из небытия, заставляли оборачиваться назад и искать виновников.

Одним из виновников Колесников считал Даева. Уж больно высокие посты занимал этот старикашка. А то, что он раньше времени вышел на пенсию и уехал в

далекий колхоз, только подтверждало догадку. Потертая спецовка, заросшие щеки, рубанок – все выглядело маскировкой, словно прятался человек от своего прошлого.

Постоянный житель Алферовки, деятельно участвовавший в жизни колхоза, Даев многое знал об убийстве Чубасова. Он мог бы помочь следствию. Но обращаться за помощью не хотелось. Колесников ему не доверял.

Даев вопросов о ходе расследования не задавал, как будто совсем не интересовался этим делом. Он приглядывался к гостю и все больше приходил к выводу, что у этого молодого человека малопрятный характер, – выпирала из него какая-то тупая надменность, не располагавшая к душевному разговору. А поговорить хотелось и было о чем.

В этот вечер Колесников пришел в одиннадцатом часу. Широкие окна даевского кабинета были освещены. Старик ложился поздно и вставал раньше всех. Так уж повелось, что Даев не замечал его прихода. Колесников делал вид, что не хочет мешать хозяину, старался не греметь каблуками, бесшумно съедал на кухне ужин, оставленный рано засыпавшей Елизаветой Глебовной, и уединялся в своей комнате. Они сидели, отделенные друг от друга коротким коридором и длинными километрами взаимной неприязни.

Колесников, не раздеваясь, растянулся на матрасе. В городе он редко чувствовал усталость и легко от нее освобождался. А в Алферовке его изматывал каждый день. Долгие часы нужно было сдерживать раздражение, вызываемое упрямо лгавшими, все отрицавшими очевидцами. Задавая очередной вопрос и заранее зная, что сейчас он услышит «не знаю» или «не видел», Колесников собирал всю свою выдержку, чтобы не взорваться. Он понимал, что самообладание – пока единственное его оружие в поединках с этими безответственными людьми. Но чего стоило ему это самообладание, никто не знал.

В прошлом году на курсах следователей Колесникову пришлось читать лекции о тактике допроса. Он учил других, как правильно ставить вопросы, как устранять противоречия в показаниях, как помогать свидетелю вспомнить забытое. Он приводил хрестоматийные примеры, и его слушатели, наверно, завидовали его знаниям, опыту. Хорошо, что никто из них не присутствует на его допросах в Алферовке.

Если бы хоть один свидетель подчинился логике фактов и рассказал все, как было! Нужно найти этого одного. Десять, двадцать раз допросить, но найти.

А стоит ли искать? Эта странная, нелепая мысль приходила, когда он оставался один. Впервые возникла она после одного разговора, состоявшегося в избе

Сударева.

Он сидел за столом, покрытым опрятной клеенкой. На другом конце стола лежала стопка учебников и ученических тетрадей. Жена Сударева, миловидная женщина лет сорока, возилась у печи. Ее руки в стареньких вязаных перчатках двигались с угловатой резкостью, выдавая волнение хозяйки.

Она вдруг повернулась лицом к Колесникову и посмотрела ему прямо в глаза.

– Даже если бы видела, не сказала бы! Сроду доказчицей не была.

– Подумайте, что вы говорите, Ефросинья Петровна! Вы же детей в школе обучаете.

– Так и обучаю: землю свою любить, врагов ненавидеть!

– А вам известно, что за покрывательство преступника тоже наказывают? – со строгостью в голосе Напомнил Колесников.

– Вы меня не пугайте, – со сдержанной яростью сказала Ефросинья Петровна. – Я с малолетства немцами пугана. Я у партизан связной была. Для вас что Алферовка, что другая деревня – все на одно лицо. А меня каждая стежка в прошлое уводит. Вон за тем забором, – она протянула руку к окну, – я сутки в яме лежала, матери дожидалась. А ей в Лаврушкиной избе прикладами ребра ломали.

– Я уважаю ваши чувства, но в данном случае мы... вы должны... – Колесников запинаясь, чувствуя, что не может найти убедительных слов.

Не слушая его, все так же глядя на деревенскую улицу, Ефросинья Петровна продолжала:

– По этим проулкам людей наших как зверей травили. Все нажитое ограбили, все святое опоганили... Сколько жить придется – не забуду.

– И не нужно забывать. Я прошу только на минутку отвлечься от воспоминаний.

– Отвлечься?! – Ефросинья Петровна сорвала с рук перчатки и протянула к Колесникову страшные, изуродованные пальцы. – Каждый в отдельности меж дверей давили. От детей в перчатки прячу. Нет у меня прощенья ни фашистам, ни чубасовым.

Только чтобы не молчать, чуть слышно проговорил Колесников:

– Разве о прощении речь идет?

– И слушать не хочу! – во весь голос закричала Ефросинья Петровна. – И не ходите ко мне!

Он ушел тогда потрясенный. И с тех пор все чаще стала стучаться нелепая мысль.

Отказаться от следствия и тем самым примириться с фактом самосуда – даже думать об этом работнику прокуратуры недопустимо. Но та же мысль изворачивалась и представляла в другом словесном облике.

Не все ведь преступления раскрываются. Случаются «глухие» дела. Почему бы и этому не остаться «глухарем»? Одним гадом стало меньше на земле, стоит ли из-за него конфликтовать с честными людьми?

Колесников знал немало ошибок, вкравшихся в практику следственной работы. То громоздили обвинение против невиновного, то упустили настоящего преступника. В прокуратуре работали люди, способные оступаться, как и все смертные. Прекращение возни вокруг Алферовки было бы, наверно, самой простительной ошибкой из всех возможных.

«Хорош! – злорадно похваливал себя Колесников. – Столкнулся с первыми трудностями и уже сполз к правосознанию алферовских дедов. До этого еще не додумывался ни один, даже из самых бездарных следователей. К чертям все эмоции! Единственная правильная линия предписана законом. Все остальное – от слабости».

Колесников вскочил и на чистом листе набросал дополнения к плану работы.

Выступить на общем собрании колхозников с просветительной лекцией о советском законодательстве и увязать с убийством Чубасова.

Расширить круг допрашиваемых за счет жителей соседних деревень, случайно оказавшихся на месте преступления. Этим исправить ошибку угрозыска,

ограничившегося допросом свидетелей из Алферовки.

Что еще?

Распутать все родственные и дружеские связи погибших партизан. В деревне всегда нужно учитывать широкое переплетение родственных и приятельских связей. Они нередко определяют поведение и потерпевшего, и ответчиков, и свидетелей. Если каждый другому кум или сват, ждать от них беспристрастности не приходится.

Колесников кружил по комнате, снова полный энергии. Так с ним бывало всегда: как только открывалась новая возможность добиться успеха, усталость исчезала. Он мог бы сейчас начать трудовой день. Спать не хотелось. Хорошо бы почитать что-нибудь отвлекающее.

В коридоре скрипнула дверь. Даев прошел на кухню. Когда он возвращался к себе, Колесников спросил:

– Петр Савельевич! Нельзя ли у вас взять чего-нибудь почитать? Не спится.

– Заходите, – сказал Даев.

В своей комнате он показал на стеллажи.

– Берите что приглянется.

Знакомые Колесникову писатели занимали одну полку. Стеллажи были забиты работами по истории,

философии, психологии. Колесников узнал книги, по которым готовился к экзаменам на последних курсах. Стояли они безо всякого порядка. Толстые, нарядные тома перемежались тощими брошюрками и старыми журналами. Много было всяких воспоминаний и справочников. Видно было, что Даев книг не берег. Он не только размашисто и жирно отчеркивал на полях, но еще загибал по нескольку страниц, так и оставляя для памяти. С десятков таких книг – раскрытых, распухших от вкладок и загнутых страниц – лежало на большом, похожем на верстак столе.

Взяв мемуары какого-то иностранного дипломата, Колесников из вежливости задержался и сказал приятное хозяину:

– Богатая у вас библиотека.

Даев сидел в допотопном кожаном кресле, из всех швов которого вылезали конские волосы. Под рукой у него стояла плоская бутылочка с розоватой жидкостью и недопитый стакан.

Пропустив слова о библиотеке, Даев достал из-под бумаг пластмассовый стаканчик, каким пользуются для бритья, наполнил его и подвинул на край стола.

– Выпейте. Настойка черноплодной рябины. Из своего урожая. Целебнейшая вещь. От всех болезней... Не бойтесь, спирта ни капли. В голову шибает, но чуть-чуть. Примерный эквивалент: литр настойки

– сто граммов московской... Садитесь, стоя пьют лошади.

Холодная настойка пахла лесом.

– Хороша! – похвалил Колесников.

– Пейте-пейте, – приговаривал Даев, доставая из под стола новую бутылочку.

По его глазам и морщинам, успевшим окраситься в цвет настойки, можно было догадаться, что он перешагнул через стограммовый эквивалент.

– Много читаете? – спросил Даев.

– Что вы имеете в виду?

– Не протоколы, разумеется. Я про книги спрашиваю.

– Если откровенно говорить, совсем времени для книг не остается. По специальности, конечно, слежу, а так... Газеты просмотреть и то не всегда успеваешь. Принесешь домой пачку, так и лежат.

– По специальности, – повторил Даев, ловко открывая сухой, жилистой рукой плоскую бутылочку. – Это вы очень точно отбредались. Так и я всю жизнь – по специальности. Только и успевал указы читать.

– Такое наше дело, – примирительно сказал Колесников.

Даев долго смотрел на гостя, маленькими глотками отпивая из стакана. Глубокие морщины на его лице редко меняли выражение, и понять, что переживает

их хозяин, было трудно.

– В нашем-то деле невежество особенно опасно.

– Почему же невежество? – обиделся Колесников. – И всю эту премудрость (он кивнул на книги) от корки до корки проштудировал. Зря диплом с отличием не дают. Это когда-то можно было с одним пролетарским происхождением и классовым чутьем продвигаться по службе.

– Зря вы так про классовое чутье. В нем своя мудрость. Но в общем, про меня вы правильно угадали. Образование было липовое. Диплом не по знанию, а по званию получил. Попробуй – срежь председателя трибунала. Кратким курсом шел. Вы пейте, не стесняйтесь, водичка полезная.

Колесникова тронула откровенность Даева. Он был доволен, что с первого взгляда раскусил этого «бывшего». Черноплодная рябина пилаась легко и помогала говорить, что думаешь.

– Простите за вопрос, но мне интересно: к чему вам это сейчас? – спросил Колесников, опять кивая на книги. – Или диссертацию задумали?

– Как это у вас гладко получается! Если в молодости Маркса штудировали, то для диплома. Если в старости человек за книги взялся, то ради степени. Вы небось ни разу просто так, для себя, ни того же Маркса, ни Ленина не открывали. Признайтесь.

– Открывал, когда нужно, а что значит «просто так»
– мне непонятно.

– Вы слышали, как когда-то старики говорили: пора и о душе подумать? Так и я. Всю жизнь времени не хватало, все – по специальности.

Колесникову стало весело. Этот захмелевший старичок говорил забавные вещи.

– Так и работали, не думая?

– Так и работал.

Колесников рассмеялся.

– Наговариваете на себя, Петр Савельевич.

– А вы ведь тоже сейчас, не думая, работаете.

– Как так? – изумился Колесников. – Вы о моей работе никакого представления не имеете.

– Вижу. В деревне, как в стеклянной колбе, все видно.

– И что же, по-вашему, неправильного в моей работе?

– Все правильно, только мысли нет.

Вот уже несколько дней Колесников напряженно думал только о происшествии в Алферовке, думал сосредоточенно, до изнеможения, и вдруг этот осколок прошлого стал учить его мыслить. Обижаться было глупо. Самое время уйти. На прощанье захотелось уязвить.

– Могли бы и подсказать. Вы здесь живете, все зна-

ете. А по существу покрываете преступника. Неужели, когда юрист уходит в отставку, он вместе с мундиром снимает с себя чувство долга?

Колесников поднялся.

– Сидите. Как говорит в таких случаях Елизавета Глебовна: «Обиду проглоти, смешком заешь, и нет ее». Я вам еще кое-что скажу.

Ничего интересного Колесников услышать не ожидал, но отказаться счел неудобным. Он сел со скучающим видом.

– Думать можно по-разному, – продолжал Даев, – и курица думает: клюнуть – не клюнуть? Чтобы разобраться в том деле, которым вы заняты, прежде всего нужно Чубасова разработать.

– Что его разрабатывать?

– Вскрыть нужно, как патологоанатомы вскрывают.

– Картина и без того ясная.

– Ой ли?

Чтобы Даев потом не думал, что это по его совету он стал выяснять все связи Чубасова, Колесников сказал, что такая работа у него в плане записана, но больших надежд он на нее не возлагает.

– Смотря на что надеетесь, – сказал Даев. – Я о Чубасове почему вспомнил. Хочу помочь, как коллеге. Ведь это я его судил в сорок пятом. И судил плохо.

У Колесникова не было ни даевских морщин, ни да-

евского спокойствия. На его лице так явственно отразились изумление и радость, что Даев впервые усмехнулся.

– Что же вы молчали? – с укором спросил Колесников.

– Не хотел напрашиваться. Да и хвастаться нечем. Вы с приговором знакомы?

– Еще бы! Но мне не все ясно.

– Да и мне лишь недавно все ясно стало... Ко мне он попал случайно. Под суд шла группа мерзавцев из Кузьминского района. Те топили друг друга, и обвинение получилось полновесным. А Чубасова притянули в последнюю минуту, поскольку был он одиночкой и других предателей в Лиховском районе не оказалось. Следствие вели наспех, полных данных не собрали, решили, что и того, что есть, достаточно.

– И на высшую меру не потянул, – подсказал Колесников.

– Если бы я его одного судил, послал бы на виселицу с легкой душой. Все они ее заслужили.

– Как же так получилось?

Даев отхлебнул настойки, посмаковал, поморщился, как от горького.

– На фоне других он выглядел калибром помельче. К тому же подтвердилось, что он застрелил какого-то фрица из команды поджигателей... Достаточно

для смягчения?

– Да, основания были.

– Не было! – оборвал Даев. – Грубейшую ошибку допустил. Не столько юридическую, сколько политическую. Имелись показания одной свидетельницы, невнятные, но были, что Чубасов лично пытал Грибанова. Как нужно было поступить? Задуматься. Выделить его дело для доследования. А задумываться я не привык. Приговор у меня сложился, когда я еще с обвинительным заключением знакомился. Уже тогда я этого изверга помиловал. Из соображений, если хотите знать, юридической эстетики. Дать всем одну меру – некрасиво, вроде бы судья рубил сплеча, не взвесив тяжести вины каждого отдельно. А запишешь одному высшую, другому – лагерь, совсем иначе выглядит – как будто до тонкости разобрался и объективность проявил.

Колесников слушал с нарастающим интересом. Он перестал высказывать с репликами и ждал.

– Когда подписывал приговор, – продолжал Даев, – успокаивал себя: десять лет тоже не курорт, вряд ли доживет. А на деле как получилось? Пока его в суд водили, пока он видел кругом ненавидящие лица, пока ждал приговора, не раз, наверно, от страха помирал. А потом все сразу изменилось. В лагере он кто? Один из тысяч, не хуже других. Я потом узнал, что он ни ра-

зу ни в шахте не был, ни на лесоповале.

– Повезло.

– Везенье ни при чем. Приспособился. Всю жизнь приспособливался – к Советской власти, к немцам, к лагерному начальству. Пристроился придурком в пищеблок и прожил безбедно. А после там же, на Севере, присмотрел вдовицу с хозяйством, стал агентом по кожсырью и зажил «полезным членом общества» – хапал где мог... Вы его письмо к Зубаркину читали?

– Видел.

По письму, которое Тимоха Зубаркин представил следствию, можно было понять, что Чубасов сильно колебался: ехать, не ехать. Письмо было полно бахвальства. Так бахвалится человек, чтобы убедить не столько других, сколько самого себя, что ему не страшно. Он писал, что заслужил у власти полное прощение, что перед ним любой город открыт, что денег зарабатывает много, что бояться ему нечего и куда захочет, туда и поедет. А в Алферовку он хочет заглянуть по пути, полюбоваться на родные края.

– Не могу понять, почему он сюда приехал? – признался Колесников.

– На давность понадеялся. Как-никак без малого двадцать лет прошло. Думал – перегорело у людей, стерлось в памяти. А проще говоря, рассчитывал и к нынешним временам приспособиться. Да просчитал-

ся.

Даев не скрывал, что доволен «просчетом» Чубасова.

– Если человек хотел приспособиться к честной жизни, ничего в этом худого не вижу, – заметил Колесников.

– Никогда он о честности не думал. К любой жизни приспособиться хотел – к подлой, грязной, преступной. Кем угодно стать – провокатором, палачом – лишь бы выжить. Таким, как Чубасов, все равно, какой строй, какая власть. Только бы ему жрать и пить. Случись завтра война, такой и к новым врагам приспособится.

– Я говорю о конкретном периоде его жизни, о последних годах. За то, что он совершил при определенных обстоятельствах, он был наказан вашим же приговором. А если наказание было недостаточным, это не его вина и не мотив для расправы. Мало ли как приспособлялись разные люди в разное время, – а живут же сейчас?

Колесников говорил назидательно, любуясь, как это с ним бывало, четкостью выражаемой мысли и округлостью построенной фразы. Это любование мешало ему оценить второй, жестокий или бестактный смысл, скрытый в его словах.

Даев сидел с закрытыми глазами, откинувшись на

высокую спинку драного кресла. Он долго молчал, словно ожидал продолжения. Колесников опять взялся за книгу, собираясь уходить.

– Вы напоминаете мне, что я тоже приспособивался в те годы, которые вы имеете в виду, – сказал вдруг Даев, приоткрыв глаза.

– Петр Савельевич! – искренне испугался Колесников. – Да я о вас и не думал.

– Хотя показаний я никогда ни у кого не вынуждал, но я сидел за судейским столом, делал то, что диктовал закон, и в соответствии с законом выносил приговоры.

– Я понимаю, – поспешно вставил Колесников, согласно кивая головой, – в те годы...

– Вы ничего не понимаете, – не дал ему досказать Даев, – и оправдываться перед вами, молодой человек, я не собираюсь. Я виноват, во многом виноват. И никто с меня этой вины не снимет. Но никогда провокатором и палачом я не был.

Даев выпрямился и смотрел в глаза Колесникову. Он говорил тем же ровным глуховатым голосом, не запинаясь, как будто читал лекцию, не единожды прочитанную самому себе.

– Были среди нас и такие. Не о них речь. Я виноват в другом... Вы говорите: «те годы». А что вы о них знаете? Страничку из учебника. Если не считать войн,

не было в истории нашего народа более героических лет... На стройку Нижегородского автозавода я в лаптях пришел. И когда механосборочный цех под крышу подводили, все еще в лаптях ходил. Полагались ударникам талоны на вторую кашу. Я их вместе с комсомольским билетом у сердца носил. Столовку иноземных инженеров мы за версту обходили, чтобы запахом жареного душу не расслабить. Ни машин не хватало, ни инженеров – за все валютой платили. Весь народ знал, убежден был: или построим социализм, или разобьют нас в первой же войне, в колонию превратят, рабами сделают.

Даев замолчал и внимательно взгляделся в Колесникова. Ему показалось, что его собеседник заскучал, как случалось это с его слушателями на политических семинарах, которых Даев много провел за свою жизнь. Раньше это его не смущало, важно было дотянуть положенное время и отметить, что мероприятие проведено. Сегодня ему очень хотелось, чтобы этот молодой следователь проникся его мыслями не как школяр, а как единомышленник.

– Все это бесспорно, – откликнулся Колесников. – Но согласитесь, Петр Савельевич, что память людская не комод с ящиками, часть которых можно запереть на замок, а ключ – забросить в речку. Так уж устроен человек, что не может он забыть прошлое, не

может не вспоминать о нем.

– А разве я напоминаю о славе прошлых лет, чтобы вы забыли то, чего забывать нельзя? Забывчивость – худой помощник, но помнить нужно все. Половина правды – кривде родня. Вы как думаете? Пока я в лаптях ходил – был большевиком, а как за стол сел – оборотнем стал? Я революции служил всегда, и всегда был готов отдать за нее жизнь. Беда моя в другом. И беда и вина. В том, что служил слепо, невежественно. А идеи революции, как никакие другие, требуют открытых глаз, полного знания, честности и бесстрашия. Я же предоставлял другим все знать, думать и обеспечивать мою честность. Когда нужно было быть особенно зорким и принципиальным, я предпочитал думать поменьше, почаще прятаться за чужую спину, – начальству, мол, виднее... Больше верил, чем понимал. А одной веры мало. И смелость утратил, – боялся высказать свое мнение даже в тех случаях, когда этого требовала от меня партийная совесть. Вот чего простить себе не могу.

– Ну ладно – слепота... А причем тут невежество? – оробев, спросил Колесников.

Даев посмотрел на него, как будто не понял вопроса.

– А в нем все: и подлость равнодушия, и позор трусости. Я ведь не о формальной образованности го-

ворю, не о дипломах и степенях. Рядом со мной за судейским столом сидели образованнейшие юристы. Один из них и по сей день в институте преподает, вас, наверно, учил. А как был дикарем, таким и остался, – дальше своего носа не видит, каждый день готов молиться новому богу. Вся эта дипломная образованность – полдела, не больше. Вот когда на нее идейность опирается, убежденность, когда ничто не заставит вас пойти на сделку с совестью...

– Вы считаете, что я могу повторить ваши ошибки?

– Моих вам повторить не дадут, а своих наделать можете.

– Кто не ошибается?

– Не притворяйтесь, вы знаете, о каких ошибках идет речь. Можно ошибиться от неумения. Это одно. И совсем другое, когда ошибаешься от бюрократического усердия, от страха потерять свое кресло. По себе знаю, что значит жить с потенциальной готовностью совершить любую ошибку.

– Я если кому и хочу угодить, так только закону, – твердо сказал Колесников.

– Слова, – отмахнулся Даев. – Хочу, чтобы вы поняли одно: не считайте себя носителем гарантированной мудрости и честности только потому, что родились на двадцать лет позже меня. Не гордитесь своей непричастностью к моим ошибкам. Это вам ничего

не стоило. Хочу, чтобы вы лучше справились с теми испытаниями, которые выпадут на долю вашего поколения.

– Справимся, Петр Савельевич! – бодро откликнулся Колесников. – И воевать, если придется, будем не хуже отцов, и ошибаться постараемся поменьше.

– Насчет воинской доблести не сомневаюсь. Иногда легче умереть на войне, чем отстоять свою точку зрения перед начальством. А вот насчет ошибок... Еще один французский философ сказал, что гражданское мужество встречается реже, чем воинское. Нынешняя молодежь, конечно, и образованней, и дела у нее космического масштаба. Чего говорить! А был я недавно в области, заглянул к одному в кабинет, – со всем еще зеленый сидит за столом, а вельможности и зазнайства на трех старых бюрократов хватило бы. Поговорил с ним, признаюсь – страшновато стало. И не то чтобы я его командного тона испугался. За такой вельможностью лакейство прячется, «чего изволите», то самое невежество, – вот что страшно... Пора спать, – неожиданно заключил Даев и прощально махнул рукой.

Колесников вышел и только за дверью вспомнил, что не пожелал хозяину спокойной ночи.

Ночной разговор с Даевым вспоминался по частям. То приходила на ум одна фраза, то другая. Старик не случайно брякнул о душе. Когда-то грехи молодости замаливали молитвами, а этот ударился в философию, ищет объяснений и рад любому собеседнику. Но говорит он искренне, этого у него не отнимешь, — переживает.

Ироническая усмешка, с которой Колесников думал о Даеве, была наигранной. Некоторые слова старого юриста запали глубоко. «Вы работаете, не думая». Что он этим хотел сказать? Нет, не ради просвещения следователя распространялся он о своих ошибках. Хотел предостеречь от каких-то действий, имеющих прямое отношение к расследованию алферовского дела.

А о самом деле он так ничего и не сказал. В адрес убийцы у него не нашлось ни одного осуждающего слова. Говорил о чем угодно, только не о преступлении, совершенном у него под боком.

«Разработать Чубасова». Единственный его деловой совет. Но не похоже, что его заботит раскрытие преступления. Уж не хочет ли он, чтобы Колесников исправил его ошибку сорок пятого года и задним чис-

лом признал Чубасова заслуживающим высшей меры наказания? Чем это поможет делу? И так ясно, что Чубасов – негодяй, но разве убийство негодяя перестает быть преступлением?

Восстановить биографию потерпевшего – обязанность следователя. Колесников сделал бы это и без подсказки. Полезно проследить связи, которые тянутся от сорок второго года к нынешнему. Какие-то ниточки из этого клубка могут привести к происшествию у продмага. Источники информации рядом. Если о недавнем преступлении алферовцы высказываются неохотно, то о прошлом Чубасова готовы говорить часами. Вспоминают все до мелочей, с горячим чувством.

В тот день, когда уполномоченный заготскота Лаврушка Чубасов отказался уйти в лес и остался в оккупированной Алферовке, никто не думал, что сделал он это с далеким и злым умыслом. Возможно, что он и сам не знал, куда его заведет кривая дорожка.

Бывает так. Живет человек, по всем статьям не хуже других, – рядом ходит, на чужое не зарится. Бывает – до самой могилы прошагает по гладкому, не оступится и уйдет в мир иной, так никому, даже самому себе, не раскрыв, кем он был на самом деле. Только если рухнет привычный уклад и жизнь начнет испы-

тывать каждого в отдельности на прочность и устойчивость, – вот тогда-то и раскрывается человек в подлинной своей сущности.

Кто мог думать, что молодой учитель, здесь же в деревне выросший, Гераська Грибанов, озорник и сердцеед, станет командиром первого в районе партизанского отряда, а потом, простреленный и ослепший, уже с петлей на шее предскажет фашистам гибель, а Красной Армии победу? Никто этого думать не мог.

Когда Колесников удивился, как это, мол, Чубасов, родившийся в бедняцкой семье, пошел в услужение к гитлеровцам, Сударев удивился в свою очередь.

– Вы что же думаете, как рос в бедности, так уж сразу и герой? У другого бедность хребет надвое ломала. Из таких бедняков не герои, а холуи формировались, лакеи по-старому, пресмыкающиеся, одним словом. А кто позлее, те после солдатчины в городские подавались. Лаврушкин батя, бывало, за полушку руку оближет, чужой слюной умоется, не побрезгует.

Лаврушке Чубасову ни в лакеях, ни в городских побывать не пришлось. Вместе с Гераськой Грибановым он ходил в школу, вместе они вступили в комсомол. Но в тот год, когда из Алферовки выселяли кулаков, Чубасов погорел на собственной жадности. Стал он у высылаемых оттягивать барахлишко, что в обмен, а что и так, ни за грош отбирал. Судить его за это не

судили, но из комсомола выгнали. А поскольку Грибанов был на собрании первым обвинителем и клеймил Лаврушку самыми обидными словами, дружба между ними навсегда разладилась.

Случилось это в ранней молодости, а потом, когда Лаврушка вошел в года, он стал таким, как все: женился, обзавелся хозяйством и на всех собраниях исправно голосовал за советскую власть. Был он грамотен, умел обходиться с людьми, и ему всегда находилась службишка, позволявшая жить на колхозной земле, а в колхозе не работать. Детей он не сотворил, а перед самой войной от него ушла жена, – вдруг сорвалась в город и не вернулась. Сам он тоже собирался куда-то переезжать, с кем-то переписывался, да не успел.

Хотя Чубасов был мужчина рослый и нехворый, глаз, подбитый еще в детстве рогаткой, помог ему освободиться и от солдатской службы и от войны.

В селе Катьино, километрах в двенадцати от Алфировки, жил, вероятно, единственный человек на свете, с которым Чубасов разговаривал, ничего не тая. Это был его дядька по матери, колхозный кузнец Степан Дуняев, в трудное время заменивший Лаврушке отца и неведомо чем сумевший крепко привязать к себе сердце племянника.

К нему-то первым делом и подался Чубасов по приезде на родину с далекого Севера. Известно было,

что он привез Дуняеву большой чемодан с подарками. Но какой разговор состоялся между ними, так никто и не узнал. Только видели люди, что в тот же час Чубасов вывалился из дядькиной избы, а вслед ему шаркнули по дороге и чемодан, и подарки, еще не распакованные, в бумажках и лентах. А последней полетела вдогонку, кувыряясь и булькая, початая поллитровка.

С тем бы и уехал Чубасов обратно, сохранив свою жизнь, если бы не завернул в Алферовку к Тимохе Зубаркину.

Дуняев болел. Густо обросший сивой свалявшейся бородой, он сидел на печи, как медведь в берлоге, и трудно боролся с приступом удушья. Молодая женщина, пригласившая Колесникова сесть, пошарила в тумбочке, достала таблетку и протянула старику. Дуняев пожевал таблетку, потер словно отлитой из чугуна рукой волосатую грудь, вопросительно повернул голову к гостю.

Колесников сказал, что хотел бы узнать, с чем приезжал Чубасов к своему дядьке, о чем говорил, что выпрашивал, кого боялся. Старик редко и тяжело дышал. Колесников, полагая, что Дуняев глуховат, как все кузнецы, повторил сказанное погромче.

– Зачем шумишь? – сварливо перебил его Дуняев. – Об чем разговор шел – никого не касаемо. И тебе в

том разговоре интересу нет.

Колесников долго разъяснял, как важно для следствия уточнить все обстоятельства приезда Чубасова, но Дуняев упрямо молчал. Зато когда Колесников оставил в стороне последнюю встречу и поинтересовался, не видел ли Дуняев племянника во время оккупации и не было ли тогда между ними каких разговоров, старик стал поддаваться на вопросы, как поддается тяжелая кладь, которую подталкивают рычагами.

Память у Дуняева была хорошая, только не хватало дыхания для подробностей. Поэтому он отвечал хотя и односложно, но точно, не путая хронологии. С его помощью и удалось Колесникову восстановить любопытные детали биографии Чубасова.

Первый раз пришел к Дуняеву его племянник весной 1942 года, вскоре после того, как Лиховский район был занят немцами. Пришел за советом. Сказал, что его вызывали в комендатуру и предложили стать старостой в Алферовке. На раздумье дали один день. По разговору можно было понять, что Чубасову хотелось принять предложение, но страшился своих. Объяснялся он с Дуняевым, как бы оправдываясь и уговаривая себя. Доказывал, что народу будет лучше, если старостой станет свой деревенский человек, а то пришлют со стороны неизвестно кого, горя не оберешься. Выходило, по его словам, что заботится он не столько

о себе, сколько о своей деревне.

Дуняев не говорил Колесникову, что спорил тогда с племянником или осуждал его. Надо думать, что сам он в ту пору растерялся и не знал, как будет жить под немцами.

То, что Чубасов принял предложение комендатуры, Колесникову было известно. И поведение старосты в эти первые месяцы оккупации соответствовало той программе, которую он изложил Дуняеву. Он даже заискивал перед колхозниками, предупреждал их о поборах, которые намечались комендатурой, сам советовал прятать лишнее, чтобы не бросалось в глаза.

Но недолго длился этот период безобидного приспособления к гитлеровцам. Жизнь вынуждала делать выбор: либо – либо.

С партизанским отрядом, который вскоре был сколочен Грибановым, у Чубасова сложились двойственные отношения. На прямую связь и поддержку он не шел. Грибанов не раз подсылал к нему своих людей, хотел увериться, что в Алферовке надежный человек. Но Чубасов отвечал уклончиво, никакой помощи не обещал. В то же время понять можно было, что мешать он партизанам не будет и относится к ним так, как вроде бы их и нет.

Уже потом, на суде, он доказывал, что не хотел связываться с партизанами, потому что боялся преда-

тельства и доноса в комендатуру. Колесников не сомневался, что в этих словах была правда. Никто так не боится предательства, как предатель. Меряя всех на свой аршин, он в каждом видит свой страх, свою готовность к подлости. Чубасов боялся гитлеровцев, но еще больше боялся партизан. Он не знал, кто выйдет победителем, и старался угодить и тем и другим.

Грибанов не верил, что Лаврушка Чубасов может стать изменником. У него был свой аршин, и в каждом человеке он видел свою непримиримость к врагу. Он знал, что Лаврушка труслив и жаден. Но он не переставал считать его советским человеком и полагал, что лучшего старосты для Алферовки не сыскать.

Чубасов делал вид, что не замечает, как Алферовка превращается в партизанскую базу. Сюда свободно заходили разведчики. Отсюда переправлялись в лес продовольствие и одежда. Но вскоре спокойная жизнь Чубасова кончилась. Грибановский отряд взял под контроль Лиховское шоссе, – полетели мосты, подорвался на минах штабной автобус с оперативными документами, бесследно исчезали километры провода.

В Алферовку и во все окрестные деревни нагрянули каратели. В Дусьеве, где нашли немецкий автомат, расстреляли две семьи. Молоденький офицер с эсэсовскими молниями на петлицах часа полтора до-

прашивал Чубасова. Могло случиться, что гитлеровцы тогда же расстреляли бы Чубасова и он остался бы в памяти людей первой жертвой и первым героем Алферовки. Но очень уж искренне доказывал Чубасов свою непричастность к партизанам. В глазах офицера он видел смерть и, если бы верил, что может вымолить прощение, наверно, бросился бы в ноги и рассказал бы все, что знал о грибановском отряде. Но страх удержал его. Он поклялся, что нет и не было в Алферовке ни одного партизана. Почуял, видно, гитлеровец, что на этого человека можно положиться, почуял и передал через переводчика: «Если узнаю, что солгал, – повешу».

Об этом допросе и о последних словах гитлеровца Чубасов рассказывал в деревне. Был он напуган до помрачения и убеждал каждую бабу, что если партизаны будут заходить в Алферовку, то деревню сожгут, а всех, и его в том числе, повесят. Ходил он из одной избы в другую и повторял все то же – просил вести себя так, чтобы самим в живых остаться и ему жизнь спасти. Намекал, что не худо бы партизанам пожалеть своих близких и убраться подальше, в другой район.

Ни о чем он больше не думал и думать не мог: как уцелеть? как не озлобить партизан, которые могли запросто его прикончить, и как убедить немцев, что он

им верный слуга?

С неохотой, после долгого молчания, когда слышались только всхлипы в больной груди, рассказал Дуняев и о другом разговоре с племянником. Было это в начале осени, когда гитлеровская армия прорвалась к Сталинграду. Дуняев хорошо запомнил, в каком состоянии прибежал к нему Чубасов: зеленый от испуга, с трясущимися руками. Чуть не плача, он уговаривал старого кузнеца порвать с партизанами, отказаться от их заказов, пожалеть себя. «Пропала советская власть, – твердил он убежденно, – пропала и не вернется. Нужно притереться к немцам, они хозяева».

О том, что случилось в тот день с Чубасовым, почему, отбросив колебания, перекинулся он к фашистам, старик говорить отказался. Видно было, что эти воспоминания ему неприятны, что по сей день корит он себя за то, что не догадался тогда, чем обернется этот припадок страха.

– Мне бы его, как вошь, придавить, с него бы и дух вон, – как бы извиняясь за оплошность, сказал Дуняев.

Но вот, оплошал, не придавал значения, даже партизан не предупредил, думал, что племяш брешет с перепугу, отоспится, придет в себя. Только высмеял его и разок дал по шее, чтобы не завирался. А для Чубасова вопрос был решен.

Чем больше узнавал Колесников о Чубасове, тем сильнее испытывал он чувство пловца, которого течение сносит далеко в сторону от ориентира, намеченного на другом берегу. Разговоры со стариками, отлично помнившими события сорок второго года, вводили его от тех четких установок, с которыми он приступал к расследованию. Факты, которые накапливались у него, не помогали, а мешали. Они уличали одного Чубасова и не только объясняли, но и как бы оправдывали его убийство.

Каждый свидетель стремился передать следователю заряд своей ненависти к предателю. У ненависти свои аксиомы и своя система доказательств. Простые и непроверяемые доводы Колесникова воспринимались алферовцами как логические упражнения из учебника, не имевшие никакого отношения к их житейской практике. Они соглашались, что самосуд недопустим и преступен. Они вместе со следователем готовы были осудить злодея, поднявшего руку на другого человека. Но они с гневом отрицали какую бы то ни было связь между этими абстрактными рассуждениями и убийством Чубасова. Так же как они

продолжали ненавидеть фашистов, заливших кровью их землю, так ненавидели они и предателя. Их ненависть не признавала поправок ни на время, ни на уголовный кодекс.

Все мужчины и женщины, проходившие перед Колесниковым, продолжали судить Чубасова даже после его смерти. Они не скрывали своих симпатий к тому, кто привел в исполнение приговор, созревший в их сердцах.

Теперь уже никаких сомнений в мотивах убийства не оставалось. Если бы не заключение судебно-медицинской экспертизы, установившей, что смерть потерпевшего последовала после единственного удара, можно было бы предположить, что вся деревня принимала участие в этом акте открытой мести.

Откровенней всех высказался по этому поводу Андрей Степанович Куряпов. В годы гражданской войны Куряпов служил конником у Примакова, а в сорок втором воевал в партизанском отряде Грибанова. С этим крепким горластым стариком Колесников познакомился у Сударева. Куряпов со второго слова стал называть следователя на «ты» и разговаривал по-отечески, наставляя, как совсем еще молодого паренька, способного по горячности напороть невесть что.

Изба Куряпова стоит как раз напротив продмага, а в час убийства старик сидел на лавочке у калитки и

своими ястребиными глазами из-под навеса седых, вздыбленных бровей видел все.

На допросе Колесников держался с ним официально, предупредил, как всех, об ответственности за ложные показания и, когда заполнял анкетную часть допросного бланка, переспросил имя и фамилию. Куряпов, хотя и согласился на официальность, но, подмигивая и усмехаясь, давал понять, что всерьез свою роль не принимает. Вроде бы оба они знали, что без этой церемонии не обойтись, хоть ей и грош цена.

Когда карусель вопросов и ответов вернулась к исходной точке, Куряпов положил на стол руку и сказал:

– Все? Теперь прибери бумагу, прибери. Положь вставочку. Послушай, что я спрошу. Гляжу я на тебя, Петрович, чудак ты, ей-богу чудак. Ну какая тебе разница – кто? Ты мне по совести скажи: правильно того гада изничтожили или как?

– Убийство не может быть правильным.

– А ежели иным порядком нельзя было его изжить? Пускай дышит, пускай водку жрет?

– Ну, а если каждый по своему разумению начнет суды подправлять и с гаечным ключом по дворам бегать. Это правильно?

– Ты, Петрович, как налим. Я тебе вопрос, а ты боком, боком и под корягу. Никто зря с ключом ходить не будет. Народ у нас смиренный, не волки.

– Вы, Андрей Степанович, Ленина уважаете?

– Ты это к чему?

– А к тому, что Ленин говорил: ни одно преступление не должно остаться безнаказанным. Понятно? Ни одно!

– Ленин завсегда правду говорил. А Лавруха Чубасов чуть без наказания не остался.

– Его судили.

– Дурная голова судила. А теперь аккурат по Ленину вышло – получил сполна.

– Не может один человек вершить суд и расправу.

– А неужто он один его прибил! Считаю, и я за тот ключ держался. Всем миром присудили бы его. А кто замахнулся, тому спасибо. А ты хочешь, чтобы мы его тебе привели, чтобы ты его за решетку бросил.

– Да не посадят его, – в отчаянье крикнул Колесников, и въедливый старик тотчас ухватился за эти слова.

– А почему знаешь, что не посадят?

– Не знаю, но допускаю, что суд учтет, войдет в положение. Может быть, ограничится другим наказанием.

– Не пойму тебя, Петрович. То ты говоришь, что он против закона пошел, то обещаешь даешь, что не посадят его.

– Никаких я обещаний не даю и дать не могу. Я не

судья.

– Ну, а был бы судьей – оправдал?

– Оправдать его нельзя, а простить, может быть, и можно, не знаю.

– Так ты и прости.

– Да не имею я на это права. Для того суд и существует?

– А бумажку дашь?

– Какую бумажку?

– За подписью. Напиши, так, мол, и так, поручаюсь в общем, что отпустят этого молодца на полную свободу.

– И бумажку писать не имею права. Я только объясняю, что убийство убийству рознь. Случается, что по неосторожности, сам того не желая, человека убьешь или, обороняясь, жизни кого лишишь. Или еще бывает, что в сильном волнении, от большой обиды человек ударит, не рассчитает силы и убьет. Все это разные убийства, и разные за это наказания.

– Это правильно. Сам придумал?

– Так в Уголовном кодексе записано. По нему судьи и приговор выносят.

– А ты им подскажи. Зря, что ли, тебя прислали? Парень ты башковитый, так и напиши – убил, мол, на полном основании.

Колесникову очень хотелось запустить чем-нибудь

в ехидную бороденку Куряпова. Стараясь не смотреть на него, он ослабевшим голосом повторял:

– Это судьи должны решать, на каком основании.

– Брось, Петрович, брось. Не прибедняйся, не дурней ты судей, не дурней. Поезжай и расскажи, как есть. Не за что его сажать, правильно сработал, пусть гуляет.

– Да я даже не знаю, кого «его».

– И не надо тебе знать, крепче спать будешь.

Спалось после таких разговоров плохо. И не потому, что имя преступника оставалось неизвестным. Как и предсказывал Лукин, имя Алексея Кожарина называли – не прямо, не для протокола, – проговаривались. Был один разговор, случайно подслушанный в колхозной чайной. Были испуганные, выдающие правду глаза женщин, отмахивавшихся от него, когда он задавал прямые вопросы. Не было лишь того порядка в мыслях, с которыми он приехал в Алфировку.

Колесников привык работать в окружении людей, разделяющих его чувства и всегда готовых прийти на помощь. Так проходило расследование каждого преступления. Всегда интересы следствия совпадали с интересами честных людей. И только в этой деревне, где полностью отсутствовала атмосфера сочувствия и содействия, Колесников понял ее силу.

Чем ближе он сходиллся с алферовцами, чем глубже проникал в их духовный мир, тем труднее было работать. Умные и честные люди считали его действия неразумными, скрывали от него правду, убеждали его согласиться с тем, что противоречило всяким правовым нормам. Не мог же он всерьез принять логику деда Куряпова и успокоиться на том, что «гада изничтожили правильно»!

Колесников принуждал себя придерживаться плана и гнуть свою следовательскую линию наперекор мнению окружающих. Но и в этом он хитрил перед собой. Драматические события сорок второго года придвинулись к нему вплотную. Восстановленные участниками и очевидцами, они втянули его в круговорот борьбы и страданий, двадцать лет назад пережитых Алферовкой. Не насущная потребность следствия, а личная заинтересованность заставляла его довести до конца то «вскрытие» Чубасова, о котором говорил Даев.

9

О самом тяжелом преступлении Чубасова на процессе 1945 года никто достаточно убедительно рассказать не мог. Были слухи, страшные до неправдоподобия. Вся Алферовка знала, что за этими слухами

– правда. Но полновесных доказательств суд так и не собрал. Колесников знал – почему.

Главная свидетельница, теща Грибанова, умерла еще в сорок четвертом году, а заместитель Грибанова по отряду Василий Вдовин в последний день войны погиб, подорвавшись на mine. Осколком этой же мины его земляку и фронтовому другу Судареву оторвало три пальца.

Когда, повалявшись по госпиталям, Сударев вернулся в Алферовку, Чубасов был далеко, под надежной лагерной охраной. А от Вдовина Сударев знал все.

Сопоставляя то, что он услышал от Дуняева, с рассказом Сударева, Колесников во всех подробностях представил себе картины прошлого.

Жена Грибанова Мария с двухлетней дочкой и больной матерью жила на краю деревни. Чубасов знал, что партизанский командир нередко навещает своих – уверен, что никто в деревне не предаст.

Вдовин рассказывал Судареву, что однажды связанной принес Грибанову записку от жены. Она писала, что заходил Лаврушка и просил помочь встретиться с Герасимом. Есть, мол, у него важные новости для партизан. Просил встречу не оттягивать. Хорошо бы в пятницу до рассвета.

Вдовин вспоминал, что никаких сомнений у них за-

писка не вызвала. Беспокоило только, что в округу зачастили гитлеровские патрули, но никак этого факта с предложением Чубасова не связывали. Решили, что пойдет Грибанов с двумя разведчиками, а под самой Алферовкой, на всякий случай, оставят наблюдательный пост с ракетницей.

Партизанская база размещалась на Дальних болотах километрах в двадцати от Алферовки. Вышли ночью и шагали не спеша, соблюдая осторожность. Дошагали до грибановского дома, но ничего тревожного не заметили. У поворота с лесной тропы на проселок оставили дозорного, усадив его на высокую ель.

Младшего своего спутника Федю Ингурова, плечистого парня лет двадцати, Грибанов поставил в секрет за сараем, а сам с бородатым Матвеем Клушиным вошел в избу.

Жена Грибанова успела к приходу партизан растопить печь и пригласила гостей к столу. Приняться за еду не успели. Хлопок ракетницы донесся слабо, как будто кто-то за окном легонько ударил в ладоши. Мария даже не обратила бы внимания, если бы мгновенно не изменились мужчины. Еще никто не успел сказать ни слова, а Матвей Клушин уже крутил фитиль керосиновой лампы, пока тот не задохся в узкой щели.

Грибанов подошел к жене, обнял за плечи и тихо сказал:

– Со стола прибери и ложись. Никого ты не ждала, и никого у тебя не было.

Свет догорающих в печи поленьев покрасил бледность ее испуганного лица и тревожно мерцал в оставившихся серых глазах.

Дверь приоткрылась, и Федя Ингуров прошептал с порога:

– Немцы, Герасим Захарыч.

Грибанов оторвался от жены, и, уже оборотясь, напомнил:

– Дверь закрой, ложись.

Сигнал дозорного помешал гитлеровцам захватить партизан врасплох. По их плану сначала перекрывались пути отхода из Алферовки, а уж потом завершалось окружение грибановского дома.

С высокого крыльца Грибанов увидел огни мотоциклетных фар, гладко кативших по шоссе со стороны Дусьево и подпрыгивавших на колдобинах проселка. Ничего, кроме этих фар, разглядеть нельзя было. Темень раннего октябрьского утра была влажной и липкой. Грибанов услышал приглушенный голос Матвея Клушина:

– Похоже, облава.

Они все еще надеялись, что гитлеровцы появились случайно, вне связи с приходом партизан в Алферовку. Никто еще не думал о предательстве Чубасова.

Ясно было одно: нужно поскорее выбираться из деревни и, если не удастся прорваться к лесу, отлежаться в укромном месте, пока кончится облава.

Таких укромных мест было немного. Самое близкое – старое бензохранилище МТС, из которого партизаны прорыли ход в овраг, тянувшийся до самого леса.

Шли гуськом: впереди Федя Ингуров, за ним в двух шагах Грибанов. Замыкал Матвей Клушин. Прижимаюсь к плетням, топтали скользкую ботву, месили грязь, и, как ни старались держать тишину, слышно их было далеко.

От разрушенных мастерских МТС до бензохранилища оставалось метров двести полем. Но пробежать успели не больше двадцати. Взлетевшая ракета накрыла их куполом холодного зеленоватого света. Разом плюхнулись в грязь и поползли обратно к руинам мастерских. Длинная очередь из ручного пулемета как бы подтвердила, что замысел их разгадан и путь к бензохранилищу отрезан.

А вслед за очередью прогремел в самые уши усиленный мегафоном голос немецкого переводчика:

– Господин Грибанов! Вы окружены! Сдавайтесь! Мы сохраним вам жизнь!

Это был смертный приговор не только ему.

Вдовин рассказывал, что Грибанова часто беспокоила мысль о семье. Немцы еще не знали, что пар-

тизанским отрядом руководит учитель из Алферовки. Но долго ли так продолжится? В конце-то концов узнают. Что будет с Марией, с дочкой? Грибанов знал, что Мария не оставит больную мать. А партизанская база была еще слишком бедной и неустойчивой, чтобы держать на ней женщину с ребенком, да еще с больной старухой в придачу. Приходилось отгонять мрачные мысли и надеяться, что семья благополучно перезимует в деревне, а весной обстановка изменится к лучшему.

Голос из темноты, назвавший имя Грибанова, рассеял все надежды. Их предали.

Ночной мрак медленно разбавлялся водичкой близкого рассвета. Грибанов уже видел не только силуэты своих товарищей, но и обращенные к нему ожидающие лица.

Можно лишь догадываться, какими мыслями обменивались в эти минуты обреченные партизаны и какой план действий показался им самым верным. По рассказам нескольких женщин, притаившихся в своих избах и видевших из разных окошек обрывки короткого боя, не трудно было восстановить и понять ход событий.

Партизаны больше не пытались прорваться к оврагу. Они правильно решили, что немцы особенно тщательно перерезали кратчайший путь к лесу. Когда

немецкий переводчик во второй раз обратился к «господину Грибанову», Федя Ингуров ответил автоматной очередью. Неизвестно, сам ли он вызвался или оставили его для прикрытия, но Федя не покинул своего поста, пока его не подстрелили с тыла.

Грибанов и Клушин бросились в другой конец деревни, туда, где их меньше всего могли ждать гитлеровцы. Хотел ли Грибанов подальше уйти от своего дома или рассчитывал перемахнуть дорогу на Дусьево и добраться до заросшего Заячьего озера, можно было только гадать.

Клушин заметил автоматчика, подстерегавшего их в кювете, и накрыл его гранатой. Грибанов уже перебежал шоссе, когда его ярко осветил подоспевший мотоцикл. Видно, немцам было приказано захватить партизан живыми – стреляли они низом, по ногам. Грибанов упал. Клушин бросил одну за другой две гранаты и, подхватив командира, попытался оттащить его к ближайшему стожку. Но и его остановила немецкая пуля.

10

Мать Марии Грибановой ненадолго пережила свою дочь. Она умерла в 1944 году, уже после освобожде-

ния Алферовки от оккупации, но стать свидетелем на суде против Чубасова не успела.

Последние два года Екатерина Николаевна страдала тяжелейшими приступами страха. Каждый приступ заканчивался длительной потерей сознания. Страх поражал ее внезапно. Приютившая ее Варвара Шулякова заметила, что приступы возникают не сами по себе. Вызывали их то громкие голоса, то резкий стук в дверь, то запах паленого. Шулякова не раз бывала свидетельницей приступов и подробно, в который раз переживая прошлое, описала Колесникову, как они обрушивались на несчастную женщину.

Екатерина Николаевна вдруг замирала, словно прислушиваясь к чему-то, лицо ее искажалось, глаза упирались в орбиты, а руками она подгребала к себе подушку, одеяло, как будто укрывала живое. «Это она Аленку прятала, внучку», – объясняла Шулякова.

Что всегда удивляло окружающих, Екатерина Николаевна во время приступов не издавала ни криков, ни стонов. Может быть, поэтому, задохнувшись от сдержанного вопля, она впадала в глубокий обморок.

Не только Шуляковой, но и многим в деревне рассказывала Екатерина Николаевна все, что слышала в тот день. Лежала она тогда за тонкой перегородкой, прижимала к себе спавшую внучку и видеть ничего не видела, но слышала каждый шаг, каждое слово.

Слышала она, как под ударами прикладов раскрылась дверь и пол затрясся от топота солдатских сапог. Слышала, как закричала Мария и смолкла. Слышала, как стонал Герасим Грибанов. И еще слышала голос Лаврушки Чубасова, все убеждавшего кого-то. «Он! Он и есть командир! Это точно!» Голос Чубасова она не могла спутать с другим. По-русски говорил еще переводчик. И еще Грибанов. Но произносил он только одно слово, то тихо, то громче, то с криком: «Гады!»

Переводчик задавал ему вопросы о партизанской базе, о числе партизан, о планах партизанских, а он твердил свое: «Гады!»

Екатерина Николаевна слышала, как в чьих-то руках громыхнул ухват и как ворошили рогаткой раскаленные угли в печи. Потом избу заполнил запах паленого, И снова услышала Екатерина Николаевна голос Чубасова, вздрагивающий и просительный: «Дозвольте мне».

Грибанов кричал диким голосом, пока не захрипел. Екатерина Николаевна боялась, как бы не проснулась внучка. Лаврушка Чубасов знал, что в избе должны еще находиться теща и дочка Грибанова. Знал он, что старуха разбита ревматизмом, с постели не встанет и никуда уйти не могла. Почему же он не сказал об этом гитлеровцам? Екатерина Николаевна думала, что он от волнения забыл про нее. И пуще все-

го она боялась напомнить о себе. С головой закрыла внучку, затаилась и не проронила ни звука.

Екатерина Николаевна ничего не видела. Она не видела, как Чубасов выжигал глаза Грибанову. Она только слышала его голос: «Дозвольте мне».

А как вешали партизан и Марию, видели многие. К этому времени уже рассвело. Несколько случайных прохожих задержались и смотрели. Другие подглядывали в окна. Все видели, как Чубасов суетился, доставал веревки, лестницу. Командовал худой, бледный офицер. Он стоял в стороне, курил и время от времени выкрикивал какие-то слова по-своему.

Первой повесили Марию Грибанову. Она не отводила глаз от мужа и говорила тихо, почти про себя, слов разобрать нельзя было. Потом повесили тяжело раненного Матвея Клушина и мертвого Федю Ингурова. Последним поволокли Грибанова. Простреленные ноги не держали его. Рубаха на нем тлела. Глаз и бровей не было. Все думали, что он мертвый. Но когда подняли его и стали накидывать петлю, он вскинул голову и как на многолюдном митинге крикнул: «Врете, гады! Придет Красная...» И не досказал. Чубасов, не дожидаясь команды, выдернул табуретку.

О казни партизан Варвара Шулякова рассказывала не первый раз. Она сидела на веранде даевского дома и говорила не сбиваясь, то понижая голос до шепота.

та, то всплескивая руками и округляя глаза. Виселицы, фашисты, Чубасов – запечатлелись в ее памяти на всю жизнь. Ей давно не приходилось вспоминать историю, известную всей Алферовке, и когда Елизавета Глебовна попросила прийти, чтобы пересказать все их постояльцу, она бросила дела и теперь старалась передать виденное как можно убедительней.

С ночи моросил, не переставая, бесшумный, застенчивый дождик. Каждый листик в саду был отмыт до блеска. Оттуда, через открытую дверь, тянуло отсыревшей землей и допьяна напоенной зеленью. Дав стоял у застекленной рамы, что-то разглядывал сквозь синий ромбик дачного стекла. Елизавета Глебовна вытирала уголком передника то один глаз, то другой.

– Так и сказал, – повторила Шулякова, – «Врете, гады!» А у самого все лицо спалено, ну все кругом спалено.

Колесников немало прочел книг и видел кинофильмов о злодеяниях гитлеровцев. Фактов чудовищной жестокости было так много, цифры загубленных были так велики, что осмыслить и прочувствовать каждое преступление фашистов не смог бы ни один человек на свете. Забывались прочитанные книги и виденные фильмы. Восстанавливалось душевное равновесие. А если приходилось от случая к случаю вспоминать

о бесчеловечности фашизма, то можно было пользоваться готовыми формулами житейского и юридического обвинения.

По сравнению с Освенцимом или Майданеком трагедия в Алферовке казалась заурядным эпизодом, будничным штришком из быта оккупантов. Только сейчас, слушая Варвару Шулякову, глядя на скорбное лицо Елизаветы Глебовны, Колесников всем существом своим понял, что ни забыть, ни простить того, что произошло в годы войны, люди не могут.

Почему он никогда раньше не слышал имени Грибанова? Как меняются времена! В Древней Руси непреклонный патриот стал бы национальным героем. Из века в век переходил бы эпос о его подвиге. Теперь каждая деревушка имеет своих героев. Если всем им ставить памятники в Москве, не осталось бы места для домов. Но разве потускнел от этого ореол героизма? Разве не остался Грибанов и для нынешних и для будущих алферовцев олицетворением всего лучшего, чем может гордиться человек? Из всех героев он здесь самый близкий, самый понятный. Кто же осудит их за ненависть к его палачам? Как могли они иначе отнестись к расправе над Чубасовым?

Варвара Шулякова уже говорила с Елизаветой Глебовной о другом, сегодняшнем, но Колесников ее прервал. Он вспомнил, что эта старушка видела, как Чу-

басов застрелил гитлеровца в день бегства оккупантов из Алферовки. Этот эпизод все еще оставался неясным. Что вдруг толкнуло предателя на рискованный шаг? Ждал ли он своего часа, чтобы искупить вину, или пожалел родную деревню и спас ее от огня?

Варвара Шулякова долго не могла понять, о чем он допытывается, потом вдруг рассердилась, замахала руками.

– Господь с тобой! Со злости он, со злости в того немца пальнул.

– Так и я думал, что со злости. Значит, не любил он фашистов?

– А с чего бы ему их любить? Ежели кто тебя в прорубь пихнет, небось невзлюбишь того.

– Не понимаю, Варвара Тихоновна, кто его в прорубь толкал?

– Так оно вышло, что в прорубь. Он им кто был? Первейший друг-помощник, под сапог стелился. А как до того дошло, чтобы шкуру спасать, они же его в морду – пошел вон, русский швайн, свинья по-ихнему.

– Вы, пожалуйста, подробнее расскажите, как все это было. Сами видели или рассказал кто?

– А чего мне других слушать? Сама видела, как тебя вижу. После того как Герасима с Марией повесили, Лаврушка совсем было умотал, то ли в Лихово, то ли куда подальше собрался. Знал, что партизаны ему

жить не дозволят. А немцы по-другому решили. Вернули его в Алферовку, а с ним цельную команду на постой определили. И у меня двое стояли, и у Кирьяновых, и с Лаврушкой трое. Один вроде начальника у них был, длинный такой, всех баб, как курей, ощупывал. Они за Дусьевским мостом приглядывали, а заодно и за Лаврушкой, охраняли, в общем. Весело жили, шнапса у них всякого хоть залейся. Лаврушка чем уж только им не угождал. Сам по деревне водил, все показывал, где у кого какое добро зарыто. Так и жили они душа в душу. А как пришло им время бежать, тут и пошло навыворот.

Варвара Шулякова улыбнулась, предупреждая слушателей, что сейчас речь пойдет о веселом.

– Было это в последний день, утром было, Уж мы и пушки наши слышали, вот-вот, ждали, конец мученьям. Уж кто-то из лесу вышел, осмелел народ. Тут и подъезжает к Чубасовой избе грузовик ихний, своих забирать приехал. Этот, который главный, первый Лаврушкин дружок, выскочил и орет по-своему: «Шнель! Шнель!» Шевелись, значит, поворачивайся. Стали фрицы чемоданы да узлы за борт закидывать. И Лаврушка с ними свой чемодан тянет, туда же закидывает. А как сели все, и Лаврушка за ними. Уже ногу перекинул. А этот, который ему первый друг, раз сапогом в морду, Лаврушка и отвалился. Говорят, плакал

от обиды, я не видала, а как на дороге в пылище сидел и кулаком грозился, видала.

– Хотел вместе с ними удрать?

– А то нет! Обещали ему, не кручинься, мол, с нами до Берлина поедешь. Вот и доехал.

– А как тот немец подвернулся, которого он...

– А то уже к вечеру было. Лаврушка, как с земли поднялся, ровно одурел. Ко мне во двор забег, на колени пал, прощенья просит. «Я, говорит, тетя Варя», а я ему сроду тетей не была, «Я, тетя Варя, вам кулю муки принесу, у меня мука от злодеев припрятана, и овес, говорит, есть, я все детишкам отдам». Блекочет так наскоро, не разобрать, видно только, что испугался шибко. А наши ну совсем близко, под боком. Тут-то с дороги Лиховской и поехала последняя ихняя машина. В ней-то и солдат всего ничего, два или три. Как раз у продмага стали. Один соскочил, а в руках посуда. Подбег к магазину и давай бензином по стенкам. Такой им приказ был: «Беги и жги, ничего посля себя не оставляй». И сжег бы. Ветер, помню, сильный, сушь, беспреренно сжег бы всю деревню. Тут Лавруха свою злость и доказал. Выбег из избы. Гляжу – ружьем трясет. Лег у забора, щекой приложился и стрельнул. Фриц так головой в свою посудину и ткнулся. А тот, что в машине, услышал – стреляют, такого хода дал, в минуту не стало. Подбег Лаврушка к

убитою, за ноги подхватил, тащит, людям показывает, вот, мол, я какой! «Смерть, – кричит, – немецким оккупантам!»

– А потом?

– Потом наши подросли. А Лавруха тю-тю! С того дня до нынешнего года и не видала его. Слышала – судили его. К нам один приезжал, про него спрашивал и про то, как немца убил. И со мной, вот как ты, разговор вел.

11

– Знаете, Петр Савельевич, у меня сложилось впечатление, что алферовцы прошли основательную юридическую подготовку, – сказал Колесников.

Они завтракали, ели редиску с тяжелой желтой сметаной и благожелательно смотрели друг на друга. За последние дни разговаривать им стало легче. Колесников говорил не задумываясь, все что приходило в голову.

– Кто ее нынче не проходил? Неграмотных нет.

– Я не о грамоте говорю. Они как будто специально натасканы – что говорить следователю, о чем молчать, что подписывать, от чего отказываться.

Даев посмеялся тихо, как смеются наедине с собой.

– И кто же, по-вашему, их натаскал?

– Думаю, кроме вас, больше некому.

– Богатая у вас фантазия, Михаил Петрович, далеко она вас заведёт. Если на то пошло, то я сам у них кой-чему научился, и по юридической части в том числе.

– Но не может быть, чтобы они с вами не советовались.

– О чем?

– Как вести себя на следствии.

– И вы думаете, если бы я им посоветовал дружно показывать на виновного, они бы послушались?.. Невысокого вы мнения об алферовских мужичках. Елизавета Глебовна!

Старушка встала на пороге, сияя белейшим платочком, покрывавшим седую голову.

– Сметанки подбавить? – спросила она.

– Вы нам, Елизавета Глебовна, признайтесь, известно вам, кто убил Лаврушку Чубасова? – сказал Даев.

– А ну вас, Петр Савельич, скажете тоже!

– Нет, нет, не уходите. Я серьезно спрашиваю. Вот Михаил Петрович утверждает, что это я вас уговорил не выдавать виновного.

Елизавета Глебовна недоверчиво смотрела на мужчин.

– Что знаю, то знаю, а чего не видела, того не видела,

– Ну, а если бы видели? Как бы вы поступили? Рассказали бы Михаилу Петровичу всю правду или раньше ко мне побежали бы советоваться?

– Молод он, Михал Петрович, ему всей правды не схватить. У молодых своя колокольня, свои звонари.

– А если без присказок, положи руку на сердце, вспомните, что я об этом деле говорил, какие советы давал?

– Не дело говорили. От большого ума плели невесть что, и переговаривать тошно. – Елизавета Глебовна поджала губы и вышла.

Колесников смотрел на смеющегося Даева и не решился спросить, что он «плел от большого ума». О том, что Даев как-то замешан в этой истории, подумалось неожиданно, и туманные иносказания Елизаветы Глебовны не рассеяли сомнений.

Даев не мог не узнать сразу же о приезде своего бывшего подсудимого. Сударев и другие, обговаривавшие с ним колхозные дела, не могли не обсуждать обстановку, сложившуюся в Алферовке. Даев не отмалчивался, не в его характере. Он что-то «плел». Потом произошло убийство, и колхозники закрыли пути следствию. Какую позицию занимал Даев? Были какие-то расхождения, споры. Когда? До происшествия

или после?

Даев легко читал мысли своего собеседника.

– Вас гложут сомнения, Михаил Петрович. А все ведь очень просто. Я рассуждал как юрист и старался убедить алферовцев в своей юридической непогрешимости. Я учел вновь открывшиеся обстоятельства и написал заявление, в котором требовал возобновить дело Чубасова. А пока мое письмо ходило, здесь его дело закрыли навсегда.

– Но вы догадывались, что назревает убийство?

– Нет. Такого не допускал. Привык, знаете, думать, что в жизни все разыгрывается по писанным правилам. Даже когда сам нарушаешь их походя, от других ждешь жития святых.

– Тем не менее эти правила нужно охранять.

– Обязательно! Только при этом нельзя забывать, что жизнь полна исключений и не каждое из них подлежит осуждению.

– Где же критерий?

– Под руками. Деяние, совершенное на благо обществу, – добро, дело во вред – зло.

Колесников не сдержал раздраженного жеста и чуть не опрокинул стакан. Его раздражало непробиваемое спокойствие Даева.

– Как бы вы поступили на моем месте? – спросил он напрямик.

– Прошло время, когда я знал ответы на все вопросы. Да и трудно мне представить себя на вашем месте... Думаю, что я прислушался бы к голосу народа.

– Причем тут народ? Убийца один, о нем и речь.

– Вера Засулич стреляла в генерала Трепова тоже ни с кем не советуясь. Вершила, так сказать, самосуд. А за ней стояла совесть всей прогрессивной России. Даже присяжные заседатели того времени и те сказали: «Невиновна!»

– Но и Вера Засулич не уклонилась от суда. В этом вся суть. Мы не можем предрешить приговор суда по делу об убийстве, но состояться он должен.

– Меня в этом убеждать не нужно. Вы убедите алферовцев. Кстати, если бы вы были народным заседателем на этом суде, вы бы проголосовали за осуждение убийцы Чубасова?

Колесников одним глотком допил остывший чай и вышел.

12

Тропинка, срезавшая путь через сгоревший конец деревни, вилась меж заросших фундаментом и одичавших садов. Каждый день Колесников ходил по ней, направляясь в свой служебный кабинет, и день ото

дня шагал все медленней, растягивая удовольствие от прогулки. Перекличка птиц в кустах, шуршанье всякой мелочи в траве, кладбищенский покой – все притормаживало бег мыслей. Думалось лениво, без тревоги.

– Товарищ прокурор!

От неожиданности Колесников вздрогнул. Голос прозвучал из кустов, у самого уха. Отступив от тропки в тень, стоял Тимоха Зубаркин. Выглядел он трезвее обычного: всегда слюнявые губы подобрал, глаза сухие, без дури. По всему было видно, что он к этой встрече готовился и специально поджидал следователя в глухом месте.

– Подите сюда, товарищ прокурор, – позвал он ржавым шепотом.

– Что вам?

– Разговор есть.

– Вам известно, где моя комната для разговоров.

– Мне по секрету нужно... Здесь и скамеечка поставлена.

Колесников шагнул за Тимохой. На маленькой полянке, под старой березой действительно была построена трухлявая доска, заменявшая и стол и скамью. Подле нее валялись пустые консервные банки, засаленная бумага, битые бутылки. Это было укромное место для выпивки. Колесников сел и, не скрывая

раздражения, сказал:

– Только покороче, меня дела ждут.

Зубаркин огляделся, прислушался, убедился, что вблизи никого нет, и заговорил чуть погромче.

– Я по тому самому делу, товарищ прокурор.

– Я не прокурор, а следователь и прошу говорить яснее.

По лицу Зубаркина Колесников понял – пьяница пришел, чтобы сказать правду. Наверно, впервые Колесников поймал себя на том, что не хочет слышать от Зубаркина правды, что боится этой правды, хотя именно за ней приехал в Алферовку. Это странно было сознавать, но ничего изменить он уже не мог. Заставить себя радоваться неожиданному успеху было так же невозможно, как и вернуть беспристрастное, трезво-служебное отношение к этому проклятому делу.

Раздражение следователя можно было понять по-разному. Зубаркин понял по-своему: следователь сердится за ложь на первом допросе.

– Я того... Хочу, чтоб все по закону.

– Яснее! Ничего не понимаю.

– Про того, кто убил, скажу.

– Давно пора, – спокойно сказал Колесников.

Зубаркин сгорбился, вытянул шею.

– Алешка Кожарин Лавруху убил.

Колесников молчал. Тимоха говорил правду, а что делать теперь с этой правдой, никто подсказать не мог.

– С чего вдруг Кожарин? Чем ему Чубасов насолил?

– А ничем. Со злости. Взял и убил. Он кого хошь убьет.

– Как это, кого хошь? Вы уж если обвиняете человека, то выражайтесь яснее. Он что, побил кого до этого?

– Как же не побил? Ефима Паленого до полусмерти забил. Ребята тут раз гуляли, поразбрасывал кого куда. Его вся деревня боится.

– Что ж на него управы нет? Почему в милицию не пожаловались?

– Пожалуйся на него, у него дружков полная деревня.

– Вы какую-то ерунду говорите. То его вся деревня боится, то вся деревня в дружках ходит.

– А потому и ходит, что боится.

– Ничего не понимаю. Вы сами видели, как Кожарин убил Чубасова?

– Сам видел, рядом сидели.

– Расскажите, как было.

– Сидели мы с Лаврухой тихо-мирно, выпивали. – Зубаркин показал рукой на доске: – Вот так я, тут Лавруха. Я ему говорю: пойдём, говорю, до дому. А он в

тот день веселый был. «Пушай, говорит, смотрят, чего нам бояться, на свои пьем». Стал людей зазывать. Мириться хотел. Тут, значит, Алешка идет. Лавруха справляется: «Кто такой?» Электрик, говорю, приезжий. Лавруха ему: «Иди, кореш, выпьем». И понес ему стакан, полный стакан доверху. А тот ка-ак замахнет. Так со всего маху и двинул.

Зубаркин смотрел на Колесникова, словно удивляясь его спокойствию.

– А потом? – спросил Колесников.

– Чего «потом»?

– Куда он пошел?

– Увели его.

– Кто?

– Они.

– Кто «они»?

Зубаркин пошлепал губами, поморгал.

– Не могу сказать.

Колесников положил на колени портфель, сверху пристроил папку, достал чистый бланк протокола и автоматическое перо.

– Давайте теперь запишем по порядку.

Зубаркин протянул трясущуюся руку, как бы удерживая перо следователя.

– Только я, товарищ прокурор, интересуюсь. Положим, я рассказал всю правду, как было... Не может это

так обернуться, что мне во вред пойдет?

– Не понимаю, почему это может пойти вам во вред.

– Очень даже просто. Я к закону всей душой. А есть которые против закону. Они того душегуба сухим из воды вывели.

Зубаркин замолк и тревожно уставился на следователя. Он ожидал горячей поддержки и каких-то веских успокоительных слов. Колесников поморщился.

– До чего же вы, Зубаркин, привыкли все затемнять. «Они», «которые». Решились говорить, так говорите все, что знаете.

– Я в том смысле, – заспешил Зубаркин, – чтобы не прослышал кто о нашем разговоре. Убьют они меня.

– Кто вас убьет?

– Те самые. Убьют. Как Лавруху прикончили, так и меня. Опять слова никто не скажет. Очень просто.

– Глупости вы говорите, никто вас не тронет.

– Как же не тронут, вы свое дело сделаете, уедете, а я останусь.

– Вы что ж хотите, чтобы я вас с собой забрал?

– Я насчет того, чтобы этот наш разговор в секрете остался.

– У нас, гражданин Зубаркин, будет не разговор. Разговоры мы с вами уже вели. Будет допрос. Я буду спрашивать, вы будете отвечать правду. Потом подпишется.

– А куда она пойдет, эта бумага?

– В дело пойдет, в суд.

– И читать ее будут?

Колесникову захотелось рассмеяться в лицо Зубаркину.

– Что вы прикидываетесь дурачком? Для чего вы собираетесь давать показания? Чтобы суд мог наказать преступника. Так?

– Это верно, только...

– Вы хотите помочь закону и правильно делаете, за это вам спасибо скажут. Что вам еще нужно?

– Мне это спасибо боком выйдет.

– Как вам не стыдно? Взрослый человек! Кто вас будет убивать? Что вы, в лесу живете?

– Кабы в лесу...

– Может быть, к вам на всю жизнь охрану приставить?

– Я так думаю, мое дело сказать, а вы берите его по закону, как положено.

– По закону положено иметь доказательства, свидетельские показания.

Зубаркин убрал голову в плечи, губа его отвисла. Он не отрываясь смотрел на бланк протокола и молчал.

– Выходит, никак нельзя, чтобы в секрете осталось?

Теперь уже Колесников перегнулся к нему и с про-

никновенной искренностью стал объяснять:

– Ну посудите сами. Если против преступника других улик нет. Если ваши показания единственные, как же их спрячешь? Вы будете главным свидетелем обвинения. И на очной ставке будете убийцу уличать. И на суде. А как же иначе?

Зубаркин замолчал надолго. Колесников ждал. Теперь он был уверен, что никаких показаний не получит, и раздражение против Тимохи стало остывать. Он с любопытством наблюдал, как борются в душе свидетеля разноречивые чувства.

– Давайте начнем, – деловито предложил он. – Мне сидеть некогда.

Зубаркин испуганно вскочил.

– На это я несогласный.

– Как это вы не согласны?! Вы зачем позвали меня?

– Ничего я не видал.

– Опять врете?

– Может, Алешка, а может, кто другой.

– Будете вы давать показания?

– Не видал.

– Это я уже слышал.

Оглядываясь на следователя, боясь, что тот его задержит, Зубаркин скрылся в кустах. Колесников замедленными движениями убрал в портфель папку и оставшийся чистым бланк протокола.

Почему Кожарин? Этот вопрос возник давно. Тогда же появилось и сомнение: не подкинута ли эта версия, чтобы еще больше запутать следствие? Ведь никаких мотивов для расправы над Чубасовым у Кожарина не было.

Перед Колесниковым лежали листы бумаги, разрисованные кружочками и стрелками. В кружочках были вписаны имена и фамилии. Пониже, в скобках, степень родства. Еще несколько дней назад Колесников верил, что это очень важно – уточнить родственные связи между покойными партизанами и нынешними жителями ближайших к Алферовке деревень.

Другая графическая схема отражала местожительство и связи партизан, оставшихся в живых. Могло ведь оказаться, что мстителем стал кто-нибудь из них. Составление этих схем заняло много времени и, как всякая работа, помогало освобождаться от чувства растерянности.

Ни в одном кружочке имя Кожарина не значилось. Совсем новый для Алферовки человек, он не был связан ни родственными, ни приятельскими узами с бывшими партизанами. У любого местного старожила бы-

ло больше побудительных мотивов поднять руку на Чубасова, чем у этого молодого, недавно демобилизованного морячка.

Кожариным интересовался и Лукин. В деле среди многих других был допрос лесника Ивана Покорнова, жившего в шестнадцати километрах от Алферовки. Он показал, что в день убийства Кожарин приехал к нему на рыбалку рано утром и уехал поздно вечером. То же подтвердила и жена Покорнова. Алиби было установлено, и версия отпала.

Зубаркин не врал. Он трус, ничтожество, но клеветать на Кожарина не стал бы. Только страх перед односельчанами мешает ему выступить открыто.

Но почему Кожарин? И кто такой Кожарин? Колесников не стал скрывать своей заинтересованности этим человеком. Он расспрашивал разных людей, уточнял подробности, делал записи.

Сударев ответил решительно, глядя в упор:

– Нам Клавдию Шулякову всем колхозом на руках бы носить. Шутка ли – какого парня приворожила! Вы соображаете, что значит для колхоза такой мужик? Я б его на четыре комбайна не сменял. Алешка Кожарин – редкого мастерства человек. У него в каждой руке больше ума, чем у иного в голове. На любую работу готов. Характер? Дай бог каждому такой характер.

При этом лицо Сударева было не просто строгим.

Такая настороженность звучала в его голосе, как будто встал он за родного сына, которому угрожает опасность.

Николай Гаврилович Тузов высказался более странно:

– Алешка-то? Строгий мужик. С ним только свяжись. Как кто поперек его совести, так у него волосы дыбом, глаза – шилом, раз-раз по мордам, и весь разговор.

– Хулиган?

– Да как его назовешь?.. Хулиганом не назвать. Вот вам, к примеру, случай. Проживает на том краю Паленый Ефим, дурной такой мужичонка, на людях неприметный, а дома, как выпьет, удержу нет – бьет жену чем попадя. Баба у него тоже умом обносилась, сама в синяках, как в пятаках, а чтоб кому пожаловаться – ни боже мой. Известно, жена на мужа не доказчица. Так оно и шло, пока Алешка не приехал. Вот так же сидели у Сеньки Шуляка, вечеряли, а их изба с Ефимовой – через тын. Слышим – завела Ефимова баба свою музыку. Голосок у нее заячий, далеко слышно. Алешка как петух – шею вытянул, уши наврострил. «Кто это?» – спрашивает. А за столом все привычные, смеются, конечно, растолковывают, кто в шутку, кто всерьез: «Муж жену учит». А у Алешки скулы свело. Глазищами каждого меряет и обратно спра-

шивает: «Как же это можно?!» Начали ему поговорки приводить: жена не горшок – не расшибешь; не суди мужа с женой, им бог судья. А Ефимова баба, как на грех, еще тоньше завела. Встал Алешка и тихо так всей честной компании выдал: «Сволочи вы!» Выбег из избы и к Ефиму. Бил он недолго, но, видать, памятно. А на прощанье упредил: «Еще раз жену ударишь – убью!» С той поры все! Ефим Алешку задами обходит, а баба его вопить бросила, про синяки забыла.

– А за то, что людей сволочил, не обиделись?

– Брань в боку не болит!

Говорили о Кожарине охотно, с оттенком восхищения, как о местной достопримечательности. Но стоило связать его имя с Чубасовым, замолкали.

Приходилось встречаться с Кожариным и в правлении, и на улице. Морячок при встрече глаз не отводил и в лице не менялся. Только раз ощутил на себе Колесников его долгий, испытующий взгляд, как будто хотел человек что-то спросить, но передумал.

Старый план работы со всеми дополнениями потерял смысл. Если бы не показания Зубаркина, подтолкнувшие Колесникова на негласный поединок с Кожариным, он бы, возможно, уехал. Теперь этого нельзя было сделать – мешали чувства долга и профессионального самолюбия. Сложился новый план, еще смутный, но почему-то внушавший уверенность.

Колесников продолжал расспрашивать о Кожарине, расширяя круг привлекаемых лиц. С удовлетворением он замечал на многих лицах появившееся беспокойство. Сударев нервничал и смотрел на следователя с неприязнью. Колесников съездил к леснику Покорнову, ничего у него не добился, но, вернувшись, как бы проговорился, будто дело идет на лад и следствие скоро будет закончено.

14

Просидев несколько часов кряду не поднимаясь, Колесников почувствовал тяжкий груз онемевшего тела и полную пустоту в голове. Хотелось поскорее выбраться на воздух, ходить, дышать, ни о чем не думая. Он уже прибрал бумаги в портфель, когда в дверь гулко постучали кулаком и, не дожидаясь приглашения, в комнату вошел длинный, курчавый, краснорожий парень. опережая его, в комнату хлынул запах бензина.

Широко улыбаясь, парень вместо повестки протянул грузную ладонь, на которой все бугры были желтыми и твердыми, а между ними, как ручейки в долинах, вились черные линии шоферской жизни.

– Шуляков, Семен.

Колесников узнал мотоциклиста, которого видел с

девушкой в день приезда.

– Садитесь. С чем пришли?

Шуляков сел, свободно раскинув ноги в кирзовых сапогах. Голенища сапог были спущены не из щегольства – в них явно не влезали крутые желваки икр. Доставая из кармана заляпанную жирными пятнами пачку папирос, Шуляков пояснил.

– Пришел, поскольку я и есть тот самый, кого ищете.

Он, должно быть, ждал, что следователь страшно обрадуется этому признанию, и с некоторым удивлением смотрел на спокойное лицо Колесникова.

Фамилия Шулякова была хорошо знакома. В плане расследования у Лукина сын Варвары Шуляковой когда-то стоял на первом месте. Известно было, что он публично грозил убить Чубасова и даже ставил перед ним ультиматум: «Если к вечеру не уберешься, вот этим голову раскрою». И для наглядности вертел, как тросточкой, длинным тяжелым ломом.

Но уже на первых шагах следствия Шуляков отпал. Его алиби было установлено точно. В день убийства его машина находилась за двести километров от Алферовки, и десятки людей удостоверили, что он никуда от машины не отлучался.

По лицу Шулякова Колесников видел, что он врет, но с какой целью, понять не мог.

– Что же вы замолчали? – спросил он.

– А чего еще надо? – удивился Шуляков. – Я ж говорю, что Лаврушку Чубасова кокнул я.

Шуляков при слове «я» приложил растопыренные пальцы к груди, а «кокнул» сопровождал рубящим жестом. Он подался вперед, как бы отдаваясь в руки правосудия: «Вот я весь, берите».

– А почему вы столько времени молчали, а тут вдруг решили признаться?

Шуляков приготовился к другим вопросам и, прежде чем ответить, долго помаргивал рыжими ресницами.

– Совесть замучила, товарищ следователь. Сна лишился, лежу как дурной, все думаю... И кусок в рот не идет...

Он был так мало похож на человека, потерявшего сон и аппетит, что Колесников еле сдержал улыбку.

– Ну, рассказывайте.

Шуляков стал злиться. Он развязно закурил, издали бросил в пепельницу спичку и выдул облачко дыма под зеленый абжур.

– Чего там рассказывать? Берите бумагу, чтобы все по форме.

Колесников достал лист бумаги, положил перед Шуляковым и подал ему перо.

– Пишите, кого убили, когда, где, а я подожду.

– Нехай по-вашему, – согласился Шуляков. Он креп-

ко зажал перо толстыми пальцами, приладился к бумаге и задумался.

– Так и писать?

– Так и пишите: «Я, Шуляков Семен...» Шуляков под диктовку записал эти три слова и опять задумался.

– Меня один верный человек заверил, что за это самое большее, как условно, не дадут, – сказал он вдруг и вопросительно посмотрел на следователя.

– Никакой верный человек не мог сказать вам такую глупость. Кроме судей, никто не может решить, что за это самое полагается.

– Думаете – соврал?

– Ничего не думаю, вижу только, что эта идея очень уж вам понравилась.

– Тоже, конечно, рискованное дело, – рассудительно заметил Шуляков, – Для шофера и условно – не сахар. Завтра пьяный под колеса нырнет, мне это условно припомнят. Так?

Простодушие этого парня не имело границ. Колесников уткнулся в бумаги, чтобы не выдать веселого настроения.

– Припомнят, – подтвердил он.

– То-то и оно, – назидательно заключил Шуляков и решительно придвинул перо к бумаге.

Писал он крупными буквами, проверяя каждое сло-

во губами, и утруждал себя недолго. Минут через пять, старательно расписавшись, он подал заявление Колесникову. Начиналось оно с ругани по адресу Чубасова.

«Поскольку Лавруха Чубасов гад нашей родины, изменник, предатель и мазурик...»

Происшествие было описано в двух строках:

«Ударил я этого гада и выпустил из него дух, чтобы не поганил нашу советскую землю».

Колесников с легким чувством читал этот документ. После однообразной, изнурительной игры в вопросы и ответы, которой он занимался весь день, появление этого рыжего заявителя как будто нарочно было кем-то подстроено, чтобы отвлечь его от невеселых мыслей. Но на этом представление не кончилось.

Дверь снова распахнулась, и в комнату вбежала запыхавшаяся девушка. И ее узнал Колесников. Она сидела на мотоцикле позади Шулякова. Остановившись у порога, она большими испуганными глазами оглядела мужчин, стараясь понять, далеко ли зашел разговор. Повернувшись к Колесникову, она заговорила умоляющим голосом:

– Ой, простите за ради бога! Вы его не слушайте. Он дурной, наговорит почем зря. Не слушайте его!

Шуляков грозно насупил красные надбровья и одной рукой, как граблями, ухватил девушку за плечо.

– Давай, Алена, давай, делай правый поворот.

Отмахиваясь от него, Алена еще громче закричала:

– Не верьте! Все врет!

Шуляков притянул Алenu к себе, легонько приподнял, другой рукой подхватил под коленки и бережно понес к двери. Осторожно, как игрушку, он опустил Алenu на крыльцо, притянул дверь и, накинув крючок, вернулся к столу.

Аленины кулачки барабанили по двери. Крючок подскакивал, но держался. Шуляков, морщась от скрытого удовольствия, виновато развел руками.

– Жена. Сами понимаете – боится, что посадите.

– И посажу!– сказал Колесников. Не поспевая за мыслью следователя, Шуляков помолчал. Потом спохватившись, одобрительно сказал:

– Как положено. Закон.

– Посажу за то, что вы этот самый закон вводите в заблуждение. За лжесвидетельство посажу. Я за серьезным делом приехал, а вы мне тут балаган устраиваете.

– Это вы про нее?

– Да не про нее, а про вас. Что вы тут написали? «Гад, гад». Как вы могли быть у продмага, если в это время грузили доски в Заболотье? Как вы могли в Алферовку попасть? На самолете? Убили и обратно полетели?

– А ежели, – Шуляков хитро прищурился, – я тем свидетелям в Заболотье три пол-литры поставил? Тогда как?

– Плохо придумали. Все проверено.

– Как хотите. – Шуляков обиделся. – Только я жаловаться буду.

– На кого?

– На вас. За халтуру. Невинных людей тягаете, всей деревне беспокойство, а когда сам в руки даюсь – брезгуете.

– Вы мне лучше скажите, что побудило вас прийти ко мне с этим разговором? Только про совесть не врите, не поверю.

Шуляков, собиравшийся уже уходить, снова сел.

– Я так рассуждаю. Раз по закону нужно судить, деваться некуда. Я и пришел – берите. Чего вам еще?

Колесников молчал. Внезапно пришла мысль, подсказавшая любопытный эксперимент.

– Будете брать? – вставая, спросил Шуляков.

– Не буду.

– Как знаете. Только я жаловаться пойду.

– Садитесь.

Довольный, что его угроза подействовала, Шуляков уселся с хозяйским видом.

– Ваша Алена по-девичьи – Грибанова?

– А причем тут она?

– Это ее родителей Чубасов вешал?

Шуляков сразу же ухватился за подсказку.

– Точно! За них я и рассчитался. Это вы ловко сообразили!

– Вот так похоже на правду. С этого и нужно было начинать, – сказал Колесников, придвигая к себе чистый бланк протокола. – Рассказывайте. Подробно. Как задумали убить, как подкупали свидетелей, все рассказывайте, а я буду записывать.

– Пишите... Значит, дело было так. – Шуляков повернул лампу, чтобы свет не бил в глаза, и уставился в зеленое стекло. – Приехал, значит, этот гад, а я про него еще когда слышал... пацаном был. Приехал, гуляет с Тимохой, а народ прямо воеет. И Алена не в себе: родителей вспоминает, на улицу не выходит, боится с тем гадом встретиться. Можно такое терпеть?

– Продолжайте.

– Ладно. Терплю, значит, день, другой терплю. Переживать особо некогда, все в разъездах, но нет-нет вспомню. И до того злость берет, тут бы его и пришиб. Я его по-честному предупреждал. Уезжай, говорю, к такой-то матери, а не то убью. Это и люди слышали, свидетели есть. Раз предупредил, другой, а он, гад, жаловаться пошел. К участковому. Ладно. Приходит этот самый участковый, просит того гада не трогать, поскольку он грозился в область пожаловаться. А я

ему так и сказал: «Не уедет – убью, а там пусть жалуются». Можете спросить, участковый – свидетель. Спросите?

– Спрошу.

– Ладно. Потом еду я, вроде в Заболотье.

– Что значит «вроде»?

– Договорился с другим шофером, чтоб он меня в Середкине подменил.

– Где это Середкино?

– Сороковой километр.

– Продолжайте.

– Так и вышло. Подменил он и вместо меня в Заболотье поехал. Вроде бы я. Соображаете?

– А вас что, в Заболотье никто в лицо не знает?

– Есть, которые знают, так им по пол-литра.

– Дальше.

– Вернулся я, значит, в Алферовку. Иду к продмагу. А они с Тимохой сидят, водку жрут... Ладно. Подхожу и даю ему ломом по кумполу.

Шуляков замолчал и перевел глаза на следователя.

– Где вы лом взяли?

– Мой лом с машины.

– Что ж вы его от самого Середкина тащили?

– Зачем? Я, когда из Алферовки выезжал, у продмага его припрятал.

– Много было людей у продмага, когда вы Чубасова

ударили?

– Никого не было.

– Как же это так, чтобы днем никого не было, ни у остановки, ни у магазина?

– Ну, может, был кто один, так он в мою сторону и не смотрел.

– Есть показания по крайней мере двадцати человек, которые не отрицают, что были в этот час у продмага.

– Верьте им больше! Никого не было.

– Ну хорошо. Ударили вы его, потом что делали?

– А чего потом? Пошел обратно в Середкино, машину свою поджидать.

– Пешком пошли?

– Зачем? На попутной.

– В Середкине вас кто-нибудь видел, пока вы машину ждали?

– Никто не видел. Чего я буду людям на глаза соваться?

– Какой шофер вас подменил?

– Этого не скажу. Чего парня подводить? Еще права отнимут.

Колесников записывал с самым серьезным видом. Он не настаивал на вопросах, которые ставили Шулякова в тупик. Он даже помогал ему. Шуляков, не сомневаясь, что следователь ему верит, врал все раз-

вязней.

Заполнив десяток страниц, Колесников подал их Шулякову.

– Прочтите и подпишитесь в низу каждой страницы и в конце.

Шуляков читал внимательно. Румянец на его лице стал гуще. Губы, шевелившиеся, когда он перечитывал неразборчивые места, пересохли. Убедительность написанного испугала его. Он и не предполагал, что получится так гладко и неопровержимо. Дочитав до конца, он мотнул головой и расписался.

– Теперь чего? – спросил он дрогнувшим голосом. – Отсюда отправлять будете, или можно с женой попрощаться?

– Идите, я вас вызову.

Шуляков натянул на макушку кепку и не прощаясь вышел.

15

Как и ожидал Колесников, весть о том, что Семен Шуляков взял на себя убийство Чубасова, а следователь поверил ему, стала главным событием дня в Алферовке. Колесников ловил устремленные на него насмешливые взгляды и улыбки разной степени от-

кровенности. Повеселевший Сударев даже шутливо поздравил его:

– Дожали все же! Нашли прохиндея, Михал Петрович! Кто б подумал? Сенька Шуляков из Заболотья ломом достал! Ловко вы его. У нас тут столько этих следователей-прокуроров носом землю рыли, а вы раз-раз – и в дамки.

Смотрел он при этом не только насмешливо, но и удивленно: «Вот не думал не гадал, что ты таким дураком окажешься!»

Колесников скромно ухмылялся, до конца разыгрывая дурацкую роль.

Он ждал. Он делал вид, что проверяет показания Шулякова. Он снова вызывал свидетелей, допытывался, не видал ли кто из них в день убийства колхозного шофера. Он изъяс лом с шуляковской машины и отправил его экспертам. Избегая встреч с Даевым, он дни напролет проводил в своем кабинете или в разъездах по району. Он ждал. Он был уверен, что осечки быть не может. Но иногда уверенность расплзлась, как гнилая ткань, и его охватывало сомнение. В такие минуты ему снова хотелось все бросить, сесть в автобус и уехать.

Раньше, какое бы мелкое дело ни приходилось расследовать, Колесников вызывал к себе людей, нисколько не беспокоясь об их самочувствии. У него даже не

возникало мысли, что у них могут быть свои дела, что он отнимает у них дорогое время. Он держал свидетеля на допросе, пока считал это нужным. Ради пустяковой справки он отвлекал специалистов, никому не давая отчета, и все были уверены, что от этой справки зависит торжество правосудия.

Теперь у него появилось пренеприятное чувство человека, мешающего своими бесполезными действиями другим людям, занятым гораздо более важными делами. По разговорам в правлении, свидетелем которых он иногда оказывался, нетрудно было догадаться, что колхоз переживает тяжелое время. Сударев ходил злой, почерневший. Каждый человек в колхозе был на счету.

Как ни старался Колесников уверить себя, что артельные невзгоды не имеют к нему никакого отношения, он стеснялся теперь лишний раз вызвать свидетеля и держать его за своим столом, зная, что тот более нужен в поле или на ферме.

В этот вечер он допоздна сидел над своими бумагами, только чтобы оттянуть время. Он ждал стука в дверь, ждал посетителя самого важного и нужного.

В дверь постучали. В комнату вошел широко улыбающийся, весь распахнутый Лукин. Он издали протянул руку и заговорил, как со старым знакомым.

— Еду мимо, вижу огонь в окошке, решил проведать.

Не помешал?

Он добавил, что едет из Дусьева, где сгорел сарай с запчастями для машин, устал как лошадь и захотел отдохнуть. Колесников верил, что все так и было, но еще подумал, что заехал Лукин не только ради отдыха.

Поговорили о погоде, о колхозных делах, а черные, бровастые глаза Лукина все время спрашивали о другом. Он как будто уже догадался, что следовательно зашел в тупик и ждал повода, чтобы заговорить о главном.

Колесников убрал в сторону бумаги, откинулся в тень абажура и спросил:

– Интересуетесь алферовским глухарем?

– А есть что новое?

– Есть. Выяснилось, например, что начальник уголовного розыска вывел убийцу из-под удара и сделал все, чтобы ясное дело сделать глухим.

Лукин посмеялся и, все еще смеясь, сказал:

– Не богато.

Колесников иногда представлял себе, как с ним будет разговаривать областное начальство, когда он вернется из командировки. Он подбирал все правильные слова, которыми его будут отчитывать за плохую работу в Алферовке. Он сам ставил себя на место начальника и железными аргументами доказывал

беспомощность незадачливого следователя. Теперь представился случай разыграть этот мысленный диалог с участником, как никто другой пригодным для этой цели. Роль воображаемого начальника Колесников и на сей раз взял себе.

– Я серьезно говорю. Если бы вы с самого начала взялись за свидетелей, до того как они успели сговориться...

– А вы уверены, что они сговорились?

– Как будто вы не уверены. Вы дали им для этого достаточно времени.

– В том-то и все дело, Михаил Петрович, что никто ни с кем не сговаривался.

– Ерунду говорите.

– Чистая правда! Не сговаривались они. Вернее, в душе сговорились, без слов. Какой тут сговор нужен, когда у всех одно желание?

– И у вас в том числе?

Лукин улыбался. Его самодовольный вид действовал на нервы.

– Не понимаю, чему вы радуетесь, – сказал Колесников.

Лукин потер рукой лицо, смывая легкомысленное выражение, и придвинулся к столу.

– Дошел до меня слушок насчет Шулякова.

– И что?

– Не в цвет, Михаил Петрович, пустой номер.

– Алиби?

– Алиби. И вообще...

– У вас в материалах дознания алиби расставлены как красные светофоры, во всех направлениях.

– У Шулякова свой расчет.

– Какой?

– Отвести удар от Кожарина, за дружка испугался.

Но ни один суд его виновным не признает. Для вас приятного мало будет.

– Послушайте, Лукин, вы ведь не зря приехали. Что у вас на уме? Хотели убедиться в моей глупости или собираетесь помочь?

– О Шулякове я с полной ответственностью. Вся деревня смеется. Неудобно – областная прокуратура. И еще. Жена Семена Шулякова, Алена Грибанова, сильно переживает. Пока этот дурень будет под следствием, ей больше всех достанется. Она и в детстве натерпелась... Ни к чему это.

– От женских слез никуда не денешься.

– Так-то оно так... Смысла не вижу.

– Это даже хорошо, что не видите.

– Не доверяете?

– А как я могу вам доверять, когда вы всей душой на стороне преступника?

– Но Шуляков не преступник.

– А Кожарин?

– Тоже доказать нужно.

Лукин походил по комнате.

– Понять можно так, – сказал он, – что Алферовка вас ничему не научила.

– Я сюда не на курсы приехал.

– Жаль.

Лукин сказал это серьезно. На его лице даже появилось выражение сочувствия. Это было странно и оскорбительно. Но Колесников почему-то не обиделся.

Лукин взглянул на часы и протянул руку.

– Счастливо оставаться. Извините, если что не так сказал, говорил по совести.

– Посидите, – вырвалось у Колесникова. – У меня к вам еще несколько вопросов.

– Пожалуйста, – с готовностью откликнулся Лукин и занял свое место за столом.

Вопросов у Колесникова не было. Ему захотелось побыть в обществе Лукина и откровенно рассказать все, что думается.

– Дайте папиросу.

Лукин протянул пачку, и Колесников неумело затащился, морщась от горького дыма.

– Надеюсь, вы не думаете, что я считаю убийцу Чубасова злодеем и жажду возмездия.

– Так плохо о вас не думал, – сказал Лукин.

– Понимаете вы, что значит служебный долг? И я выполню его... как бы тяжело мне это ни было.

– А тяжело?

– Тяжело, что хорошие люди не хотят меня понять.

– А потому и не понимают, что разговор у вас идет на разных языках. Они про Фому, вы – про Ерему. Они вам: «Чубасов гад!» А вы им: «Закон нужно уважать!» Они твердят: «Предателю прощенья нет!» А вы их убеждаете: «Закон есть закон!» Да у алферовцев отвращение против всякого беззакония – в крови, в совести. Разве они защищают принцип самоуправления? Они и воровать-то никому не позволяют, не то что убить.

– А что они защищают?

– Свою моральную оценку этого конкретного случая. Дело-то исключительное, такие, как Чубасов, табунами не ходят.

– Так ведь не о моральной оценке идет речь. Разве я не разделяю их ненависти к Чубасову? Даже их симпатии к Кожарину мне понятны. Но из этого не следует, что я должен восторгаться их порочной позицией по отношению к закону. Пусть хоть всей деревней отстаивают свои взгляды на суде, но пусть не лгут.

– Это они сгоряча в первый день на эту позицию встали, а сворачивать потом считали – поздно. Тут та-

кое переплетение: и страх за Кожарина, и все еще раскаленная ненависть к военным преступникам, и чувство коллективной солидарности, что ли...

Лукин повертел пальцами, показывая, как все переплелось.

Едва он успел уехать, как явился еще один неожиданный посетитель. С трудом передвигая больные ноги в стоптанных валенках, с каким-то свертком под мышкой вошел старик Куряпов. Он неторопливо уселся, достал кисет с махоркой и в ответ на вопросительный взгляд следователя сказал:

– Пиши, пиши, мне не к спеху. Норму свою сполнишь, тогда и покалякаем.

– Не поздновато ли калякать, Андрей Степанович? Может быть, в другой раз?

– В другой никак нельзя, поскольку я убивец и есть. Колесников даже не удивился. Он молча смотрел на Куряпова.

– Лаврушка-то – моя работа, – продолжал старик.

– Вы что, больны?

– Живот малость крутит... Поясница ишо, с утра хребтину не разогнуть.

– Вам к врачу нужно.

– Ходил. Так вить...

– Ладно, Андрей Степанович, иди пропись.

– В тюрьме отосплюсь, – Куряпов приподнял свер-

ток, увязанный в чистый платок. – Я и бельишко припас, и табачок...

Готовность пострадать за другого, готовность продуманная и выношенная преобразила лицо старика, На него нельзя было сердиться, и высмеять было трудно.

– А чтоб муху убить, у вас силенок хватит?

– Про муху не скажу. А на Лаврушку хватило. Я вить Деникина бил? Бил. Гитлера бил? Бил. Ты на мои ноги не гляди – отпрыгали. Зато...

Куряпов огляделся, увидел у печки кочергу.

– Подай кочергу. Подай, подай, мне за ей кланяться несподручно.

Колесников подал старику кочергу. Куряпов зажал костлявыми пальцами короткий, загнутый конец и распрямил его, Потом так же легко загнул другой конец и бросил кочергу в угол.

– Вот так, сынок, я и Лавруху разок тюкнул, он и готов.

– Чем же вы его тюкнули?

– Шкворень подвернулся, я и приложил. Ты давай бумагу составляй, по форме.

– Поздно сегодня, Андрей Степанович. Норму свою я уже выполнил и перерабатывать не хочу.

– Как же мне-то? – растерялся Куряпов.

– Иди домой... А узелок держи наготове, как время

придет, я кликну.

Куряпов смотрел с недоверием.

– Крутишь, Петрович.

– Ничего не кручу. Я выслушал, а писать или не писать – мое дело.

Колесников подошел к Куряпову и, поддерживая его под руку, повел к дверям.

16

Колесников уже перестал надеяться, что его психологический опыт принесет успех. Похоже было, что колхозники разгадали наивную хитрость следователя и остерегли Кожарина от опрометчивого шага. И все-таки он пришел. Расчет оказался верным: не мог такой человек таиться, когда узнал, что над неповинным Шуляковым нависла угроза суда.

Кожарин решительными шагами пересек комнату, остановился у стола и посмотрел на следователя, как смотрят на человека, который все равно ничего не поймет, сколько ему ни толкуй.

Колесников пригласил его сесть, разрешил курить. Кожарин продолжал стоять и сказал заготовленную фразу:

– Хватит вам людей дергать.

– Я вас не понимаю.

– Чубасова убил я.

Молчание, наступившее после этих слов, придавило одного Колесникова. Кожарин не испытывал никакой неловкости. Смотрел он по-прежнему прямо в глаза следователю.

Колесников усмехнулся.

– Такие заявления я уже слышал. Больно много убийц развелось в Алферовке.

– Не много, а я один.

– Наговорить на себя всякий может.

– Как хотите.

– Расскажите, послушаю.

– Шел мимо продмага. Слышу кто-то меня окликает.

Вижу – этот прет прямо на меня со стаканом. Ну... я и убил.

– Слишком у вас просто получается. Вас угощают водкой, а вы убиваете. В порядке благодарности, что ли?

– Считайте как хотите.

– Может быть, вы не собирались убивать, а просто так, ударили в гневе, не помня себя?

Губы Кожарина покривились.

– Так, думаете, мне перед судом легче будет? Бил, не помня себя... Нет, врать не стану. Все помню: как шел, как ударил.

– Кто может подтвердить то, что вы говорите?

– Не знаю.

– Послушайте, Кожарин. Какая у меня гарантия, что вы на суде не возьмете своих слов обратно?

– Врать не приучен.

– От ваших признаний, пока они не подкреплены вещественными доказательствами и показаниями свидетелей, никакой пользы нет. Пока нет доказательств, нет и обвинительного акта. Вам это понятно?

– Что ж вы хотите, чтобы я людей подвел?

– А разве у вас есть сообщники?

– Это как считать... Я ведь после того, как кончил с этим, думал, скрутят меня, поведут. Стою и жду. А тут подходит один, ведет к себе, рубаху с меня долой – и в огонь. Другой к Покорнову везет. И все накачивают: «Молчи! Никто не видал и не слышал»... Как их считать: сообщники?

– Да, их можно обвинить в укрывательстве преступления. Есть такая статья.

– Вот видите, и вы говорите, что есть. Как же я их?

Кожарин развел руками, призывая Колесникова согласиться, что нельзя требовать от него такой несправедливости.

– Оставим пока ваших друзей в покое. Объясните, почему именно вы расправились с Чубасовым, а не кто-нибудь другой? Ведь есть в Алферовке люди, у

которых было больше оснований его ненавидеть.

Кожарин задумался, пожал плечами.

– Так уж вышло.

– Не может быть, чтобы у вас не было своей, личной причины.

– Да поймите, товарищ следователь, что не мог я, не мог! Нельзя было больше терпеть. – Кожарин потряс кулаками, и в глазах его отразилось страдание.

Колесников вышел из-за стола.

– Садитесь на мое место и пишите. Все пишите. И почему не могли терпеть – напишите. Вы пришли сами, сознаетесь по своей воле, да еще в такой момент, когда следствие пошло по неправильному пути. Все это суд учтет в вашу пользу.

Кожарин уселся поудобнее. Писал он медленно, обдумывая каждое слово. Чтобы меньше отвлекать его своим присутствием, Колесников взял газету и плюхнулся на диван. Глаза его, не видя текста, заскользили по типографским строчкам.

Теперь, когда следственная задача была почти решена, вместо удовлетворения пришла растерянность. Случись это неделю назад, он был бы полон радости. Сейчас он чувствовал себя виноватым, как будто обманул хороших, доверявших ему людей. Он делал только то, что сделал бы на его месте любой следователь. Никто не может упрекнуть его в наруше-

нии следовательской этики. Откуда же это недовольство собой? Почему опять возникло желание немедленно уехать отсюда, не встречаясь больше с Сударевым и Даевым?

Перо Кожарина двигалось все быстрее. Он увлекся и забыл о следователе. Его затвердевшее лицо стало бледнее обычного. У кромки светлого ежика волос блестели капельки пота.

Опустив газету, Колесников с теплым чувством смотрел на склоненную голову колхозного электрика. Он был уверен, что суд ограничится условным осуждением, и ему хотелось, чтобы в этом не сомневались ни Кожарин, и ни один человек в Алферовке.

Кожарин поставил точку, старательно расписался, не перечитывая, передал исписанные листки Колесникову и, облегченно вздохнув, откинулся на спинку стула.

Это был странный документ. Кожарин обстоятельно перечислил преступления Чубасова, описал обстановку, которая сложилась в Алферовке с его приездом. Он горячо доказывал, что такие, как Чубасов, не должны пользоваться правами честных людей и что он, Кожарин, не имел другой возможности исправить вопиющую несправедливость. Происшествие было изложено протокольным языком: точно назывался час, указывалось место. О свидетелях

и поездке к Покорнову – ни слова.

– Этого недостаточно, – сказал Колесников. – Точно так же мог бы написать любой, кто был в это время у продмага.

– Больше сказать нечего.

– С кем вы поехали к Покорнову?

– Не скажу.

– Может быть, теперь, когда вы сознались, кто-нибудь из свидетелей вспомнит, что видел вас у скамейки?

– А вы их спросите.

– Придется вам встретиться с некоторыми свидетелями на очных ставках.

Кожарин пожал плечами. Колесников задумчиво перелистывал страницы показаний.

В дверях появился Сударев. Он на мгновение запнулся, прощупал глазами собеседников, потом перешел на крик.

– Я те, черта, по всей деревне ищу! Мотор встал. Где электрик? Нет электрика. Электрик лясы точит. – Уже войдя в комнату и доставая папиросу, обратился к Колесникову: – Вы меня, Михал Петрович, извиняйте, может, он вам по службе нужен, но и нам без электрика труба.

Кожарин насмешливо посматривал на Сударева.

– Не паникуй, дядя Ваня. Похоже, что мотор не на

ферме, а у тебя отказал. Садись, покури.

– Некогда раскуривать, – сказал Сударев и снова повернулся к Колесникову. – И чего с ним толковать? Его в ту пору в деревне не было.

– Есть о чем, Иван Лукич. Вот, признался Кожарин, что Чубасова на тот свет отправил.

Сударев забыл о спичке, горевшей в руке, и, только почувствовав ожог, плюнул на нее и на пальцы.

– Ну не совестно тебе людей морочить? – спросил он, выкатив глаза на Кожарина. – Не верьте ему, Михал Петрович, ни слова. Шутку над вами играет. – Пошарив по столу глазами, спросил: – Как разговор вели, под бумажку или так?

– Как полагается, – сказал Колесников, приподнимая исписанные листы.

– Очки втирают, Михал Петрович. И Шуляк, и этот, оба-два договорились комедию ломать.

– А ведь это нехорошо, Иван Лукич. Не много ли шутников для одной деревни?

– Чего хуже! Болтают, как малые дети: сегодня одно, завтра другое.

Кожарин любовался Сударевым как человек, непричастный к разговору.

– Хотите – верьте, хотите – нет, – продолжал Сударев, – все, как один, скажут: глупость все это, не было его.

– Теперь это трудно будет говорить. Кто в глаза Кожарину скажет, что он лжет? С чего бы ему врать? Он понял, что суд нужен и неизбежен. Поймут и другие. И вы поймете.

Сударев, словно вдруг обессилев, опустился на стул.

– Не за что его судить, – сказал он устало.

– Может быть, и не за что. Но без суда этого не решить.

Уставясь в половицы, Сударев глубоко затягивался и мотал головой, будто вел трудную беседу с самим собой.

– Как же теперь с ним? – спросил он, ткнув сиротливо торчавшим большим пальцем в сторону Кожарина.

– Может идти.

Кожарин встал и выжидательно посмотрел на Колесникова.

– А этой... расписки не возьмете?

– Не нужно, вы и так никуда не сбежите. А побитесь, вызову.

– Правильно! – обрадовался Сударев. – Чего бумагу переводить. Пошли, пошли.

Подталкивая Кожарина в спину, Сударев выпроводил его на крыльцо.

С признанием Кожарина все изменилось. Как и предполагал Колесников, Кожарина слишком уважали в Алферовке, чтобы выставить его лжецом в глазах следователя. Пришлось прибегнуть только к одной очной ставке.

Нюшка Савельева, которой Кожарин сам задавал вопросы, сам напомнил, как поздоровался с ней у продмага в роковой час, расплакалась и сквозь слезы проронила: «Ну видела, видела...»

Заговорили другие свидетели. Нет, они не изменили своей позиции, не отказывались от старых показаний. С прежней яростью они обвиняли Чубасова и еще более горячо защищали его убийцу, но теперь уже не безвестного и неведомого, а своего, близкого им человека.

– Алешке виднее, Михал Петрович, – сказал на последнем допросе старик Куряпов. – Правильно рассудил: чего ему бояться? Нечего ему бояться! Коли уж и ты ему плечо подставил...

– Как это я плечо подставил? – оборвал его Колесников.

– А нет? Кто до глуби докопался и Лаврушку Чубасова проклял? Не ты? И к Алешке ты со всем уваже-

нием, – за решетку не бросил, за руку здоровкаешься. Признал, выходит, что правильно он той рукой распорядился.

– Никогда я этого не признавал.

– Словами не признал, так вить не каждое слово по всей деревне бренчит.

Мнение Куряпова разделяла, видимо, вся Алферовка. Свидетели разговаривали без опаски, доверительно, и оформить материал законченного дела не представляло труда.

Пришел срок прощаться и с даевской дачей. Ужинали молча. Елизавета Глебовна ни разу не присела за стол. Даев, как всегда, был по-хозяйски внимателен и дружелюбен. Может быть, в другое время Колесников уклонился бы от неизбежного разговора или выждал бы приглашения Даева. Но в этот вечер желание высказаться томило как голод.

– Петр Савельич, не найдется у вас минутки для меня?

Свет электрической лампочки дробился на золотой оправе очков, и, когда Даев поднимал голову, над стеклами вспыхивали искрящиеся звездочки.

– Закончили?

– В основном.

– Ну что ж, поздравляю. Поработали вы добросовестно. Как профессионал говорю.

– Петр Савельевич! Вы убеждены, что в этом случае можно было поступиться законом?

Даев покатал плоским пальцем дробинку из хлебного мякиша, сначала быстро, потом медленней, пока палец не застыл на месте.

– Чудак вы все-таки, Колесников. Переступать закон никогда не следует. Никогда! Но применять его всегда нужно с умом и сердцем. Я ведь тоже думал, как вы: Кожарину нужно идти с повинной, – элементарная юридическая логика. Алферовцы из бесед со мной сделали только один вывод: если свидетелей не будет – суда не будет. Дело даже не в том, что они боялись тяжелого наказания для Кожарина. В этом я их просветил. Они считали недопустимым, оскорбительным для мертвых и живых самый факт нахождения Кожарина на скамье подсудимых. Для них обвинять Кожарина – значит защищать Чубасова. И тут логика бессильна.

– Но объективно это означало оправдание самосуда.

– Вот видите, что получается, если мыслить общими категориями. В Америке расисты линчуют негра – самосуд. Уголовники «убирают» сообщника – самосуд. Кожарин карает предателя – самосуд. Юридические признаки те же. А по правде жизни?

Не дождавшись ответа Колесникова, Даев продол-

жал:

– Когда я вам советовал вдуматься в это дело, я вовсе не ожидал, что вы перейдете на позиции деда Куряпова и закроете дело. Я надеялся, что вы глубже заглянете в души людей и найдете справедливую формулу обвинения. Только и всего. И я вижу, что не ошибся.

– Но я неизменно руководствовался законом.

– Не только! Помните, что сказано в общих началах о назначении наказания? Руководствоваться еще и социалистическим правосознанием. Зря, что ли, записано это правосознание? В нем все: ваша способность мыслить и чувствовать, ваш жизненный опыт, ваша идейная убежденность, ваше умение отличить одно от другого. Елизавета Глебовна как-то сказала, что вам всей правды не схватить. Она не ставила под сомнение ваше знание законов. Она имела в виду это самое правосознание, о котором сроду не слыхала. Какой закон сам по себе может обеспечить справедливость? Никакой! Всегда конечный результат зависит от людей, которые исполняют закон, от их мудрости и нравственной чистоты. Разве не бывает и сейчас, что глупый и злой судья, пользуясь отличным законом, выносит несправедливый приговор?

– Бывает.

– Никакой законодатель не дает готовых рецептов

на все случаи жизни. Он не напишет: за такое-то преступление – такое-то наказание. Обязательно: «от – до». И правильно! Кто за вас решит? Сами решайте, спрашивайте свою совесть и давайте «от – до».

– Мера наказания – одно, а полная безнаказанность – другое, – возразил Колесников. – Безнаказанность развращает общество. Пусть выговор, пусть условное наказание, но общество должно знать, что преступник изобличен и волею суда по таким-то и таким-то мотивам, пусть даже к общественному порицанию, но приговорен. Вы уверены, что безнаказанность Кожарина не подтолкнула бы в будущем кого-нибудь из алферовских мальчишек на другое преступление? Если милиция, прокуратура оказались бессильными в одном случае, почему бы не попытаться уйти от них и в другом?

– Я уверен в одном: каждый алферовский мальчишка запомнит на всю жизнь, что нет отвратительней преступления, чем измена родине. Они запомнят, что предателю пощады нет. Вот главный нравственный вывод, который сделает каждый из этого дела.

– Вас можно понять и так: пока алферовцы лгали, они поступали правильно, а теперь, когда я убедил их говорить правду, они совершают ошибку.

– Чувствуется, что вы диалектику учили не по Гегелю. И не по Ленину тоже. Подзубривали к зачету... Не

обижайтесь. Вы завоевали доверие алферовцев. Они убедились, что вы не враг Кожарина. Они поняли, что правильной будет защищать Кожарина на суде, перед всем миром, чем прикрывать его ложью. В этом ваша заслуга. Но согласитесь, что и вы кой-чему у них научились.

– Чему именно?

– Поясню. Если бы вы остались таким, каким приехали, следствие выглядело бы совсем иначе. Почему вы ни разу не вызвали Кожарина и не прижали его на допросе?

Колесников не спешил с ответом, Даев ждал.

– Я был уверен, что он придет сам, а за ним придут свидетели.

– А кроме того, – подхватил Даев, – вы боялись, что, если вызовете его, он упирается не будет, во всем признается и станет обычным избалованным преступником.

Даев говорил, глядя прямо в глаза, и с такой твердостью в голосе, как будто читал мысли своего собеседника. А мысли были давние, когда-то мелькнувшие и затихшие. И признаваться в них сейчас не хотелось.

– Просто я считал такой путь более верным.

– Не нужно, – поморщился Даев. – Сами себя обманываете. Вы сознательно пошли на маневр – заста-

вили Кожарина явиться с повинной, чтобы дать ему лишний шанс на смягчение.

– А если даже так, разве я вступал в противоречие с законом?

– Конечно, нет. И если бы вы сами его вызвали, даже если бы арестовали его по подозрению в убийстве – тоже противоречия не было бы. А нравственная подкладка разная. Мало того. Руководствуясь только законом, вы могли бы посадить на скамью подсудимых если не всю Алферовку, то добрую ее половину за лжесвидетельство, за укрывательство, за недонесение. Пойдете вы на это?

– Нет.

– А почему? Ведь закон-то требует. А правосознание не разрешает. Вы поняли, что алферовцами движут не низменные чувства, а благородная ненависть к предателям и сострадание к человеку, попавшему в беду. Согласны с этим?

– Это совсем другой вопрос.

– Почему же другой? Во всех случаях нужно исходить из ленинского положения, что закон – это политика. А политика требует гибкости... Пойдемте ко мне, я вам кое-что покажу.

Они прошли в кабинет. Даев достал толстую папку и стал перебирать бумаги.

– Петр Савельевич! Помните, вы говорили, что и

вам приходилось подписывать неправильные приговоры? Ведь происходило это оттого, что к закону относились без должного уважения.

– Без мысли и чести! – оборвал его Даев. – А уважения хватало. До дрожи в коленках уважал. Беззаконие выражалось не в том, что решали наперекор закону. Всегда можно было опереться на какой-нибудь указ. А вот думать о революционной целесообразности того, что делаем, – отучился. Это верно... Выл такой указ в сорок седьмом году «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества». Тоже закон. По этому закону за мешок картошки, украденный колхозником, или за моток пряжи, унесенный с фабрики работницей, давали по восемь и по десять лет. Вот до чего уважали закон!

Даев держал в руках стопку мелко исписанных листков и, подняв очки на лоб, прищурясь, что-то перечитывал.

– Возьмите, – сказал он, протягивая Колесникову рукопись, – это я набросал давно, когда ждал суда над Кожариным и собирался выступать общественным защитником. Прочтите и верните.

Первые страницы своей речи Даев написал залпом, без помарок и с минимумом знаков препинаний. Потом шли густо зачеркнутые абзацы и строчки, написанные на полях позднее, другими чернилами. В нескольких местах были оставлены пробелы для будущих вставок. И лишь заключительная часть снова выглядела как написанная без отрыва пера от бумаги.

«Товарищи судьи! На первый взгляд может показаться, что нет дела более ясного, чем то, которое представлено на ваше разбирательство. Совершенно тяжкое преступление. Убит человек. Убийца не отрицает своей вины. Он не раскаивается и не просит снисхождения. Все другие доказательства, которые проходят по следственному производству, не оставляют сомнений в виновности подсудимого.

Если бы на вашем месте, товарищи судьи, находилась хитроумная кибернетическая машина и в нее были бы введены данные, добытые следствием, она мгновенно вынесла бы категорическое карающее решение. К счастью, судьба моего подзащитного вверена не автоматическому устройству, бесстрастно взвешивающему факты, а живым советским людям, обладающим не только разумом, но и сердцем.

Я говорю «к счастью», потому что ясность этого дела только кажущаяся. По сути своей оно редкостное, не имеющее прецедентов в судебной практике.

Я не буду отрицать или оспаривать основные положения обвинительного заключения. Обстоятельства убийства обрисованы с достаточной полнотой и точностью. Четвертого мая в шестнадцать часов тридцать минут Алексей Кожарин подошел к дому, который возводился около продовольственного магазина в Алферовке, и ударом гаечного ключа убил гражданина Чубасова.

Первый и кардинальный вопрос, который встал перед органами дознания и который стоит сегодня перед судом: каковы мотивы этого убийства?

Известно, что Кожарин был трезв. Никаких сомнений в его вменяемости не возникает ни у обвинения, ни у защиты. Что же им двигало? Никаких контактов между Кожариным и Чубасовым до этой роковой минуты не было. Следовательно, между ними и не могло возникнуть ни личной вражды, ни односторонней ненависти.

Органы дознания и государственное обвинение не могли оставить этот вопрос без ответа и сформулировали его коротко: «месть».

Для такого ответа как будто имеются достаточные основания. Я не буду повторять того, что вам уже

известно о Чубасове. За малым исключением, все коренное население Алферовки могло испытывать мстительные чувства к этому чудовищу, воплотившему в себе три типа злодеев, издревле презираемых народом: предателя, провокатора, палача.

Но, приписывая месть Кожарину, обвинение создает только видимость ответа на главный вопрос. Ведь именно Кожарин совершенно свободен от всяких связей с погибшими партизанами и с другими алферовцами, пострадавшими от Чубасова. Есть логика чувств, определяющая поведение человека. Никаких предпосылок для мести у Кожарина не было. Поэтому я отвергаю этот мотив преступления, выдвинутый обвинением».

На этом обрывалось гладкое вступление. К следующему листку были подколоты: чье-то письмо и служебная бумага с напечатанным на машинке текстом. Дальше опять почерк Даева.

«Чтобы понять психологические побуждения, заставившие Алексея Кожарина поднять руку на Чубасова, нужно знать о нем больше, чем знаем мы из анкетных данных, перечисленных в преамбуле обвинительного заключения. Без тщательного исследования всех деталей биографии этого молодого человека, сидящего на скамье подсудимых, мы не сможем прийти к объективной истине.

Алексей Кожарин принадлежит к тому поколению советских людей, чье детство было искалечено войной. Вся его семья погибла в пламени, охватившем Белоруссию. Шестилетний мальчик попал в детский дом. Здесь ему повезло. Руководителем детского дома оказался человек редкого педагогического таланта. Один из сподвижников Макаренко, всю жизнь посвятивший обездоленным детям, он оказал решающее, с моей точки зрения, влияние на дальнейшую судьбу Кожарина. Я позволю себе процитировать его письмо, которое попрошу приобщить к делу».

Письмо было из далекого сибирского города. Красный карандаш отчеркнул то, что Даев считал важным.

«Алешу Кожарина я помню хорошо. Не запомнить его нельзя было хотя бы в силу необычности тех душевных качеств, которые проявились уже в раннем детстве. Этот мальчик всегда был яркой индивидуальностью. Он не столько блистал своими способностями в учебе, сколько поражал воспитателей цельностью своей натуры и какой-то, простите за старомодное сравнение, рыцарской чистотой своих побуждений.

Как у иных детей рано дает о себе знать музыкальный талант, так у Алеши рано проявилась способность остро чувствовать чужую боль и мгновенно откликаться на зов о помощи. Хотя он всегда был удиви-

тельно бескорыстным и благожелательным в отношениях с другими детьми, я не могу назвать его добрым. У него, иногда, бурно прорывалась агрессивность. Защищая малышей от обидчиков, он был безжалостным. Однажды он ввязался в драку с уличными мальчишками, которые развлекались тем, что мучили голубей. Алеша больно побил двоих (потом их родители приходили ко мне жаловаться) и вернулся в детский дом со спасенным голубем и распухшим носом.

Помню Алешу подростком, потом юношей. С годами его непримиримость ко всякой несправедливости, всякому мучительству не ослабла. Она даже стала более глубокой и осознанной. Это отразилось и на круге его чтения. Его героями стали люди, отдавшие жизнь за революцию. Он разыскивал книги о Парижской коммуне, о декабристах, о Дзержинском, о Чапаеве.

Запомнился мне его доклад на литературном кружке об Юлиусе Фучике. Даже нас, учителей, поразила сила чувства, звучавшая в его речи, – чувства преклонения перед мужеством Фучика и ненависти к фашистам. Алеша мне очень напоминал моих друзей, комсомольцев двадцатых годов с их глубокой верой в каждое слово революционной пропаганды. Его совсем не коснулся тот дешевый скептицизм, с которым мне приходится сталкиваться в среде молодежи.

Я, разумеется, не мог предсказать, как сложится жизнь Алеши Кожарина, но знал, что будет ему нелегко. В одном я был твердо уверен, что он никогда, ни при каких условиях не совершит дурного, бесчестного поступка».

Сбоку, на полях, Даев приписал: «Хочу оговориться. Запрашивая автора письма его мнение о Кожарине, я не сообщил ему ни о происшествии в Алферовке, ни о готовящемся процессе. Таким образом, перед нами не защитительная характеристика, продиктованная чувством жалости, а объективный документ, отражающий подлинные мысли старого умного педагога».

Еще одна страничка, написанная без помарок.

«Что же стало с Кожариным позднее, когда он вышел из-под опеки воспитателей? Может быть, будничная, трудовая жизнь погасила в нем способность откликаться на чужую боль и чужой зов о помощи? Может быть, на смену революционной романтике пришла трезвая расчетливость и столь обычное стремление получше устроиться в жизни?»

Позвольте мне обратиться к другому документу, к характеристике, полученной от командования подводной лодки, на которой служил Кожарин до своего приезда в Алферовку. В этом случае я счел нужным объяснить причину моего запроса, дабы военные

товарищи имели полное представление о судьбе их бывшего матроса».

В характеристике тоже было отчеркнуто несколько абзацев.

«За время службы на флоте Алексей Никифорович Кожарин проявил себя как дисциплинированный, волевой и политически зрелый матрос. Он освоил две специальности на «отлично» и упорно повышал свою техническую квалификацию, а также общеобразовательный и культурный уровень.

Как комсорг подразделения, Кожарин хорошо справлялся со своими обязанностями и пользовался авторитетом у комсомольцев. В сложных условиях учебного похода Кожарин проявил отвагу и мужество. Когда с борта волной был смыт матрос Шуляков, Кожарин, не потеряв ни секунды, бросился в штормовое море и спас товарища. Этот факт отмечен в приказе командования. Кожарин неоднократно получал поощрения и ставился в пример личному составу.

К отрицательным чертам в характере Кожарина следует отнести некоторую резкость в обращении с отдельными товарищами и склонность к фантазерству, оторванному от реальной действительности. Так, им был подан рапорт командованию, в котором он предлагал создать постоянные интернациональные бригады добровольцев для помощи бывшим ко-

лониям в их борьбе против империализма. При этом Кожарин просил записать его первым в такую бригаду. После получения рапорта с Кожариным была проведена соответствующая работа по разъяснению ему внешней политики нашего правительства».

Характеристики, видно, вдохновили Даева. Дальше шли страницы, заполненные торопливо, с недописанными словами и сокращениями.

«В чем процессуальное значение двух оглашенных мной документов? Я уверен, товарищи судьи, что вы согласитесь со мной, если я расценю их как исчерпывающий материал для воссоздания нравственного облика подсудимого. От малыша, спасающего голубя ценой разбитого носа, до мужчины, рискующего жизнью ради спасения товарища, от увлечения Чапаевым и Фучиком до готовности защитить своей грудью далекие народы – таковы те прямые линии развития, которые определили биографию Кожарина.

Теперь нам будет легче понять, что, собственно, произошло в Алферовке четвертого мая.

Вы знаете, что, отслужив свой срок на флоте, Кожарин собирался поступить в радиотехнический институт. Основательно подготовленный, с отличными рекомендациями командования, он мог рассчитывать на успешное преодоление вступительных экзаменов. Но случилось непредвиденное. По приглашению сво-

его друга, обязанного ему жизнью, Семена Шулякова, Кожарин едет в Алферовку, чтобы отдохнуть перед эк-заменами.

Здесь происходят решающие изменения в его судьбе. Кожарин полюбил сестру своего друга и не остался без взаимности. Он послал в институт заявление с просьбой передать его бумаги на заочное отделение.

Кожарин остался в Алферовке. Остался не только потому, что его удерживала здесь молодая жена. Она готова была поехать с ним куда угодно. Но в колхозе нашлось дело, которое Кожарин считал для себя обязательным. Алферовка давно была в зоне электрификации. Только по нерадивости тянулась бесконечная бюрократическая канитель и окончание работ откладывалось с одного года на следующий. Кожарин не мог остаться равнодушным. Благодаря его напору и энергии Алферовка в ту же осень получила электрический ток. Неудивительно, что по сей день, включая свет, колхозники с благодарностью поминают своего электрика.

Год спустя у Кожарина родился сын. Казалось, жизнь вошла в спокойную колею. Ничто не предвещало трагедии. Но таким людям, как Кожарин, и на роду написано не иметь спокойной колеи.

Тридцатого апреля нынешнего года в Алферовку приехал Чубасов.

Хочу отметить, что никто из алферовцев не соби-рался гоняться за Чубасовым, чтобы отомстить. Кро-вная месть не в русском характере. Он сам напомнил о себе, напомнил нагло, вызывающе. Сам он заставил людей наново пережить кошмар прошлого.

Его приезд ошеломил многих. В сознании алферов-цев не совмещались могила партизан и благоденству-ющий палач.

Кожарин не мог остаться сторонним наблюдателем. Ему рассказали о событиях сорок второго года. Рас-сказали о роли Чубасова в этих событиях. Зная харак-тер Кожарина, мы поймем, как должна была отозвать-ся на все услышанное его душа. Но он еще далек от какого бы то ни было решения. Он переживает боль своих односельчан, но еще не знает, что делать.

Чубасов не решается выйти на улицу. Он пьет, за-першись с Зубаркиным. Он набирается храбрости. И лишь 1 Мая, в светлый, праздничный день, он появля-ется на виду у всех – пьяный, веселый, хвастающийся шальными деньгами. Вслед ему несутся проклятия, но он чувствует себя в безопасности. Он полноправ-ный гражданин. Он никого не боится.

В тот же день 1 мая состоялось другое, малозначи-тельное, на первый взгляд, событие. У братской мо-гилы партизан собрались на торжественную линей-ку пионеры, ученики школы имени Грибанова. Ребя-

та стояли у могильного холма и слушали воспоминания ветеранов о подвиге алферовских героев. Очевидцы рассказывали им о мученической смерти партизан. Пионеров призывали быть достойными памяти своих отцов, и они присягали на верность родине. Алексей Кожарин тоже присутствовал на этой линейке. Он ведет в школе технический кружок, и ребята в нем души не чают. Он стоял и смотрел на лица своих маленьких друзей, и наверно, впервые в своей жизни испытывал такое гнетущее чувство стыда.

На открытых детских лицах читалось то, что скрывали взрослые: душевное смятение. Тут же, на кладбище, пионеры окружили Сударева и Кожарина. Перебивая друг друга, они спрашивали: верно ли, что приехавший Чубасов – тот самый, изменник?

Что могли ответить им два взрослых человека? Не знаю, как вы, товарищи судьи, а мне бы не хотелось оказаться на их месте.

Кожарин хорошо понимал, какую моральную травму наносит молодежи приезд Чубасова. Благополучие этого выродка расшатывало представление о справедливости, о победе правды над кривдой, о соответствии высоких слов действительному порядку вещей. Своим присутствием Чубасов растлевал души. Примириться с этим Кожарин не мог.

Тогда же, на кладбище, он высказал предположе-

ние, которое запомнили многие: «Чубасов приехал незаконно, – сказал он. – Вот узнают районные власти, и его вышлют обратно на Север».

Это не было отговоркой. Нам известно, что Кожарин действительно предпринял попытку выдворить Чубасова законным путем. Но к этому я еще вернусь. Проследим за событиями, последовавшими за пионерской линейкой.

Утром 2 мая Кожарин зашел к Шулякову. Он не застал своего друга, но увидел его плачущую жену, Естественно, что никто в Алферовке не переносил приезд Чубасова так болезненно, как дочь погибшего партизанского вожака Алена Грибанова. Для нее это было величайшим потрясением в жизни.

Когда Алексей Кожарин увидел плачущую Алену, когда он узнал, что ей страшно выйти на праздничную деревенскую улицу, сила возмущения, вызревавшая в его душе, стала неодолимой.

Мы не знаем, когда, в какой час и день сложилось у Кожарина решение уничтожить Чубасова. Да и сам он этого не знает. Но если и был такой момент, то наступил он после разговора с измученной Аленой.

С этой минуты Кожарин уже ни о чем другом думать не может. Никакие соображения личного характера не могли поколебать его уверенности, что Чубасов в Алферовке – это вызов чести и совести, и что он, Кожарин,

рин, обязан восстановить справедливость.

Казалось бы, уже 2 мая он был готов убрать Чубасова. Но он медлит. Он еще надеется. На что? Он сам поверил в ту мысль, которую высказал пионерам. А может быть, действительно удастся с помощью властей выгнать Чубасова из Алферовки, выгнать с позором, на радость и ребятам и взрослым. Больше того. Он надеялся, что суд, узнав правду, пересмотрит свое старое решение и приговорит Чубасова к заслуженной им смертной казни.

Утром 3 мая Кожарин едет в Лихово к районному прокурору. Сбивчиво, но горячо он доказывает, что нельзя допускать дальнейшего пребывания Чубасова в Алферовке. Но как трудно бывает передать свои чувства другому человеку. Прокурор сначала высмеивает его, потом аргументированно доказывает, что нет никаких оснований применять к Чубасову меры административной высылки. Чубасов восстановлен в правах и ограничений на правожителство не имеет. Прокурор ссылался на Конституцию и существующее законоположение. Он не пожелал вдуматься в те новые обстоятельства, о которых говорил Кожарин и которые обязывали его возбудить против Чубасова новое уголовное преследование.

Если бы прокурор вник в ту противоестественную обстановку, которая сложилась в Алферовке, все мог-

ло быть иначе. Если бы Чубасова вызвали в Лихово и допросили в связи с теми фактами, которые не фигурировали на процессе 1945 года, не было бы и этого суда, не сидел бы Алексей Кожарин на скамье подсудимых.

Но этого не случилось, Кожарин уехал ни с чем. Точнее, он уехал, окончательно убежденный, что есть только одно-единственное средство избавиться от Чубасова.

Показания свидетелей помогли нам восстановить то состояние, в котором он пребывал 3-го и 4 мая. Он ходил сам не свой, мрачный, озлобленный. Думаю, что он злился на самого себя.

Чубасов гулял весь вечер 3 мая и полдня 4-го. У Кожарина было сколько угодно времени, чтобы уничтожить палача. Но он медлит. Он загружает себя работой в мастерских, чтобы не сталкиваться с Чубасовым лицом к лицу. Я уверен, что где-то в подсознании жила у него надежда: а вдруг предатель почует смерть и сбежит.

Четвертого мая, проснувшись после обеда, Чубасов с Зубаркиным снова вывалились на улицу. Они облюбовали самое людное место, у продовольственного магазина. Они задевают прохожих. Чубасов полагает, что к нему привыкли. Он надеется, что у него появятся собутыльники и помимо надоевшего Зубар-

кина. Увидев проходившего мимо Кожарина, он окликает его: «Эй, кореш!»

Это была та искра, которая взорвала накопившийся в душе Кожарина заряд ярости. Палач назвал его «корешом». Провокатор протягивает ему стакан водки. Изменник считает себя ровней ему, Кожарину.

И даже в это мгновение Кожарин колеблется. Он делает вид, что не слышит чубасовского окрика. Он топчется в мастерскую. Не для убийства бегал он за гаечным ключом. Но Чубасов не унимается. Он поднимается со скамьи и преграждает Кожарину дорогу. Пьяная морда предателя придвигается вплотную. Он скалит зубы и тычет своим стаканом в лицо Кожарину. Что было дальше, вам известно.

Только восстановив все эти детали, мы найдем с вами, товарищи судьи, ответ на кардинальный вопрос, о котором я говорил вначале. Имеем ли дело с актом личной мести? Нет! Может быть, Кожарин повинен в самосуде? И это обвинение я категорически отвергаю. Самочинная расправа всегда отвратительна, потому что в основе ее лежат низменные страсти и, прежде всего, трусливая жестокость. Не случайно мастера классического самосуда в Соединенных Штатах Америки вершат суды Линча скопом, под покровом ночи, спрятавшись в балахоны куклуксклановцев.

Чубасов заставил Кожарина ответить ударом на

удар. Чубасов иными средствами продолжал пытку сорок второго года. Он глумился над чувствами и убеждениями советского патриота. Он не отступал, а нападал. И Кожарин вынужден был обороняться.

Я знаю, товарищи судьи, что юридические признаки вынужденной самообороны – иные. Законодатель не предусмотрел возможность физического отпора моральному нападению. Но разве можно было предусмотреть ту редкую ситуацию, которая сложилась в Алферовке?

Именно вынужденная оборона заставила Кожарина замахнуться гаечным ключом. Это была оборона от торжествующей подлости, от нравственной пытки, которая бывает куда болезненней пытки физической.

Замахнувшись на Чубасова, Кожарин знал, на что идет. Он знал, что вот сейчас переломится его жизнь – он станет преступником в глазах закона, рухнет семейное благополучие, развеется мечта о высшем образовании. Но иначе он поступить не мог.

Закон предусматривает случаи превышения пределов необходимой обороны. Было ли превышение и в этом случае? Не знаю. Ведь ударил Кожарин Чубасова только один-единственный раз. Он не мог знать, убит ли этим ударом Чубасов или только оглушен. Значит, и речи об умышленном убийстве не может быть. Просто удар оказался роковым. Рассудите са-

ми – легко ли было обороняющемуся рассчитать силу своего отпора.

Товарищи судьи! Я считаю своим долгом сказать несколько слов и о других обстоятельствах, которые способствовали возникновению этого дела. Многие повинны в том, что Кожарину пришлось оборонять Алферовку от Чубасова. И больше других повинен в этом я. Потому что, будучи председателем трибунала, судившего Чубасова в сорок пятом году, я не отнесся с должным вниманием к анализу его преступных деяний и не отправил его на виселицу.

Вот из-за таких ошибок, больших и малых, сложились те особые, местные обстоятельства, которые привели к алферовской трагедии. Не учитывать эти обстоятельства нельзя. Разрешите мне привести высказывание Владимира Ильича Ленина, имеющее прямое отношение к этому делу. Местная власть, органами которой являются суды, «обязана, – писал Ленин, – с одной стороны, абсолютно соблюдать единые, установленные для всей федерации законы, а с другой стороны, обязана при определении меры наказания учитывать все местные обстоятельства, имеющая при этом право сказать, что хотя закон несомненно был нарушен в таком-то случае, но такие-то близко известные местным людям обстоятельства, выяснившиеся на местном суде, заставляют суд признать

необходимым смягчить наказание по отношению к таким-то лицам или даже признать таких-то лиц по суду оправданными».

Вдумайтесь в эти слова, товарищи судьи! «Хотя закон несомненно был нарушен... но такие-то близко известные местным людям обстоятельства... заставляют суд... даже признать таких-то лиц по суду оправданными»... Ведь именно эти «близко известные местным людям обстоятельства» и заставили алферовцев оправдать Кожарина на суде своей совести. Теперь они ждут, что и народный суд оправдает его на основании советского закона.

Я заканчиваю. Пройдет немного времени, и вы удалитесь в совещательную комнату. Я хочу напомнить вам слова мудрого русского юриста, сказанные им в начале века: решение суда должно основываться на том, что представляется логически неизбежным и нравственно обязательным. Для советского человека не может быть нравственно обязательным осуждение убийцы Чубасова».

Колесников занял свое место в купейном вагоне, бросил толстый портфель в изголовье, снял пиджак,

оттянул вбок и вниз галстук, глянул в окно, ничего нового не увидел и прилег на жесткую полку. Вскоре поезд тронулся. Старенький вагон, когда-то совершавший далекие путешествия, а теперь доживавший свой век на коротких межрайонных линиях, качался, поскрипывал, брэнчал какой-то незакрепленной жестянкой. Пассажиры, бродившие из конца в конец коридора, ступали осторожно, по-моряцки переставляя ноги.

Прошло всего десять дней, после того как Колесников в таком же вагоне ехал в Лиховский район, и ему казалось, что он в том же купе, а кругом – те же пассажиры. Всю последнюю ночь у Даева он разменял на длинные, бессонные минуты, которые отсчитывал вслед за ходиками. Он был уверен, что вместе с первым рывком паровоза начнут обрываться связи с Алферовкой, постепенно под раскачку вагона наплывет сонливость, затуманятся образы людей, с которыми он распрощался навсегда, придет желанный покой. Так бывало после каждой командировки.

На этот раз ничего не рвалось и не затуманивалось. От алферовского дела его голова устала до боли в каждой клетке, как устает натруженная спина. Но если спину можно разогнуть и растереть, то с головой ничего нельзя было поделаться. В ней по инерции продолжалась работа: снова и снова проходили недав-

ние встречи и разговоры, на старые вопросы придумывались новые ответы. Как будто крутилось чертово колесо, в центре которого засела Алферовка, а все, что Колесников пытался подбросить со стороны, тут же отлетало на задворки сознания.

Колесникову никогда еще не приходилось возвращаться из командировки в таком состоянии душевного разброда. Недовольство собой бывало и раньше. В его лице машина законности не раз совершала холостой пробег, словно бы только для того, чтобы самой себе доказать непрерывность и неотвратимость своего хода. Пустые хлопоты, время, потерянное на ложных следах, неожиданные тупики, заставляющие менять направление поиска, – ко всему этому равно не привыкать и ученому и следователю по уголовным делам.

На этот раз он мог бы поздравить себя с успехом: преступление раскрыто, преступник предстанет перед судом. А удовлетворения не было. И ясности в мыслях не было.

Оттого что Колесников принуждал себя думать о другом, а подспудные мысли лезли сами по себе, воспоминания всплывали вразнобой, без всякой последовательности. В этой мешанине был свой порядок. Так перелистываешь уже читанную книгу – все знаешь, а ищешь чего-то нового. То перекинешь десят-

ка два страниц – и вдруг прилипнешь к случайным строчкам, обнаружив в них ускользнувший смысл. То листаешь назад, возвращаясь к главе, сулящей уже пережитое волнение. А там, глядишь, уже выстроились, ожили в памяти до мельчайших подробностей все знакомые образы и события.

Сударев стоит у партизанской могилы, прямой, застывший, как памятник. Потом была там же пионерская линейка. Нет, линейка была раньше. Это уже из даевской речи. Зря подозревал Даева в том, что сговаривал мужиков. Интересный старик. Сидит, наверно, сейчас в своем дырявом кресле и читает все, что не успел прочесть в молодости. Сам себя судит...

Как неожиданно повернулся последний разговор с Кожариным... И зачем он вообще пошел к нему? Следовательно идет прощаться с избличенным преступником! Нелепость. А не пойти не мог.

Было очень поздно, когда он, прочитав речь Даева, вышел на хоженую-перехоженую дорожку и очутился подле дома Кожарина. Он бы не зашел, если бы не светилось окно. Он пошаркал ногами в темных сенях и нащупал обитую мешковиной дверь. Не раз проверив прочность здешних притолок своим лбом, он уже привык, входя в избу, низко склонять голову и выше, чем нужно, поднимать ногу, перешагивая порог. Выглядел он при этом робеющим и неловким.

Клавдия Кожарина, только что крикнувшая ему «заходите», собиралась спать. Отступив в затененный угол и натягивая на голые плечи кофточку, она изумленно смотрела на следователя. Кожарин сидел за чертежной доской. Белый клюв рейсфедера застыл в его пальцах. Он поднял голову и не сразу сообразил, как встретить нежданного гостя.

– Добрый вечер! – сказал Колесников. – Не помешал?

– Заходите, заходите, – тусклым голосом повторяла Клавдия.

Она засуетилась, испуганными движениями стала прибирать разбросанные вещички.

– Гостям всегда рады, – выдавил из себя Кожарин, а на помрачневшем лице, в немигающих глазах подсбежавшимися бровями, проступил злой укор: «Какого черта ты приперся сюда?»

Только сейчас Колесников понял, что его приход не мог не внести тревоги в этот дом. Трудно было придумать большую бестактность. Особенно стыдно было перед молодой женщиной, все еще что-то искавшей и прибиравшей в комнате только для того, чтобы скрыть взволнованное лицо. Колесников поспешил улыбнуться и объяснить свой визит.

– Я утром уезжаю. Совсем. Думал напоследок потолковать по душам, да не сообразил, что час не тот.

Вы уж извините, пожалуйста.

Клавдию его слова не успокоили, она как будто и не услышала их. Руки ее по-прежнему беспокойно металась, не находя покоя. Зато Кожарин сразу все понял. Он шумно отодвинул чертежную доску и, поднимаясь навстречу, заговорил с неподдельным радушием.

– А что за час? Обыкновенный час. До сна далеко. Прошу за стол. Садитесь, сейчас чайку сгоношим.

– Спасибо, я чаевничать не буду. Хозяйке спать пора, да и разговор у меня необязательный.

Кожарин повернулся к жене, призывая ее уговаривать гостя, но она, ни слова не сказав, вышла из комнаты.

– Право, неловко, Алексей Никифорович. Может быть, мы с вами во двор выйдем? Погода теплая.

– Можно и во двор, – согласился Кожарин, натягивая бушлат.

На крыльце постояли, привыкая к темноте. Все было одинаково черно: и земля и небо. Все контуры и краски живого мира потонули во мраке безлунной, полетнему теплой и тихой ночи.

Огни фонарей у автобусной остановки и фары далеких машин на шоссе, казалось, светили только для себя, не рассеивая окружающей темноты.

Ничего не различая, кроме кожаринской спины, Колесников прошел по утопанной дорожке, встряхнул

лицом мохнатую ветку и тут же наткнулся на стол. Кожарин щелкнул зажигалкой и поводил над скамьей.

– Здесь и мы никому не помеха, и нам посвободней.

Он достал папиросу и закурил.

– Я, кажется, напугал вашу жену.

– Было малость. Такая у вас профессия – людей пугать.

– Глупо получилось. Вы за меня извинитесь.

– Чего там. После пустого страха радости больше.

– Вас, наверно, удивило, что я пришел вроде как проститься.

– Признаться – не ожидал.

– Захотелось поговорить.

– Бывает.

– Хочу вам сказать... Я рад, что наконец алферовцы поняли: нельзя с правосудием в прятки играть. Когда уголовники скрываются, это понятно. А вы...

Папироса в руке Кожарина стала затягиваться пеплом. Вместе с ней затухал и разговор. Но чувства неловкости не было. Оба они как будто отдыхали после борьбы.

– Мужества вам не занимать, могли бы сразу прямо в глаза закону посмотреть.

– Это верно, слабость проявил, дал себя увести.

– Испугались?

Кожарин помедлил с ответом, вспоминая прошлое.

- Страх не было. Растерялся. Опомниться не дали.
 - Могли бы на другой день опомниться.
 - Поздно было, не хотел людей подводить.
- Снова помолчали.
- Не могу понять, – сказал Колесников, – откуда у вас эта ярость?
 - С тормозов срываюсь. У меня для сволочья слов не хватает, на кулаки перехожу.
 - Кулак в споре не аргумент. Разве что у дикарей...
 - Ошибаетесь. А чем во все времена добивались правды? Всегда – либо революцией, либо войной.
 - Путаница у вас в голове, Алексей. Разные вещи путаете: одно дело – право народа, другое – право личности.
 - Когда видишь какую подлость, тут не до права.
 - Представьте себе, что каждый плюнет на право и станет по-своему определять, где подлость, а где нет. Что получится? Хаос! У кого кулаки тяжелее, тот и командовать станет.
 - Так оно и бывает.
 - Среди уголовников. А право ограждает всех – и слабых и сильных. Иначе люди давно истребили бы друг друга.
 - А они и сейчас истребляют. Вы радио слушаете?
 - Опять вы о другом говорите.

Мысли Кожарина совершали скачки, которые трудно было предвидеть. Не считаясь с логикой, он отстаивал свою стихийную нетерпимость ко всему, что считал несправедливым.

– Я вот чему удивляюсь: до чего же эта жизнь коряво устроена!

– Вы о какой жизни говорите?

– О всей, что на земле. – Кожарин усмехнулся и продолжал другим тоном, как будто вспомнил что-то веселое. – Как-то еще до флота я с одним старичком схлестнулся. То ли он из попов был, то ли из баптистов, одним словом, вздумал меня к религии перетягивать. «Посмотри, говорит, сын мой, как все кругом мудро и дивно устроено. Неужто сама по себе могла такая красота наладиться, если бы не творец всего сущего, не господь бог?» Выдал я тогда тому попику сполна. Да, говорю, весьма все мудро устроено. Чтобы с голоду не помереть, одна живая тварь другую грызет, птица птицу рвет, зверь зверя гложет, – по всей земле стон идет. А как, говорю, дивно землетрясения устроены! Или наводнения, когда одной волной тысячи смывает – и старых, и малых, и правых, и виноватых. А как, говорю, ловко болезни придумал творец всего сущего. Видали, спрашиваю, как детишки от болезней мучаются, на всю жизнь калеками остаются? Счастье, говорю, для вашего бога, что нет его вовсе.

А был бы, так его за такое мудрое устройство я бы за ноги повесил, головой к земле, чтоб глядел и любовался на свою красоту. А то он все на небо зыркает.

Закончил Кожарин озлобленно, – не оставалось сомнений, что свой приговор богу он обязательно привел бы в исполнение. Теперь рассмеялся Колесников. Кожарин поерзал на скамейке, усаживаясь поудобнее.

– Переделывать нужно все к чертовой матери.

– Что именно?

– Все! С капитализмом человечество кончит, за природу возьмется.

– И с землетрясениями, думаете, справится?

– А думаете, нет? В науку не верите. Придет время, проковыряют дырки в нашем шарике, лишнюю энергию в дело пустят, и конец землетрясениям.

– А то, что живой живого – с этим как? – шутливо спросил Колесников.

– Придумают, – серьезно ответил Кожарин. – Об этом и в газетах пишут: химия кормить будет. Всякую ядовитую гадину выведут, а остальные пусть пасутся. Десяток планет для начала освоим, всем места хватит. Чистая будет жизнь.

Кожарин замолчал, словно вглядываясь в будущую жизнь.

– Ежели хотите знать, – заговорил он опять, – труд-

нее всего с людьми будет. В смысле переделки. Такие фрукты среди них попадаются... Да и каждый – в чем хорош, в чем плох. Тоже мать-природа сослепу намудрила.

На невидимом крыльце хлопнула дверь. Оттуда донесся голос Клавдии:

– Леша!

– Здесь я, Клаша, здесь. Ложись.

– Шли бы в избу.

– Сама прогнала, теперь нам и здесь светло. Спи давай.

Как ни ласкова была ночь, а по спине уже пробежали первые волны озноба. Колесников сидел не шевелясь. Он боялся спугнуть доверительную откровенность Кожарина. За сумятицей в мыслях открывалась вся душа этого парня.

– Не озябли? – спросил Кожарин.

– Нет, хорошо, – ответил Колесников, проверяя на гиб онемевшие ступни.

– Я о чем хотел сказать. Вы не замечали? Чем подлей человек, тем живучей. У него от рождения и нахрап, и хитрость, и жестокость. Он тех, кто подбробнее, помягче, локтями растолкает, кого опрокинет, на кого наступит, вперед продерется, еще и в начальство вылезет. Бывает?

– Чего не бывает...

– А почему такая несправедливость?

– Рано или поздно несправедливость исправляют.

– Фашистские звери чуть всю Европу не подмяли.

– Чуть. В этом «чуть» вся суть. В истории никогда не было, чтобы реакция побеждала навсегда. Обязательно ее сметали, а народы, которые борются за правое дело, шли дальше. Значит, сила-то за ними. Превосходство подлецов, хоть одиночек, хоть целых правительств, всегда временное.

– Об этом спору нет. Только уж больно издержки велики, – пока сметешь...

– Тут уж ничего не поделаешь.

– Почему «не поделаешь»? Наука поможет. А пока без силы нельзя. Их словом не проймешь.

– Вы о ком?

– А хотя бы о тех же империалистах. Вы смотрите, что делают!

– Об этом вы и докладную писали?

– Семен натрепался?

– Нет.

– Я не докладную, а рапорт подавал. Нельзя терпеть, чтобы эти сволочи деревни жгли, детишек убивали. Вы про напалм слышали?

– Приходилось.

Молчали долго. Слушали, как перебрехиваются собаки. За спиной слышались шаги. Должно быть,

Клавдия стояла рядом и только ждала паузы, чтобы потревожить их. Она остановилась, не доходя.

– Леша.

– И чего тебе не спится?

– Подойди на минутку.

Кожарин встал и отошел. Сначала они о чем-то шептались, потом Кожарин громко сказал:

– Подойди и выскажись.

Клавдия опять быстро-быстро заговорила вполголоса, Кожарин подошел и, смущаясь, сказал:

– Здесь моя благоверная грехи замаливает.

– Какие грехи? – удивился Колесников.

– Стыдно стало, что не по-хозяйски приняла. Раздобыла маленькую, просит зайти в избу.

Колесников вскочил и шагнул в темноту.

– Где она?

– Подойди, Клаша, не видать тебя, – сказал Кожарин.

По шагам Колесников догадался, что Клавдия рядом.

– Спасибо за приглашение, – сказал он. – Это я должен прощения просить, что пришел незванным. А на вас у меня никакой обиды нет.

– А нет, так пойдете.

– Никак не могу. И так засиделся. Мне на первый автобус нужно поспеть. С удовольствием посидел бы,

но никак не могу.

Кожарин поддержал Колесникова.

– Это верно, поздно. Другой раз приедете, будете гостем. Спасибо за разговор.

– И я очень рад. До свидания, Клавдия.

Он ощутил тепло протянутой руки, нашел ее в темноте и крепко пожал.

– Счастливо вам доехать, – сказала Клавдия.

Лицо ее вдруг осветилось, как будто ночь сменилась утром и все озарили лучи солнца. Клавдия улыбалась и повторяла: «Приехали. Приехали».

– Приехали, гражданин, приехали!

Колесников открыл глаза, увидел проводницу, трясущую его за плечо. Поезд замедлял ход. Пассажиры уже толпились в коридоре.

С трудом расцепив склеившиеся пальцы, Колесников сел и тупым взглядом разбуженного человека уставился в свой портфель. Он никак не мог сообразить, когда успел заснуть и что из прошлого уже видел во сне. Хотя это не имело никакого значения, было обидно. Если бы его не растрясла проводница, может быть, он вспомнил бы что-то еще, самое важное, без чего будет очень трудно написать обвинительное заключение по происшествию в Алферовке.

Выходные данные

Ланской Марк Зосимович

ДВЕ ПОВЕСТИ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1969, 320 стр.
Тем. план вып. 1969 г, № 42. Редактор Ф. Г. Кацас.
Художник В. Н. Шульга. Худож. редактор А. Ф.
Третьякова.

Техн. редактор Л. П. Мельникова. Корректор Э. И.
Панова.

Сдано в набор 15/X 1968 г. Подписано в печать 30/
I 1969 г. M18921.

Бумага 84x108¹/₃₂ № 1. Печ. л. 10 (16,8). Уч.-изд. л.
15,91.

Тираж 30 000 экз. Заказ № 1602. Цена 61 к.

Издательство «Советский писатель», Ленинград-
ское отделение.

Ленинград, Невский пр., 28.

Ленинградская типография № 5 Главполиграфпро-
ма

Комитета по печати при Совете Министров СССР.
Красная ул., 1/3.